Издательство
Всесоюзного
общества
политических
каторжан
и
ссыльно-
поселенцев

КЛАССИКИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ МЫСЛИ

ДОМАРКСИСТСКОГО ПЕРИОДА

ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ
И. А. ТЕОДОРОВИЧА

III

ИВАН ПНИН

МОСКВА—1934

ИВАН ПНИН

СОЧИНЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И РЕДАКЦИЯ И. К. ЛУППОЛА

ПОДГОТОВКА К ПЕЧАТИ
И КОММЕНТАРИИ В. Н. ОРЛОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ

Переплет работы худ. В. Резникова

Ответств. редактор И. К. Луппол
Техн. редактор М. Масляненко

Сдано в набор 20/I 1934 г.
Подписано к печати 20/V 1934 г.

Формат бумаги 62×94 см.
19½ печ. лист. 41 500 зн. в печ. л.
Изд. № 164. Заказ типогр. № 22

Тираж 5 000 экз.
Уполномоч. Главлита В-60 107.

Отпечатано в 11-й тип. и шк. ФЗУ,
Москва, 2-я Рыбинская, д. 3.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

И. К. Луппол

И. П. ПНИН И ЕГО МЕСТО В ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

1

На пути от А. Н. Радищева к декабристам, в особенности к наиболее радикальному в идеологическом отношении их крылу, именно к „Обществу соединенных славян", стоит далеко не безынтересная, яркая личность Ивана Петровича Пнина. Поэт по призванию, он никогда не был „чистым" поэтом-эстетом. Вся муза его пронизана общественно-политическими, „гражданскими", как сказали бы позже, мотивами. В этом причина того, что Пниным занимались не только историки литературы, но и историки общественной мысли, историки права и политических учений. В известной мере Пнин дает материал и для историков философии. В задачу дельнейшего изложения и входит краткая характеристика и оценка его творчества, взятого с его мировоззренческой и общественно-политической стороны.

Литературное наследие Пнина количественно незначительно; кроме того, текст его внушает подчас опасения за свою аутентичность. Наконец, трудность заключается еще в том, что Пнин не был философом по преимуществу, и об общих основах его мировоззрения мы можем судить, кроме „Санктпетербургского Журнала", который он издавал в 1798 г. и о котором нам придется говорить позже, лишь по нескольким стихотворениям. Тем не менее у Пнина есть несколько од (один из любимых в то время родов поэзии) общефилософского содержания.

В этих одах, в противоположность Ломоносову, Пнин не пускается в „превыспренние заоблачности по поводу плошечных иллюминаций", не воспевает „порфироносных младенцев"*, а касается натурфилософских, космологических процессов. Но

* Лишь один раз обращается Пнин с „гимном" к Александру I.

и эти последние разрешает он, отнюдь не следуя по стопам Державина. В своих поэтических рассуждениях он выявляет под легкой деистической вуалью философию французского материализма XVIII века. Так, в первой же книжке „Санктпетербургского Журнала“ он печатает довольно свободный перевод оды французского поэта Тома „Время“. Поэт хочет остановиться хоть на одном моменте, чтобы рассмотреть всеобщий „полет“ времени. Время не имеет начала, оно не создано, оно было всегда.

Кто мне откроет час, в который быть ты стало?
Чей смелый ум дерзнет постичь твое начало?
Кто скажет, где конец теченью твоему?
Когда еще ничто рожденья не имело,
Ты даже и тогда одно везде летело;
Ты было все, хотя незримо никому.

Слова о том времени, „когда еще ничто рожденья не имело“, не следует понимать так, что мир был создан посредством акта креации. Это видно из того, что время было „незримо никому“; это видно и из следущих строк:

Вдруг бурное стихий смешенье прекратилось;
Вдруг солнцев множество горящих засветилось;
И дерзкий ум твое теченье мерить стал.

„Век“ человека бесконечно мал перед лицом времени, поглощающего не только людей, царства, но и самые „солнца“. Поэт рисует кончину мира во времени, но эта картина не напоминает библейскую; в поэтической форме она изображает ту гибель солнечной системы, какую предполагали естествоиспытатели XVIII века. Если Бюффон, следуя Ньютону, говорил о „мировом пожаре“, то Эйлер выдвигал, как причину кончины солнечной системы, расстройство движения планет по своим орбитам. Собственно, и Ньютон говорил о падении кометы Галлея на солнце, как о причине пожара. Такой же естественный конец предвидит и Пнин:

Там солнце, во своем сияньи истощенно,
Узрит своих огней пыланье умерщвленно:
Бесчисленных миров падет, изветхнув, связь;
Как холмы каменны, сорвавшись с гор высоких,
Обрушася, падут во пропастях глубоких,
Так звезды полетят, друг на друга валясь!..

Во всей оде только один раз упоминается имя творца, который „всему судил иметь свои пределы“, но лишь затем, чтобы сейчас же ограничить его всемогущество: все может исчезнуть, за исключением времени, которое одно только вечно. Возможно, что этот самый творец фигурирует как своего рода неизменный для того времени персонаж, наподобие мифологической Урании, которая выступает в той же оде;

возможно, что он играет у Пнина и несколько большую роль: мы не отрицаем у Пнина известной доли деизма. У него есть даже специальная ода под названием „Бог“. В ней есть моменты так называемого космологического доказательства, сводящегося к тому, что в длинной цепи причин и действий должна быть первая причина и эта первопричина и есть божество; но, вопреки обыкновению, основано это „доказательство“ не на разуме, а на чувстве. Это, скорее, „сердечные“ аргументы, чем рассудочные, точно так же, как это имело место и у Радищева в его философском трактате „О человеке, о его смертности и бессмертии“. Видя порядок и вообще все устройство вселенной, поэт спрашивает: „Стремится к воле всё своей — льзя ль цели быть без воли чьей?“ Пнин задается вопросом: можно ли познать тот ум, „что мог по воле мир создать?“ Но обращается он не к уму, а к сердцу: „спросил я сердце, и решение в моих я чувствиях нашел“. Не об уме следует говорить, а о воле. Но, даже перенеся решение вопроса в эту плоскость, Пнин встречается с новыми затруднениями. Он слышит, как все народы, воздев к небу руки, „винят в отчаяньи творца“. Они жалуются на целый ряд беспорядков, несправедливостей и злодеяний, учиненных им. Их аргументы весьма напоминают те, какими в бесчисленном количестве и в бесчисленных вариациях пользовался французский материалист Гольбах в своих атеистических работах. Нарекания народов столь сильны, что приходится удивляться, как цензура пропустила оду. Например, народы обращаются к „творцу“ с грозным вопросом: „Доколе будешь злодеянья взводить на трон под сень венца?“. Ответ, который получают народы, тоже в достаточной степени радикален. Чувствуется, что, собственно, говорит не „голос сверху“, а сам поэт-мыслитель. Суть этого ответа сводится к тому, что люди сами виноваты во всех своих бедствиях. Такие речи французские материалисты вкладывали обычно в „уста“ природы:

Где опыт, где рассудок здравый,
Что вас должны руководить?
Они покажут путь вам правый,
По коему должны иттить.
Лишь под щитом священным их
Найдете корень зол своих.

Когда мы писали выше, что в отношении некоторых стихотворений Пнина возникает сомнение в их аутентичности, то мы имели в виду именно эту оду. Сомнение возникает не вследствие какого-либо пристрастия или одностороннего подхода, а вследствие двух соображений. Во-первых, ода эта была напечатана уже после смерти Пнина в „Журнале для Пользы и Удовольствия“ (1805 г., декабрь). Во-вторых, редактор журнала снабдил стихотворение таким двусмысленным и знаменатель-

ным примечанием: „Я думаю, что беспристрастные читатели кои имеют у себя подлинники или копии сочинений достойного памяти Пнина, извинят сделанные мною как в сей оде, так и в некоторых прежде напечатанных в моем журнале стихотворениях его небольшие поправки в слоге: скорая смерть, конечно, не допустила его самого внимательнее оглянуться на памятники своей жизни“ (стр. 182).

Из примечания видно, что стихи Пнина ходили в рукописях и списках по рукам знакомых, а может быть, и незнакомых; что редактор внес и вносил при жизни Пнина (умер Пнин 17 сентября 1805 г., т. е. за два-три месяца до печатания книжки журнала) исправления в его стихи; из всего контекста примечания (сожаление, что Пнин не успел „оглянуться внимательнее“ на памятники своей жизни) видно далее, что исправления касались не только слога или, вернее, не слога,— ибо Пнин хорошо владел современным ему слогом,— а самого содержания. Перед лицами, обладающими текстом Пнина, редактор извиняется, выражаясь вульгарно, за отсебятину, искажавшую мысль автора.

Внимательное чтение этой оды заставляет наметитъ некоторые особо сомнительные места. Так, по ходу мыслей, следует ожидать обращения поэта-мыслителя с мучившим его вопросом к разуму. Вместо этого следует непосредственно вопрос к сердцу.

В сентябрьской книжке „Санктпетербургского Журнала“ (1798) Пнин поместил четверостишие: „На вопрос, что такое бог?“ Здесь любопытна самая постановка вопроса. Разве для правоверного христианина, да и всякого религиозно верующего человека ответ не ясен? Поэтическая форма значения не имеет. Писал же Державин пространные религиозные оды. Между тем Пнин посвящает этому вопросу лишь четыре стиха, последний из которых звучит так же двусмысленно: „Чтобы сказать, что он? — самим быть богом должно“.

При всем этом, повторяем, мы настолько осторожны, что допускаем у Пнина известную степень деизма, на что были и объективные социально-исторические причины и, быть может, известные субъективные основания. Надо только помнить справедливые слова К. Маркса о том, что в известные эпохи деизм является „не более как удобной и мягкой формой разрыва с религией“, является лишь внешней пеленой, скрывающей сущность атеизма. В случаях деистических воззрений поэтому надлежит обращать сугубое внимание на то, с каким философским направлением связан у мыслителя деизм: сопряжен ли он с рационализмом, с „сверхопытной“ теорией познания, коротко говоря, с идеализмом, как это было, напр., у некоторых немецких деистов XVIII века или деистически настроенной буржуазии в эпоху капитализма; или он, деизм, в

качестве „привеска“ или внешней оболочки сопряжен с материализмом. В первом случае — явление одного порядка, и, если угодно, оценка одна; во втором случае — явление другого порядка, следовательно, и оценка мыслителя должна быть иная. Именно второй случай имеем мы в лице Пнина.

Когда, например, читаешь его оду „Человек“, то сомневаешься даже, не был ли он полным гольбахианцем. Эта ода напечатана была еще при жизни Пнина в № 1 „Журнала Российской Словесности“ за 1805 год, издателем и редактором которого был друг Пнина А. Брусилов. Ода, как это замечено всеми исследователями, представляет собою резкую антитезу державинской оде „Бог“. Начинается ода своего рода гимном природе вполне в духе XVIII века: природа для автора — „бытий всех зримых обща мать, щедрот источник бесконечный, в ком счастье мы должны искать“.

Человек, герой оды,— лучшее создание природы. Едва только он явился в мир, как мир покорился ему, приняв его царем. Вся ода проникнута необыкновенным прославлением творческой деятельности человека, вся она насыщена призывом к деятельности и восторгом пред действенностью человека. Человек творит в природе и распоряжается ею: „...каждый мне,— говорит автор,— предмет гласит, твоей рукой запечатленный, что ты зиждитель есть вселенной“. Назвать человека зиждителем мира — это было по меньшей мере очень смелым в то время.

Пнин обрушивается в скрытой форме на Державина: „какой ум слабый, униженный тебе дать имя червя смел?“ Державин говорил про человека: „я раб, я червь“... Пнин соглашается, что только „раб нещастный, заключенный, который чувствий не имел“, мог назвать человека червем. Он сам, действительно, равен червю. Но человек вовсе не таков. „В каком пространстве зрю ужасном раба от человека я!“ — восклицает Пнин. Собственно, фактический раб не может оставаться таковым: если бы он рассмотрел,

Кто бедствий всех его виною,
Тогда бы тою же рукою
Сорвал он цепи, что надел.

„Зиждитель-человек“ измерил течение планет, исчислил звезды, оставаясь частью природы: „с природой связан ты судьбою, ты ей живешь, она тобою свой жизненный являет вид“. Человек дал знаки речи, мысли он дал тело, очам способ говорить, изобрел различные средства сообщения. Но откуда же произошел человек, создал ли его кто, или он создание единой природы? Вот вопрос, на который Пнин и Державин дают прямо противоположные ответы. Эти ответы таковы, что заслуживают того, чтобы привести их параллельно:

Державин: ода „Бог".	Пнин: ода „Человек".
Но будучи я столь чудесен Отколе происшел?— безвестен; А сам собой я быть не мог. Твое созданье я, создатель. Твоей премудрости я тварь...	Скажи мне, наконец, какою Ты свыше силой вдохновен, Что все с премудростью такою Творить ты в мире научен? Скажи... Но ты в ответ вещаешь...

и далее в печатном цензурном тексте 1805 года следуют четыре строчки многоточий. А далее непосредственно и знаменательно:

Ужель ты сам всех дел виною,
О, человек? Что в мире зрю?
Чрез труд и опытность свою
Прешел препятствий ты пучину,
Улучшил ты свою судьбину,
Природный бедности помог.

Многоточия на месте нескольких строчек оды Пнина не оставляли у пишущего эти строки сомнения в том, что автор ответил на вопрос, поставленный Державиным и повторенный самим автором, материалистически и атеистически.

В соответствии с этим мы писали в 1925 г.: „Автор (И. П. Пнин) ответил на вопрос... вполне научно. Это, пожалуй, уж не деизм, а чистый материализм и атеизм"*.

Однако в то время это была лишь догадка. Ныне, в настоящем издании сочинений Пнина, стараниями Вл. Орлова, использовавшего архивные материалы, вновь восстановлен подлинный текст выброшенных цензурою пяти строчек нашего поэта. Эти строчки гласят:

Скажи...Но ты в ответ вещаешь,
Что ты существ не обретаешь,
С небес которые б сошли,
Тебя о нуждах известили,
Тебя бы должностям учили
И в совершенство привели.

Таким образом, Пнин отрицал существование каких бы то ни было „небожителей", и хотя последняя строчка оды — мы объективны — и гласит, что человек на земле — то же, что бог на небе, но эта строка не больше, как привесок, поэтическая традиция, ибо она никак не вытекает из всей концепции оды. А концепция ее такова, что Пнину с правом можно дать эпитет „гуманиста" в том смысле, в каком этот термин иногда применяется к Л. Фейербаху.

Таково содержание и таковы основные мировоззренческие мотивы философско-поэтических произведений Пнина.

---

* И. Луппол. „Русский гольбахианец конца XVIII века". „Под знаменем марксизма", 1925 г., кн. 3.

Уже на основании сказанного, а также пользуясь некоторыми косвенными указаниями (напр., эпиграф из Гольбаха к „Оде на правосудие"), можно предположить, где следует искать источники такой мировоззренческой установки Пнина. Эти источники — французский материализм XVIII века, а еще более точно — произведения Гольбаха*.

Как известно, в 1798 г. посреди беспросветного по своей реакционности павловского царствования Пнин,— возможно, совместно с А. Ф. Бестужевым, отцом нескольких декабристов,— издавал периодический орган под названием „Санктпетербургский Журнал". Пнин отважился на неслыханную по тому времени смелость — на протяжении двенадцати книжечек он напечатал переводы трех глав из знаменитой „Системы природы" Гольбаха, появление которой на русском языке до революции 1917 года вообще было невозможно, а также переводы восьми глав гольбаховской же „Всеобщей морали". Кроме того, он поместил вступление и предисловие Вольнея, одного из поздних французских материалистов XVIII века, к его „Руинам". Само собою разумеется, все эти переводы оказались анонимными (за исключением двух глав из „Системы природы") и без указания автора и названия оригинала.

Если вспомнить, насколько в XVIII веке редактор и издатель сращивался с своим изданием, то станет понятно, что мы имеем дело не с простой публикацией случайного материала, а с таким текстом, который был конгениален самому издателю-редактору.

Уже в февральской книжке журнала мы находим статью „О природе". Все, что можно узнать о действительном происхождении статьи, содержится в кратком послесловии: „Перевел с иностранного языка Петр Яновский". Эта статья представляет собою перевод с купюрами первой главы „Системы природы". При переводе допущена одна перестановка: статья начинается третьим с конца абзацем подлинника. С этого места у Гольбаха идет подведение итогов всей главы: „Вселенная, сия ужасная громада всех бытий, не представляет глазам нашим ничего, кроме вещества и движения: всецелость оныя не показывает нам ничего, кроме неизмеримой и беспрерывной цепи причин и действий" **. Разнообразные вещества путем сочетания получают и сообщают различные движения. Свойства, сочетания и способы действия этих веществ

---

* Впервые это было установлено нами в 1925 г. в статье „Русский гольбахианец конца XVIII века" („Под знам. марксизма", 1925 г., кн. 3). В виду важности этого для выяснения характера мировоззрения Пнина мы приводим здесь весь анализ полностью.

** „Санктпетербургский Журнал", ч. 1, стр. 197.

называются нами их сущностью; они в совокупности и составляют то, что называется природой. „Итак, природа,— продолжается перевод,— в самом пространнейшем своем знаменовании есть оная великая всецелость, происходящая от собраний всех бытий, составляющих вселенную". Далее следует, как известно, определение природы, в узком смысле слова, „природы" отдельных существ. Здесь пути Гольбаха и его русского подцензурного переводчика резко расходятся. Гольбах определяет природу человека в духе материализма XVIII века, в переводе же значится, что человек „состоит из двух существ совершенно различных. Одно, собственно, грубое и страдательное... другое — умствующее". Таким образом, уже на протяжении двух страниц перевода оказывается вопиющее противоречие.

Первый вопрос, который приходит в этом случае: сам ли переводчик или редактор изменили текст Гольбаха добровольно, потому что таковы именно были их убеждения, или изменение совершено по цензурным условиям? Сохранение в переводе категорических положений Гольбаха как будто склоняет ко второму ответу. Но для обоснования его необходим дальнейший материал.

После указанного изменения конца главы переводчик переходит к четвертому абзацу оригинала и в дальнейшем весьма близок к тексту Гольбаха: человек рождается нагим и лишенным всякой помощи; постепенно и естественно проделывает он эволюцию от дикости к культурному состоянию, но и тогда и сейчас он подчинен одним и тем же законам природы. „Все меры, употребляемые нами к перемене образа нашего бытия, не чем иным могут быть почтены, как пространным последствием причин и действий, обнаруживающих первые побуждения, сообщенные нам природою". Эта эволюция, с точки зрения Гольбаха, ничем не отличается от естественной эволюции от яичка через червячка и куколку к бабочке. После несущественного пропуска о различии человека дикого, просвещенного, цивилизованного, счастливого и несчастливого, переводчик дает принципиальное положение о том, что человек „должен употреблять в помощь себе физику и опыты"; это положение лишь смягчается словами „большей частью" и т. д. Мельком набрасываемые Гольбахом принципы эмпиризма и сенсуализма целиком переводятся: „Посредством чувств наших соединены мы со всеобщею природою; посредством оных можем испытывать и открывать ее тайны; как скоро оставляем опыт, немедленно впадаем в пустоту, в которой воображение наше заблуждается". Следующий решительный абзац Гольбаха также переводится полностью. Здесь идет речь о том, что заблуждения людей проистекают вследствие пренебрежения опытом и забвения законов природы: „тогда вся

вселенная кажется ложным призраком или мечтою"; игнорирование природы приводит к полному невежеству даже в отношении самих себя: „все мнения, догадки, умствования без опыта суть не что иное, как сплетения заблуждений и нелепостей".

Принципиальная часть кончена, и Гольбах переходит к конкретной иллюстрации: не познав природы, люди изобрели себе богов, не познав своей собственной природы и природы общества, люди сделались рабами, подчинившись дурным правительствам. Весь этот абзац русским переводчиком выбрасывается. Но поскольку сохранена принципиальная часть, совершенно очевидно, что купюра сделана исключительно по цензурным соображениям. Дальнейшие рассуждения Гольбаха о том, что незнание законов природы привело к извращению общественной морали, конечно, сохраняются, но, как и следовало ожидать, выбрасывается выпад Гольбаха о том, что развратные правительства все равно бы помешали человеку осуществлять естественную мораль. Гольбах жалуется, что даже естественные науки остаются „под ярмом авторитета"; русский журнал сетует, что науки „пребывают столь долго в оковах предубеждений". Следом за этим выбрасывается очередной выпад французского атеиста против фантастических систем и всего чудесного и сверхъестественного. Как только начинаются общие рассуждения Гольбаха, журнал переводит дословно: „нужно вознестись выше темных облаков предрассуждения, выйти из густой окружающей нас атмосферы... возьмем в путеводители опыт, начнем советоваться с природой"; но заключительный атеистический вывод Гольбаха, невозможный в легальном журнале 1798 года, претерпевает полнейшее извращение. Мы даем параллельные тексты*.

Текст Гольбаха:	Перевод 1798 г.:
Станем вопрошать разум, который бесстыдно оклеветали и унизили; станем внимательно созерцать видимый мир и посмотрим, не достаточно ли его, чтобы дать нам возможность судить о неведомых землях духовного мира: может быть, мы найдем, что не было никаких оснований различать их и что без достаточных поводов разделили два царства, одинаково входящих в область природы.	Станем спрашиваться разума; постараемся рассматривать со вниманием видимый мир, а сие рассматривание непременно доведет нас до познания невидимого творца его.

Таков вид, который приобрела первая глава „Системы природы" в русском переводе последних лет XVIII века. Сравни-

* Отрывки из „Системы природы" приводятся нами по изданию Инст. К. Маркса и Ф. Энгельса, М. 1924.

тельное изучение перевода и подлинника приводит нас к следующим выводам. Все принципиальные положения Гольбахи переводятся близко к подлиннику; та же картина имеет место и в отношении общих, отвлеченных рассуждений французского материалиста и его конкретных иллюстраций, говорящих об обществе и людях вообще и не касающихся ни духовенства, ни правительства. Явные, недвусмысленные выпады и обличения церкви, „развратных правительств“ и т. п., а также открытое, черным по белому, отрицание бога переводчиком выбрасываются. В заключительных аккордах статей (как увидим далее, такой же прием применен был и ко второй главе „Системы природы“) атеистический вывод заменяется отнюдь не вытекающим из контекста примирением с деистической точкой зрения. Далее, тщательно скрывается оригинал перевода; если в первой и второй статьях еще указывается, что читатель имеет дело с переводом „с иностранного языка“, то во всех дальнейших отрывках и извлечениях нет не только фамилии автора, но и имени переводчика. Несомненно, что в 1798 г. в России имя Гольбаха, как материалиста и безбожника, было достаточно известно в правительственных кругах. Цензор не пропустил бы творений великого „афеиста“. Для издателя журнала оставался один путь: не подавать и виду, что статья представляет собою перевод из Гольбаха, что, надо думать, вполне удавалось. Ведь достойно примечания то, что редакция не скрывает при переводах таких имен, как „Монтеский, Монтан, Ларошфуколд, Шаррон“ и т. п., имена же Гольбаха и Вольнея прячутся, чем, кстати сказать, подчас в свое время смехотворно вводились в заблуждение не только павловские цензоры, но и признанные и авторитетные наши буржуазные историки и исследователи Пнина последних десятилетий.

Сама собою напрашивается параллель между русским переводчиком, или издателем Гольбаха, и самим Гольбахом, как переводчиком английских деистов. Гольбах, как известно, переводил таких деистов, как, напр., Джон Тренчерд и Томас Гордон. Однако в своих вольных переводах он переделывал деистов в атеистов и затем уже, скрывая свое имя, но выставляя имена не внушавших особого опасения якобы авторов, предавал свои переводы тиснению. Русский редактор, наоборот, насильно и не стесняясь противоречиями текста, переделывал автора-атеиста в деиста и в таком уже виде знакомил с ним русских читателей.

Однако нужно принять во внимание следующее обстоятельство: скрыв свое имя за именем какого-либо умершего деиста, Гольбах печатал свои произведения в Амстердаме, а не во Франции; для окончательного отвода глаз, на книге, как указание места издания, ставилось: Londres. Такова была вынужденная техника издания материалистической литературы во

Франции времен старого порядка. Русский издатель „Санктпетербургского Журнала“ находился в совершенно иных условиях: поблизости не было ни Гааги, ни Амстердама, а на руках был легальный журнал. Оставался единственный способ издания Гольбаха: выбрасывать прямые атеистические, антиклерикальные и революционно-политические места и сдабривать атеистическую концепцию деистическими, оторванными от общего контекста, сентенциями. Только при таких условиях была надежда поведать русскому читателю Гольбаха.

Мы видели эти приемы на примере первой главы „Системы природы“. Вторая глава была напечатана по такому же методу. Статья „О движении и начале оного“ была напечатана в мартовской книжке журнала. Первые два абзаца напечатаны без пропусков, с незначительной разъясняющей вставкой. В них дается определение движения и формулируется материалистический гносеологический принцип: лишь через и благодаря движению узнаем мы о существовании внешних тел, их свойств и различий. В третьем абзаце выпущены положения, которые настолько конкретизируют вопрос, что становится ясной абсурдность существования того, что не может ни непосредственно, ни посредственно действовать на наши органы чувств. Далее переводчик полностью приводит гольбаховское различие движения видимого (движения масс) и движения невидимого (напр., в молекуле муки). Вместо конкретной иллюстрации особого рода движения внутри человека (умственная деятельность, страсти, желания), в котором Гольбах не видит ничего принципиально отличного, — как и позднейшие естественнонаучные материалисты XIX века, — русский переводчик говорит о таких движениях в человеке, как варение желудка, обращение крови и „приуготовление жизненных духов“, т. е. как бы в форме умолчания ограждает от гольбаховской формулы психические процессы. Утверждение всеобщей цепи движений, как причин и действий, журналом сохраняется, но гольбаховский вывод — отрицание в человеке „самопроизвольных“ движений — переводчиком (может быть, цензором?) вычеркивается.

Несколько страниц, на которых Гольбах утверждает универсальность движения, настаивает на его абсолютной всеобщности во вселенной, разграничивает и затем синтезирует в понятии движения понятия nisus и трансляций, передаются журналом полностью с весьма несущественными выкидками двух-трех слов. Но вот Гольбах подходит к самому решительному месту, к выводу, что движение не привнесено в материю кем-то извне, а составляет ее существенное свойство, форму ее существования. Перевод этого места в журнале 1798 г. таков, что не оставляет сомнения в желании увернуться от цензуры:

Оригинальный текст:	Текст перевода:
Таким образом, идея природы заключает в себе необходимым образом идею движения. Но, спросят нас, откуда эта природа получила свое движение? Мы ответим, что от себя самой, ибо она есть великое целое, вне которого ничто не может существовать. Мы скажем, что движение, это — способ существования, вытекающий необходимым образом из сущности материи; что материя движется благодаря собственной своей энергии; что ее движение происходит от присущих ей сил; что разнообразие ее движений и вытекающих отсюда явлений происходит от различия свойств, качеств, сочетаний, заключающихся первоначально в различных первичных веществах, совокупностью которых является природа.	Итак, понятие о природе неминуемо заключает в себе понятие о впечатленном движении. Но, может быть, скажет кто: откуда природа получила первоначальное свое движение? На сие можно немедленно ответствовать, что она получила оное от первой причины, от того, который произвел ее из ничего. К сему присовокупить можно, что движимость есть некоторый образ бытия, который проистекает из существенного состояния вещества, и что разнообразность движений и явлений, при том бываемых, происходит от различия свойств, качеств, соединений, находящихся с самого начала в различных первоначальных веществах, в различных началах или элементах тел.

Собственные слова переводчика: „на сие можно немедленно ответствовать“... и затем: „к сему присовокупить можно“... звучат умилительно. В сущности, они повторяют уже неоднократно применявшийся и ранее прием подцензурной печати. Так, Дидро в 1754 г. в своих „Мыслях об объяснении природы“ писал, что „вера научила нас тому, что животные вышли из рук творца такими, какими мы видим их“, и следом за этим на протяжении страницы излагал свою гипотезу трансформизма — предвосхищение теории происхождения видов путем естественного отбора. Так, еще раньше Декарт пространно предупреждал, что „мир изначала создан был во всем своем совершенстве, так что в нем существовали солнце, земля, луна и звезды; на земле имелись не только зародыши растений, но и сами растения... в этом ясно убеждают нас христианская вера и природный разум... И тем не менее, чтобы лучше понять природу растений или животных, гораздо предпочтительнее рассуждать так, будто они постепенно порождены из семени, а не созданы богом при начале мира“.* И далее Декарт излагал свою космогоническую гипотезу. Несомненно, подобное же явление имеем мы и с переводом приведенного выше отрывка из Гольбаха; иначе бы пришлось предположить чудовищное противоречие в голове редактора.

Интересно и то, что далее во французском тексте следует несколько страниц определенного атеистического содержания. Здесь Гольбах разъясняет, что природа нуждалась бы в первоначальном двигателе, если бы ей самой не было присуще в качестве атрибута движение; но если природа представляет

* Сочинения Декарта, Казань, 1914, стр. 71.

единую целостность в движении, то нет нужды в подобной гипотезе. До сих пор не было выдвинуто ни одного аргумента в пользу того, что некогда природа начала существовать. Выведение из ничего или творение представляет собою лишь слово. Так вот все эти страницы в русском переводе выпущены. Если переводчик или редактор имели что возразить Гольбаху, они могли бы здесь вполне легально сказать свое слово. Вместо этого общие положения Гольбаха, в которых тот как бы накапливает факты, сохраняются, необходимые же выводы — истина содержится в атеизме — пропускаются. Не правильным ли будет предположение, что мысли ред кции не расходятся с мыслями автора, но по объективным причинам мысли эти не могут быть поведаны читателю? Следующие же за этим рассуждения Гольбаха — движение вещей совершается по имманентным законам, как не бьющие в глаза своими предпосылками и выводами, полностью сохраняются.

Вторая глава „Системы природы", на беду переводчика, изобилует „нецензурными" местами; поэтому ему приходится то вставкой одного-двух слов, то пропуском двух-трех слов „сглаживать" автора. Эти сглаживания неизменно направлены к одной цели: хотя бы путем противоречия с общей концепцией утвердить деистического бога, как первую причину. Отнюдь не желая замалчивать подобные извращения текста, мы позволим себе привести заключение второй главы en regard: Гольбах предлагает ограничиться, как первичными данными, материей и присущим ей движением; доискиваться иного принципа действия и иного начала вещей значит лишь отодвигать трудность познания природы и ставить последнее вне опыта. В переводе—„под занавес"—провозглашается нечто иное:

Текст Гольбаха:	Русский перевод:
Поэтому ограничимся утверждением, что материя всегда существовала, что она движется в силу своей сущности, что все явления природы зависят от различных движений разнообразных веществ, которые она заключает в себе и благодаря которым она, подобно фениксу, постоянно возрождается из своего пепла.	Вот куда должно устремить свои мысли для сыскания начала действия и происхождения смесей; итак, признавать вещество естественно вечное и естественно в движении от самой вечности есть тщеславиться невежеством и безбожием.

При всех „исправлениях" и вариантах русского перевода последние слова никак не вытекают из содержания статьи. Они отдают такой суздальской дубоватостью, что никак не могут быть приписаны собственным взглядам и манере письма редактора И. Пнина. К сожалению, архив „Санктпетербургского Журнала" не сохранился, и поэтому документально установить происхождение заключительных слов, видимо, никогда не удастся.

Личность переводчика представляется весьма бледной. Определенно известно, что ему, Петру Алексеевичу Яновскому, принадлежит еще перевод „Истории немецкой империи, т. е. о замечательнейших происшествиях и переменах, бывших в ней...“* В данном случае эта личность должна, конечно, стушеваться перед редактором и издателем И. П. Пниным. Последний же, несомненно, принадлежал к типу тех материалистов XVII и XVIII веков, которые, будучи материалистами в философии, сочетали это с исповеданием известной степени деизма.

На третьем и последнем переводе из „Системы природы“ не приходится долго останавливаться. Это — насыщенная пафосом речь, вложенная автором заключительной главы „Системы“ Дидро в уста природы,— речь, обращенная к людям; смысл тот, что несоблюдающие законов природы, живущие вопреки „естественной морали“, люди могут уйти от возмездия со стороны законов и властей, но не в силах избежать наказаний, которые налагает на них сама природа. Пропуски и незначительные количественно изменения (например, вместо „государи, эти земные божества“, стоит: „сии надменные и напыщенные вельможи“) имеют место там, где их следует уже ожидать после знакомства с двумя первыми главами: изъемлются гольбаховские советы бросить выдумки о богах и страхи перед ними, а также революционные призывы против тиранов. Как мы говорили, Гольбах печатал свои произведения за границами Франции; неизвестно, что печатал бы за границей России Пнин, но можно сказать, что в его условиях и Гольбах принужден был бы несколько „сгладить“ свои мысли. Но, видимо, и при проделанной Пниным операции сохранялась подозрительность статьи; коротко говоря: „Кодекс природы“ в русском переводе получил название „Глас неба!“**

3

Значительно благополучнее обстояло дело с переводами из „Всеобщей морали“ Гольбаха. Это и понятно. Общеизвестно, что французские материалисты XVII века в вопросах морали остались идеалистами***. Общая их концепция была такова. Нравы зависят от законодательства и политических учреждений. В хорошо организованном обществе, т. е. в обществе, законодательство которого согласовано с законами природы (в данном случае мы оставляем в стороне тот факт, что эти „законы природы“ были законами ранней стадии капиталистического общества), нравы не могут быть дурными. Призыв к людям —

* „Русский биографический словарь“, Спб. 1913.
** „Санктпетербургский Журнал“, 1798 г., июль.
*** Подробности см. в нашей работе „Дени Дидро. Очерки жизни и мировоззрения“, М, 1924, гл. IX.

жить согласно естественным законам — в области социальной морали знаменовал собой призыв перестроить общество, абсолютную монархию и радикально изменить его учреждения.

Сенсуализм в этике, определявший моральное содержание субъекта теми ощущениями и восприятиями, которые он получает из общественной среды, имел, как известно, то прогрессивное значение, что он приводил к революционным требованиям переустройства общества; именно этот элемент французского материализма Маркс и считал живой струей, которая приводила прямой дорогой к утопическому социализму, предшественнику научного коммунизма.

Правда, сами материалисты XVIII века не делали таких выводов; слабой их стороной, исторически, впрочем, вполне понятной, было приписывание этим самым „законам природы" универсального значения в несвойственной им области общественного бытия. Универсализирование моральных „естественных" законов, декларирование вечных нравственных норм поведения с томительно-педантичной их детализацией фактически приближало принципы морали XVIII века к категорическому императиву Канта, неразрывно связанному с его апроризмом. Именно этим грешит вся концепция „Всеобщей морали" Гольбаха. Атеистические выпады и „тираноборство" его в значительном количестве рассыпаны и в этом произведении, но общая его концепция имеет лишь некоторые пункты соприкосновения с современным нам материализмом. Вот это-то абстрактное морализирование, эти перечисления обязанностей людей и общие рассуждения о „страстях" человека, входившие обязательным составным элементом в этику XVIII века, действительно не представляли ничего запретного для павловского времени. Они-то полностью и переводились на страницах „Санктпетербургского Журнала".

Однако необходимо подчеркнуть, что первичный, исходный пункт морали Гольбаха был вполне выдержан в духе тогдашнего материализма: при всех и всяческих разговорах о морали надлежит отправляться не от трансцендентного, навязывающего человеку моральные принципы, а от самого человека, с его телесной организацией, с его органами чувств, с его нуждами. Пути Гольбаха и диалектического материализма расходятся сейчас же, как только будет поставлен вопрос о „природе" человека. Человек Гольбаха, как и всего французского материализма XVIII века, есть физический человек, но этот физический человек абстрактен: во все эпохи и при всех экономических общественных структурах он один и тот же; по существу же это означает, что он — индивидуум вне времени и пространства. На самом деле, как известно, человек есть прежде всего человек определенной эпохи, определенного общества, опреде-

ленного класса. Не в человеке дело, а в общественных, исторических обусловленных классах.

Но, повторяем, сделать хотя бы абстрактного *человека* исходным пунктом всех этических построений, в условиях XVIII века значило свести мораль с неба на землю, значило раз навсегда покончить с разговорами о морали религиозной, о морали только в религии, в трансцендентном черпающей свое основание; значило, наконец, отвергнуть всякие намеки на проповедь аскетизма и христианского умерщвления плоти и на их место воздвигнуть бодрящую и жизнерадостную социальную этику физического существа, а фактически — этику молодого класса-борца.

При всем дидактическом тоне изложения в первых главах „Morale universelle“ Гольбаха содержится это земное, физическое обоснование морали. Вместо „так бог велит“ выдвигается „так требует природа человека“. Эти главы проникнуты натуралистическим материализмом и скрытым атеизмом эти главы в числе других выбрал Пнин для своего журнала в 1798 г. Так, в июльской книжке он помещает анонимную статью „О нравоучении, должностях и обязанностях нравственных“. Статья, как обнаруживает ее изучение, является полным и точным переводом первой главы „Всеобщей морали“* Гольбаха „De la morale, des devoirs, de l'obligation morale“. В ней автор определяет самое „науку о морали“, говоря словами переводчика, как „науку отношений, между людьми находящихся, и должностей, из отношений сих проистекающих“.

Мы не ставим себе целью подвергать здесь критике самую трактовку Гольбахом морали, как нормативной науки. Ненаучность такого понимания в наши дни очевидна. Мы должны рассматривать труд Гольбаха и соответственно русский перевод в исторической перспективе. А в этой перспективе заслуживает быть отмеченным первый же вывод автора: указанная наука должна быть основана и согласована с природой человека, она предполагает науку о природе человека. Всякая же наука есть плод опыта. Отсюда, как выражается „Санктпетербургский Журнал“, „наука нравов, чтобы быть верною, должна быть последствием постоянных, повторяемых и изменяющихся опытов, ибо они только могут доставить нам истинное познание об отношениях, между существами рода человеческого обретающихся“. Опыт буржуазного материализма XVIII века приводил к морали человека вообще, но отрицал мораль надчеловеческую, т. е. религиозное обоснование морали. Социальная мораль Гольбаха отправлялась поэтому от человека, ищущего — и не могущего не искать — своего счастья здесь, на земле, в единственном из возможных миров. Иска-

* Мы пользуемся изданием 1776 г.

ние и наслаждение собственным счастьем — как будто бы „бездушный эгоизм“ в глазах моралистов-идеалистов — приводило материалистов XVIII века к универсальному альтруизму, ибо, только способствуя счастью других, можно достигнуть собственного счастья, как руководящей и направляющей поведение цели. Поведение людей в обществе регулируется и основывается на „общественном договоре“. Конечно, в наши дни концепция общественного договора безнадежно устарела, но разве не радикально, чтобы не сказать революционно, должны были звучать слова перевода гольбаховских положений в эпоху Павла, когда они провозглашали взаимные обязанности и должности „государя“ (у Гольбаха сказано „государей“) с подданными“ и утверждали, что без них „не можно взаимного приобрести счастия“*. Эти взгляды, по мысли Гольбаха, навсегда порывали с врожденными нравственными идеями, что и зафиксировано в русском переводе.

Любопытно, что в статьях из „Системы природы“ редакция (или цензор?) вычеркивала места, в которых Гольбах прямо говорил о единстве „физического и духовного человека“: там был слишком опасный контекст. В первой же главе „Всеобщей морали“ контекст несколько иной, и переводчик дает дословный текст подлинника: „человек, вступая в свет, ничего более не приносит, как только способности к чувствованию и от сей его чувствительности проистекают опять же способности, кои называются душевными“. Этот тезис, как известно, был и остается основным в материалистическом истолковании интеллекта.

Дальнейшее развитие натуралистической морали Гольбаха содержится во второй главе „De l'homme, de sa nature“. Эта глава также без единого пропуска или искажения была напечатана в октябрьской книжке журнала. В этой главе Гольбах настаивает на природе человека (не изменяющейся, по его мнению), как на отправном пункте для этических построений. Эту природу человека он определяет как „собрание качеств и свойств, его составляющих, ему врожденных и отличающих его от прочих животных, с ним нечто общее имеющих“. Здесь повторяется та же картина, что и в первой главе с чувствительностью, как основой „души“: в статьях „Системы“ тщательно было изгнано одно место, в котором Гольбах говорил об общих свойствах животных и человека,— здесь та же мысль воспроизводится. На основе этой общей природы, а вместе с тем и специфических особенностей человека, Гольбах, а вместе с ним и „Санктпетербургский Журнал“ Пнина, утверждает „искание благосостояния“ как первую моральную максиму. Все отрицающие ее получают название

* „Санктпетербургский Журнал“ 1798 г., июль, стр. 61.

метафизиков, „оставивших сказки и романы вместо истинного описания о человеке“; эти люди прибегали „к нерешимой и обманчивой метафизике“ вместо того, чтобы рассматривать человека „таковым, как он взору нашему представляется.

Третья глава „Всеобщей морали“ „De la sensibilité, des facultés intellectuelles“ не была переведена в журнале, но, подобно многим другим, вряд ли это было сделано по цензурным соображениям. Правда, здесь Гольбах говорит о происхождении всего нашего знания из материального опыта; он рисует лестницу знания: ощущения и восприятия, память, размышления, суждения, воображение и разум. Но эта психология Кондильяка и материалистов целиком вошла в одну из глав работы А. Ф. Бестужева (по многим данным, соредактора Пнина), „О воспитании“, именно в главу, напечатанную в той же октябрьской книжке, где была помещена вторая глава из „Морали“ Гольбаха.

Принцип стремления к удовольствию и избегания печали получает у Гольбаха подробное развитие в следующей, четвертой главе перевод которой дан, опять-таки полностью, в ноябрьской книге. Нам нет нужды подробно следить за ходом мыслей автора. Здесь, собственно, даны основы бодрой, жизнерадостной этики французских материалистов, называвших добром приятное и полезное, а злом — неприятное и вредное. Вторые предикаты приводили их к признанию истинными удовольствиями те, „кои по испытании представляются нам согласными с сохранностью человека и кои не приключают ему печали“, а это далее вело к тому, что „удовольствия душевные, доставляющие нам услаждения, преимущественнее суть тех, кои нам внешние выгоды приносят, как-то: богатство, великие обладания, почести, доверие, милости, которые фортуна раздает и отнимает по своему хотению“.

Пути стоиков и эпикурейцев сходились, но обоснование этики у них было различно. Будь добродетельным,— говорили стоики,— а из добродетельного поведения само собой вытечет счастье. Стремись к счастью,— утверждали эпикурейцы,— но счастья ты можешь достигнуть лишь путем добродетели. По второму пути шли материалисты XVIII века, по этому пути шел, видимо, и Пнин, когда он в отделе „Нравственные мысли“ писал (очевидный перевод Гольбаха или Дидро): „Человек по природе своей необходимо любить должен удовольствия и убегать печали“ (ч. III, стр. 57) и „Наслаждайся — вот мудрость; споспешествуй к наслаждению — вот добродетель“ (ч. I, стр. 235).

Весьма щекотливой для русского перевода того времени представлялась тринадцатая глава первого раздела „Морали“ Гольбаха: „О совести“. Основная и несложная мысль автора заключается в том, что совесть не врождена человеку. У Голь-

баха нет, конечно, классового подхода к вопросу, но он уже поднялся до признания относительности этого понятия: то, что у некоторых „варваров“ почитается делом весьма согласным с совестью, напр., оставление без пищи и помощи бесполезных стариков, то в глазах „культурных“ народов является делом бессовестным; то, что проделывают „без зазрения совести“ монархи-тираны и попы-фанатики, то в глазах „общества“ есть дело безнравственное.

Пнин дает перевод этой главы, но перевод с купюрами. Нужно, однако, сказать, что выпуски касаются снова лишь выпадов против тиранов и попов. Весь же ход мыслей Гольбаха передается полностью, и самый вывод формулируется вполне благополучно: „Итак, все доказывает нам, что совесть, не будучи врожденным или неразделимым с природой человеческою качеством, может быть токмо плодом опытности, воображения, руководствуемого рассудком, навыка входить в самого себя, внимания на свои действия, предвидения их влияния на других и воздействования на самих нас“.

Из менее существенных и принципиально имеющих второстепенное значение глав „Всеобщей морали“ Пниным были напечатаны переводы глав седьмой и девятой II раздела и восьмой и десятой III раздела. Первая из них — „О человечестве“ („De l'humanité“) — переведена в августовской книжке в извлечениях и с добавлениями. Единственный существенный пропуск касается гольбаховского положения о том, что гуманность осуждает национальные и религиозные распри. Вторая из указанных статей— „Благодеяние“ („De la bienfaisance“) является вольной композицией на тему соответствующей главы Гольбаха с буквальным переводом некоторых отдельных фраз оригинала. Третья статья — „О праздности“ („De la paresse, de l'oisiveté“) — есть вольный и сокращенный перевод аналогичной статьи Гольбаха. Наконец, четвертая — „Невоздержание“ („De l'intemperance“) — представляет перевод конца соответствующей главы Гольбаха с собственным добавлением переводчика.

Все эти статьи, не имея, как сказано, принципиального значения, свидетельствуют, однако, что в поисках материала для журнала взоры Пнина чаще всего обращались к произведениям крупнейшего французского материалиста. Если в двенадцати вышедших книжках журнала одиннадцать раз был представлен Гольбах, то, очевидно, не может быть речи о случайности появления Гольбаха на страницах русского издания 1798 года. Это внимание могло иметь место лишь при наличии известного согласия редактора журнала со взглядами материалиста. И если И. П. Пнин не был Гольбахом ни по оригинальности и талантливости мысли, ни по логической последовательности и силе выводов, то все же он, Пнин, уступая

во многих отношениях Радищеву, относился к Гольбаху примерно так, как русская общественная действительность павловского времени относилась к французской действительности семидесятых и восьмидесятых годов XVIII столетия.

4

Все переводы из Гольбаха печатались Пниным в „Санктпетербургском Журнале“ как мировоззренческие установочные статьи. В этих статьях Пнин пропагандировал близкие ему философские взгляды. Это заставляет нас внимательнее присмотреться к Пнину — редактору и организатору публицистики, а затем, с привлечением специальных трактатов нашего автора, и к Пнину — непосредственному публицисту.

„Санктпетербургский Журнал“ является, несомненно, наиболее интересным и общественно значимым периодическим изданием своего времени. Среди необычайно убогой журнальной литературы той эпохи детище Пнина выгодно отличается своей серьезностью, сравнительной выдержанностью и трезвым реализмом направления. Конечно, издатель должен был считаться с своими подписчиками; поэтому журнал отдает — правда, умеренную — дань уже оформившемуся сентиментализму или безобидным и даже улыбки не вызывающим в наши дни анекдотам; с другой стороны, есть дань руссоизму, который, собственно говоря, и приводил к сентиментальным идиллиям. Сравнение счастливых швейцарских пастушков и пастушек с чопорными и извращенными жителями городов (известное положительное значение эти сравнения имели для своего времени) мы встречаем главным образом в переводах идиллий и од знаменитого в то время естествоиспытателя и поэта Альбрехта фон-Галлера и Геснера. Но эти материалы, равно как и другие стихотворения (за исключением принадлежащих перу Пнина), не составляли стержня журнала. Не они создавали тон. Основными статьями были переводы из Гольбаха, работа Бестужева о воспитании, переводы-извлечения и изложения значительных экономических работ той эпохи.

С первой же книжки Пнин стал печатать обширный трактат Бестужева „О воспитании“, опубликование которого отдельными главами продолжалось весь год. Трактат носит на себе сильнейшие следы влияния французского материализма, главным образом в общетеоретической части. Главы же конкретного содержания не идут дальше либерализма; однако нужно помнить, что этот либерализм проповедывался тогда, когда, по выражению одного источника, „говорить было страшно и молчать было бедственно“.

Основные мысли автора сводятся к тому, что „воспитание распространяет только полученные от природы способности“

и что оно может дать „только известную степень одинакости". Принимая материалистическо-сенсуалистическую теорию познания XVIII века, автор предлагает все воспитание и образование по годам расположить так, чтобы сначала развивать и изощрять восприятия ребенка, затем его память, воображение и, наконец, рассудок, как способность суждения. Между прочим, любопытно, что, уделяя значительное время на нравственное воспитание юношества путем чтений, бесед, примеров (все это вполне в духе эпохи просвещения в целом), автор ни единым словом не упоминает о преподавании закона божия.

Далее следует упомянуть переводы из „Meditazioni su l'economia politica" итальянского экономиста, друга и единомышленника Беккарии, гр. Пьетро Верри (1728—1797). Помещение этих переводов в журнале позволяет думать о том, что Пнин принимал взгляды их автора. А это открывает некоторые перспективы для определения классовой подосновы его воззрений.

Экономические воззрения Верри, конечно, совершенно устарели, но исторически они выражали интересы молодой промышленной буржуазии, стремившейся освободиться, во-первых, от стеснительной деятельности полицейского государства, а, во-вторых, от остатков ремесленно-цехового строя, задерживавших развитие крупных мануфактур. Верри не совсем согласен с физиократами. Для него не может быть „новопроизведений" в абсолютном смысле. Деятельность человека способна только соединять и разъединять материю, только создавать новые ее образования. А это делают не только земледельцы, но и ремесленники. Вообще же говоря, „новопроизведение" равняется „издерживанию". Стало быть, если говорить о новопроизведениях в относительном смысле, то их создают и ремесленники. Понятия стоимости у Верри, конечно, нет. Цена же, по его мнению, определяется нуждой и редкостью товара.

Интересно, что Пнин печатает главу, направленную против законов, запрещающих вывоз товаров за границу. Этим запрещением думают уменьшить число продавцов. Но „сии тягостные возбранительные законы или вселяют в государство бесплодие, или совсем бывают бесполезны". На место всяких охранительных законов автор хочет поставить принцип конкуренции. Поэтому он восстает также против построения промышленности по типу цеховых организаций. Нужно предоставить полную свободу всем и каждому (за исключением области „аптекарского искусства"). „Суконные фабрики, кожевенные заводы,— переводит журнал,— не могут быть в цветущем состоянии, если не будут иметь полной и совершенной свободы". Государству предоставляется только известный контроль. Таким образом, на страницах своего журнала Пнин

вел идейную пропаганду передовых для того времени экономических теорий. Подобно Радищеву с его трактатом или пространной запиской о Кяхтинском торге, он, в меру своих возможностей, указывал на необходимость для России перехода к режиму капитализма в той его фазе, когда господствует свободная конкуренция.

Эта классовая подоплека особенно выступает в его „Опыте о просвещении относительно к России", напечатанном отдельным изданием в 1804 г. Здесь, как и в ряде своих поэтических произведений, он остается типичным просветителем XVIII века, ратующим за „пользу просвещения", обращающимся к „просвещенному монарху" и ожидающим с высоты престола благодеяния для подданных. Ясно, что Пнин выступает против цензуры. Едко и зло высмеивает он в „Письме к издателю", воображаемом „переводе с манчжурского", цензорскую опеку над авторами. Аллегорически, но достаточно грозно предупреждает он в басне „Верховая лошадь" земных владык, во главу угла своей политики ставящих народную темноту, о возможных революционных последствиях этой их близорукой политики.

Основным публицистическим произведением Пнина является упомянутый нами „Опыт о просвещении относительно к России". Однако нельзя скрывать того, что в наши дни изучение „Опыта" не может не принести исследователю некоторого разочарования. Материалист с известным налетом деизма, Пнин, поднимавшийся в отдельных своих поэтических произведениях до атеизма (ода „Человек"), во всяком случае должен быть назван в общеидеологическом отношении если не революционером, то для своего времени крайним радикалом. К сожалению, этого нельзя сказать о его конкретных, применительно к современной ему России, социально-политических взглядах.

Правда, и здесь он обнаруживает некоторую двойственность. Его отрицательная критика существовавших в его время порядков и общественных отношений (мы имеем в виду так называемый крестьянский вопрос), несомненно, сильна и хотя и по-просветительски, но наполнена местами гневом и негодованием; однако его положительно конструктивные предложения даже для того времени — после Радищева — бедны, убоги и не идут дальше обычных в тогдашних условиях требований либерализма. И если общетеоретические предпосылки „Опыта" — все те же принципы „Социальной системы" и „Естественной политики" Гольбаха, то их приложение „относительно к России", как бы выполняемое Пниным, никак не может быть названо их адекватной конкретизацией.

Подкупающе звучат смелые и радикальные утверждения Пнина: „Россия имела многих обладателей, но правителей

мало“; заманчива сама постановка вопроса: хотя в трактате речь будет итти о просвещении, но предварительно необходимо посмотреть на общее положение всех „состояний“ и прежде всего „земледельцев“, т. е., по существу, крепостного крестьянства; наконец, многообещающе начало „Опыта“, все пронизанное установками французского просвещения и, еще точнее, французского материализма XVIII века — этого идеологического подготовителя Великой французской революции.

Пнин так и начинает: „Человек ни на одну минуту в жизни своей не может, так сказать, отделиться от самого себя; все, на что он ни покушается, что ни предпринимает, что ни делает, все то имеет предметом доставление себе какого-нибудь блага или избежание несчастия“. От этого основоположного пункта этики французских материалистов Пнин, также по их стопам, переходит к проблеме: индивид — общество. Необходимо частные интересы отдельных индивидов направить к общему счастью. „Всё искусство законодателя, предпринимающего начертать законы для народа, в невежестве пребывающего, должно состоять в том, чтобы частные страсти направить к единой цели, общее добро заключающей“. Это общее благо Пнин определяет равным образом в соответствии с представлениями старых просветителей: общее благо есть „величайшее блаженство величайшего числа людей“. В качестве автора этого положения Пнин указывает Беккарию. Он мог бы указать и на Бентама, хотя едва ли не первым эту мысль высказал в своем сочинении „Об уме“ французский материалист XVIII века Гельвеций. Путь к так понимаемому „общему благу“ Пнин, само собою разумеется, усматривает в просвещении.

Дойдя таким образом до проблемы просвещения, Пнин начинает изменять своим идеологическим водителям, изменять принципам радикального французского просвещения и от буржуазного радикализма кануна французской революции и принципов самой революции скатывается на позиции умеренного русского буржуазного либерализма.

Пнин усматривает сущность французской революции в последовательном развитии четырех принципов: *права человека, вольность, равенство и собственность*. Несомненно, таким и было идеологическое обоснование великой буржуазной революции. Схематически оно может быть представлено так: существуют естественные права физического существа — человека, прежде всего *свобода*, затем, поскольку все люди по природе равны, *равенство*; из свободы и равенства вытекает *собственность*.

Эту прикрытую идеологическим флером философию ранней буржуазии, обосновывающую современную буржуазную формальную демократию, Пнин обнажает, однако, не потому

что он не согласен с ее основными устоями, а потому, что он, расходясь в деталях, хочет на первое место *открыто* поставить то, что *скрыто* на первом же месте стояло и у французской буржуазии, именно *собственность*. А поступив так, он, конечно, последовательно *отрицает равенство*. Таким образом, четыре принципа французской буржуазии у Пнина исчерпываются тремя в такой последовательности: *собственность* есть основное *право* человека, предполагающее *свободу*, или, как выражается Пнин, „вольность".

Эти произведенные Пниным изменения — постановка на первое место собственности, исключение равенства и допущение вольности — предопределяют и все дальнейшие положительные конструкции автора, означающие „относительно к России" умеренную степень либерализма. Конкретно концепция Пнина сводится к следующему. Первое: принцип собственности, распространяемый, как „право человека", на все „состояния", означает снятие препятствий с развития капиталистических отношений и дальнейшее стимулирование этого развития. Второе: принцип исключения равенства, другими словами, утверждение неравенства, приводит к провозглашению неизменности четырех состояний: земледельцев (крестьян), мещан (буржуазии, в том числе и мелкоремесленной), дворян и духовенства. В этом, без сомнения, наиболее консервативная сторона концепции Пнина, тем более, что последний даже „прикрепляет" к каждому из перечисленных сословий ему одному наиболее „приличествующие" добродетели, а именно: крестьянству — трудолюбие и трезвость, мещанству — исправность и честность, дворянству — правосудие и самопожертвование, духовенству — благочестие и примерное поведение. На этом участке мировоззрения Пнина особенно ясно проступает его буржуазная природа на русской почве в условиях, когда во Франции уже отзвучала буржуазная революция.

Однако во всей этой концепции Пнина есть и *третье*, мимо чего нельзя пройти и что, также доказывая буржуазную природу мысли Пнина, звучало в феодально-крепостнической России довольно либерально: третий принцип Пнина — вольность,— в соединении с первым — собственностью,— требовал *освобождения крестьян от крепостной зависимости*. Относящиеся к этой проблеме мысли Пнина обнаруживают наибольшую зависимость не только от французского просвещения, но и непосредственно от А. Н. Радищева. Строчки, направленные против крепостного права, при всем их просветительстве, поднимаются до пафоса негодования и в условиях первого десятилетия XIX века звучат, несомненно, очень радикально. Так, например, Пнин не боится заявить, что „из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице". Патетически призывает он к освобо-

ждению крестьян в следующей тираде: „Как можно, чтобы участь толико полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства, состояла в неограниченной власти некоторого числа людей, которые, позабыв в них подобных себе человеков, человеков, их питающих и даже прихотям их удовлетворяющих, поступают с ними иногда хуже, нежели с скотами, им принадлежащими. Ужасная мысль! Как согласить тебя с целию гражданских обществ, как согласить тебя с правосудием, долженствующим служить оным основанием?“

Известны возражения тогдашних реакционеров и консерваторов: ежели освободить крестьян, то они, эта темная масса, не будут знать, что делать со свободой, а потому — сначала просвещение, а затем освобождение. Справедливость требует сказать, что Пнин, вслед за Радищевым, резко возражал против таких реакционеров: Пнин понимал, что ни о каком просвещении нельзя говорить, пока существует рабство. „Когда,— пишет он,— таковые законы (об освобождении крестьян и наделении их собственностью. — *И. Л.*) получат свое бытие, тогда только наступит настоящее время для внушения сему состоянию его *прав*, его *обязанностей*... тогда только с уверительностью приступить можно к их образованию, открыть им путь к истинному просвещению“.

Однако этот радикализм Пнина снова меркнет и теряет свои краски, как скоро речь заходит о конкретном выводе, имевшем для того времени огромное общественно-политическое значение. Вопрос ставится так: как освобождать крестьян — с землей или без земли? Известно, что эта проблема была практически актуальной и в середине XIX века, в эпоху подготовки крестьянской реформы. Само собою разумеется, не могла она не стать и перед Пниным. А именно на этой проблеме, как на оселке, оттачивались классовые позиции писателей, ее обсуждавших.

Теоретические принципы Пнина, и из них уже первый и основной, требовали не только освобождения крестьян, но и их „наделения“ собственностью. Пнин и пишет об этом черным по белому. Но последовательность в данном вопросе выражается не только в простом, так сказать, принципиальном положительном ответе на вопрос, а в конкретном ответе, *какой* именно собственностью нужно „наделить“ крестьян, короче — освободить их с землею или без земли. Отвечая на этот вопрос, Пнин различает собственность движимую и недвижимую и предлагает наделить крестьян лишь *движимой* собственностью, к которой добавлять еще избы и хозяйственные строения. „Она (крестьянская собственность.— *И. Л.*),— пишет он,— заключаться должна в скоте, птицах, изделиях, в ремесленных произведениях, орудиях для различных работ, ими

употребляемых, и других хозяйственных вещах, также принадлежать сюда должны хоромные, гуменные и прочие строения".

В таком решении этой важнейшей проблемы вновь ярко сказывается буржуазная классовая природа автора „Опыта". „Освобождение" крестьян в 1861 г. с крохотными земельными наделами было в интересах как буржуазии, так и значительного числа помещиков, ибо обеспечивало первым приток новых масс пролетариев на фабрики и заводы, а вторым — дешевые батрацкие руки.

В эпоху Пнина ситуация была несколько иной. Освобождение крестьян с землей, даже с малыми наделами, несомненно, создало бы угрозу помещикам и не дало бы рабочих рук молодой буржуазии; освобождение их без земли, по существу, оставляло бы значительные массы крестьян прикрепленными к помещичьей земле и в то же время в неприкрытой форме начало бы стимулировать использование этих почти даровых рабочих рук в мануфактурах и на первых фабриках. Так скрещение просветительных принципов французского материализма с конкретным содержанием определенного этапа классовой борьбы в России породило в лице Пнина своеобразную компромиссную социально-политическую теорию, либеральную по своему значению, буржуазную по своей классовой природе.

Таким образом, положительный социально-политический идеал Пнина в условиях своего времени не шел дальше либерализма, являясь идеалом только еще нарождавшейся у нас в то время промышленной буржуазии. Гораздо острее, как мы видели, его отрицательно-критическая работа, направленная против пережитков феодализма. Если вспомнить, что социальный феодализм в виде крепостничества был у нас в то время еще в полном расцвете, то эта отрицательного направления работа Пнина должна быть признана весьма важной по своему общественному значению.

В этом отношении представляет интерес впервые опубликованная в 1889 г. Е. Петуховым рукопись Пнина, представленная им Александру I, под заглавием: „Вопль невинности, отвергаемой законами". Написана она была по частному поводу, имевшему, однако, большое значение в личной жизни автора. В 1801 г. умер отец Пнина, князь Репнин, не „усыновив" своего внебрачного сына и никак не отметив его в своем завещании. Как передают современники, семейное положение Пнина доставляло ему всегда немалые страдания. По фальшивым понятиям „общества" того времени, „незаконное" происхожденне человека создавало вокруг него атмосферу своего рода бойкота и изоляции. Это отношение к себе испытал и Пнин. И вот, когда силою вещей исчезли все надежды на

„легализацию“ положения, в 1803 году Пнин подал Александру свой „Вопль невинности“.

В первых же строках записки Пнин объявляет о тайне своего происхождения: „я один из тех несчастных, которых называют незаконнорожденными“. Но писатель не просит какихлибо милостей для себя лично; он говорит как бы от имени и за всех внебрачных детей. Голос его возвышается, насыщается пафосом и гремит против ложных взглядов общества и несправедливого законодательства. Свою „невинность“ он обосновывает естественным правом: „могущественнейший глас природы дает мне название сына“. Но законодательство отдалилось здесь от природы и в продолжение всей жизни наказывает сына за пороки отца. Если бы „незаконнорожденный“ знал о своей участи, он не захотел бы являться на свет. Мрачными красками рисует Пнин положение „воспитанников“ в помещичьих семьях. Это название укрепилось, а по существу оно является лишь другим именем для побочных детей. При наличии крепостного права создаются часто трагические картины. „Нередко случается, что брат наследует своего брата, что сестра наследует свою сестру; т. е. так называемые незаконные дети делаются собственностью, делаются крепостными людьми законных детей, несмотря, что и те и другие суть дети одного отца. Природа, что стало с тобой? Куда девались права твои?“ Рисуя печальное положение таких детей, Пнин предлагает переложить на родителей, в первую голову на отцов-помещиков, „весь стыд и поношение“. Пнин предлагает меры по улучшению положения внебрачных детей, требует, между прочим, чтобы им были предоставлены права законных детей, хотя бы отцы и были против этого, требует предостовления им права избрания того состояния, какое они пожелают. Критика нравов в помещечьей среде приводит к выводу, что брак является „совокуплением имений, а не союзом людей“, что „хотя многоженство законом не позволяется, но в самом деле оно существует“. Сила и стиль этой критики, наряду с гражданским пафосом, ставят Пнина в ряд первоклассных писателей-публицистов того времени.

Мы рассмотрели небольшое количественно идейное наследство И. П. Пнина. Вся литературная деятельность его продолжалась лишь семь лет — с 1798 до 1805 г. В 1806 г. он предполагал снова организовать журнал под названием „Народный Вестник“, но план этот не осуществился и не мог быть осуществлен: прослужив некоторое время в министерстве народного просвещения, Пнин умер 17 сентября 1805 г.

После этого Пнин был забыт на несколько десятилетий. Вспомнили о нем по существу лишь в начале XX века; вспомнили российские либералы о своем предке. но конечно, про-

глядели в нем материалиста. На это есть свои естественные причины. В нашу эпоху буржуазия и ее интеллигенция вспоминают своих предков-либералов, но не вспоминают мыслителей-материалистов. Совершить это последнее дело способен только пролетариат.

В наши дни в отношении Пнина, говоря словами Ленина, следует отделить важное от неважного. Прежде всего нужно понять ту эпоху и ту страну, в которой жил и действовал Пнин. И тогда его материализм, пускай незавершенный, типа Радищева, предстанет перед нами как любопытнейшая и интереснейшая страница нашей истории. Во Франции уже бушует революция; французские материалисты сделали свое дело в идеологической области уже несколько десятилетий назад. У нас — мертвая полоса Павла, когда боятся за тридевять земель гремящей революции, когда запрещают после девяти часов вечера выходить кому бы то ни было на улицу, за исключением попов, врачей и повивальных бабок; когда, наконец, запрещают носить платье французского фасона, ибо и оно пахнет революцией.

Радищев в далекой Сибири пишет философский трактат, на издание которого нет никакой надежды, ибо он „запятнан", быть может, вопреки чувству и сердцу автора, материализмом. И в это самое время, когда официальным указом изгоняется вовсе и без замены самое слово „общество"*, Пнин издает журнал, в котором пропагандирует материализм. Он менее ярок, чем Радищев, он не первый по времени русский радикал в области мировоззрения в целом, но при всем этом он делает шаг вперед по сравнению с Радищевым прежде всего как пропагандист, далее — как один из весьма немногих, если не единственный, открытый деятель на идейном фронте в эпоху Павла; наконец, он является видимым соединительным звеном в истории материализма в России, — звеном, которое исторически связало Радищева с декабристами, в особенности с „соединенными славянами", этими „внуками" французского материализма XVIII века.

---

* Приводим здесь в извлечении „высочайшее повеление 1797 г. об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими":

Слова отменяемые:	Взамен их повелено употреблять:
преследование	посланный в погоню
общество	этого слова совсем не писать
граждане	жители или обыватели
отечество	государство
приверженность	привязанность или усердие
стража	караул

В таких условиях приходилось издавать свой журнал Пнину!

Вл. Орлов

ПНИН-ПОЭТ

В записной книжке Батюшкова „Чужое — мое сокровище" (1817 г.) содержится план „книги приятной и полезной", которая показала бы „рождение и ход" русской литературы, „сходство и различие ее от других литератур, все эпохи ее". Особую главу в этой книге Батюшков считал нужным посвятить Пнину. Со времени, к которому относятся заметки Батюшкова, прошло сто шестнадцать лет, а между тем в курсах истории русской литературы не всегда можно найти даже имя Пнина, не только главу, посвященную рассмотрению его литературной деятельности.

Пнин-публицист заслонил собою Пнина-поэта. Его оды, басни, элегические и сатирические стихотворения если и привлекались к исследованию, то только в качестве подсобного, иллюстративного материала. Они никогда не служили предметом специального историко-литературного изучения. И это отнюдь не случайно: публицистика и поэзия органически связаны друг с другом в литературной практике Пнина. В значительнейшей своей части (за исключением всего нескольких „нейтральных" пьес) стихотворения Пнина были своего рода литературным комментарием к его публицистическим сочинениям,— они всецело лежали в плоскости общефилософских и социально-политических мнений, выраженных в статьях „Санктпетербургского Журнала", „Вопле невинности" и „Опыте о просвещении". В этом ключ к пониманию поэзии Пнина, как поэзии публицистической по преимуществу.

Однако поэтическое наследие Пнина надлежит оценить и осмыслить не только в его функциональном значении, но и как литературный факт. В сознании современников Пнин был прежде всего поэтом, а не публицистом: „С качеством хорошего Поэта соединял он и качество хорошего прозаиста и собственным примером доказал, что хороший Поэт может быть и хорошим писателем в прозе и что для человека, одаренного талантами,

все роды писания свойственны“ (Н. П. Брусилов. „О Пнине и его сочинениях“, 1805 г.). Стихотворство Пнина в качестве основного признака его литературной деятельности подчеркнуто здесь достаточно ясно. И следующее литературное поколение еще помнило Пнина именно как стихотворца: „Пнин с дарованием соединял высокие чувства Поэта. Слог его особенно чист“,— писал авторитетный критик двадцатых годов (А. А. Бестужев. „Взгляд на старую и новую словесность“, 1822 г.).

Поэзию Пнина надлежит осмыслить как литературный факт, восстановив в отношении ее историческую перспективу, не изолируя ее от эпохи, учитывая направление и результаты литературно-теоретических споров, развернувшихся на рубеже XVIII—XIX вв. Пнин заслуживает такого рассмотрения не потому только, что в истории русской поэзии он занимает достаточно видное место как поэт с незаурядным и оригинальным дарованием, но также и потому, что он сыграл весьма крупную роль в деле создания на русской почве политической, „гражданской“ лирики, нашедшей впоследствии более полное и законченное выражение в творчестве поэтов-декабристов (Рылеев, Вл. Раевский, Кюхельбекер).

Литературная деятельность Пнина продолжалась очень недолго, всего семь лет: первые его оды появились в печати в 1798 г., последние же стихотворения помечены 1805 годом, годом его смерти. Однако в истории русской поэзии эти семь лет составили целую эпоху. Это была эпоха промежуточная (и не столько переходная, сколько переломная), ознаменованная утверждением нового литературного сознания, поисками новых эстетических норм и средств организации стиха, изменением самого понятия „литература“ и переосмыслением ее социальной функции. Это была эпоха подлинной литературной революции. Пнин, несмотря на кратковременность своей писательской деятельности, сумел занять в столь сложных условиях самостоятельную и ответственную позицию.

Для правильного понимания русского литературного процесса 1790—1800-х гг. во всем его объеме надлежит пересмотреть вопрос о так называемой литературной борьбе эпохи. Неправомерно сводить ее исключительно к борьбе вокруг „старого“ и „нового“ слога. Шишковисты и карамзинисты боролись друг с другом в пределах единой классовой идеологии и выражали интересы всего лишь различных групп одного класса — дворян-землевладельцев. Ограничиться одной этой распрей значит снять с обсуждения вопрос о классовой борьбе в литературе. А такая борьба в русской литературе на рубеже XVIII и XIX вв. шла, и даже с немалым ожесточением. Традиционное противопоставление имен Шишков — Карамзин в этом плане ничего не объясняет, противопоставление имен Карамзин — Радищев объясняет многое.

Литературная борьба в эпоху 1790—1800-х гг.—явление сложное и отнюдь не прямолинейное. Полемика по вопросу о литературе и ее социальном бытовании носила в эти годы чрезвычайно широкий и принципиальный характер. В центре полемики стояли не только проблемы литературного стиля (в широком значении этого слова), связанные с вопросами выработки нового лексического аппарата, ломкой жанровой системы, вообще разрушением нормативной поэтики XVIII столетия, но также и проблемы „идеологизации" литературы, в области поэзии сводившиеся прежде всего к задаче насыщения стиха идейно-смысловым содержанием. Острота полемики вокруг проблемы идеологизации литературы усугублялась еще благодаря тому обстоятельству, что именно в эту эпоху усваивается новая точка зрения на художественное слово как на отличное средство идеологической борьбы,— стих приобретает конкретно-агитационное значение.

Различные группы писателей, выражавшие различные классовые тенденции, решали задачу идеологизиции литературы по-разному. Здесь не место выяснять вопрос об оппозиционных настроениях в литературе павловской и александровской эпох; достаточно указать, что процесс становления и развития буржуазной идеологии в области литературы, явственно различимый уже во вторую половину XVIII столетия, в эту эпоху приобретает более конкретные очертания. Связанная с именем Радищева линия буржуазного радикализма была продолжена в годы „александровской весны" группой молодых литераторов, обеъдинившихся в 1801 г. в полуофициальное Общество любителей изящного (впоследствии переименованное в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств). Литераторам этой группы с полным правом может быть присвоено звание „радищевцев", а первое место среди них отведено Пнину.

Прежняя история литературы все свое внимание сосредоточила на борьбе шишковистов и карамзинистов. Но так как эпоха в целом этой борьбой не покрывалась, то все литературные явления, не укладывавшиеся в столь примитивную схему, либо вовсе не принимались в расчет, либо, в случае нужды, насильственно подгонялись к той или другой группе. Таким образом, целый ряд писателей (и писательских объединений) был зачислен, без всяких на то оснований, в „союзники" либо Шишкова, либо Карамзина. Между тем, наряду с шишковистами и карамзинистами (в свою очередь нуждающимися в диференциации), существовали группы промежуточные, эклектические, без учета которых невозможно составить полное и верное представление о литературной эпохе. Такими группами были Дружеское литературное общество, оленинский кружок и имеющий особо важное значение

кружок „радищевцев“, до настоящего времени еще не изученный.

Промежуточность позиции этой группы, эклектичность ее установок в равной мере, выражают как ее теоретические документы, так и литературная практика ее членов. Поэты группы с большой свободой сочетали в своих творческих поисках некоторые принципы одической поэзии Державина, Капниста и других поэтов XVIII века (речь идет не о простом использовании готовой поэтической системы, но о переосмыслении и деформации отдельных ее элементов) со многими программными положениями „очистителей языка“, поскольку основная проблема, стоявшая перед группой,—проблема идеологизации литературы,—в известной мере покрывалась провозглашенным карамзинистами лозунгом борьбы за семантически весомое слово (за счет разрушения „бессмысленного“ одического „грома“). Это был принципиальный эклектизм с установкой на конгломерацию двух поэтических систем, сосуществующих в литературном сознании эпохи 1790—1800-х гг.

Историко-литературная роль эклектизма может быть весьма значительной. Поэты Вольного общества в области организации стиха и переосмысления его социальной функции проделали огромную работу, значение которой для последующей литературной эпохи еще не выяснено в полной мере. Творчество их ознаменовано необычайным богатством форм, разнообразием жанров, поисками в области ритма, метра и т. д. (особенно это относится к Востокову). Наконец, особо нужно отметить глубокое усвоение поэтами Вольного общества германской стиховой культуры (Востоков, Борн, Беницкий, Каменев). Характерно, что на это обстоятельство обратило внимание младшее поколение архаистов: „В 1802 году Востоков изданием своих „Опытов лирической поэзии“ изумил, можно даже сказать привел в смущение публику; в сей книге увидели многие оды Горациевы, переведенные мерою подлинных стихов латинских. Он показал образцы стихов сафического, элегического и говорил с восторгом о произведениях германской словесности, дотоле неизвестных или неуважаемых“ (В. Кюхельбекер. „Взгляд на нынешнее состояние словесности“, 1817 г.). Отсюда, в представлении Кюхельбекера, шла линия на Жуковского, т. е., иными словами, „генеральная“ линия литературной эволюции 1800—1810-х гг.

На том шатком основании, что программные установки поэтов Вольного общества по некоторым пунктам совпадали с литературно-теоретическими положениями карамзинистов, их нередко брали за одни скобки. Вольное общество объявлялось своего рода „союзной державой“ карамзинской школы, выступавшей с ней рука об руку против архаистических принципов. Однако достаточно вспомнить теоретические высказывания,

творчество и личную писательскую судьбу такого видного представителя группы, как Востоков, чтобы вопрос немедленно же осложнился. Востоков был убежденным, хотя и неправоверным (с точки зрения Шишкова), архаистом, и вступление его в Беседу любителей русского слова вовсе не было случайным фактом его биографии. Характерны также и высказывания другого теоретика группы — И. М. Борна, именно по „больному“ вопросу — о языке: „Какой неисчерпаемый источник имеем мы в славянских книгах! — пишет Борн. — Сколь богат, силен и благозвучен язык славяно-российский. Не быв пристрастен к боязливой *очистке* языка (Purism), нельзя однакож без некоего негодования на нерадивость многих переводчиков видеть в сочинениях и переводах их не только худосложенные *новые слова*, но и целые предложения, свойству языка вовсе противные... Зачем же и без нужды раболепствовать и подражать чужому, когда имеем свое, нередко чужое превосходящее? Зачем многозначительную краткость и благородную простоту славянскую переменять на вялое и надутое многословие?“ („Краткое руководство к российской словесности“, 1808 г. — Там же встречаются довольно двусмысленные отзывы о Карамзине).

Полемический смысл этого высказывания совершенно ясен. Употребленное Борном слово „переводчики“ нужно понимать в данном случае шире его обычного значения: имеются в виду подражатели (Борн пишет не только о переводах, но и о сочинениях „переводчиков“). Это — стрела в лагерь карамзинистов, которым предъявляется самое страшное для них обвинение в „вялом и надутом многословии“. Таким образом, Борн бьет карамзинистов тем самым оружием, которым карамзинисты в свою очередь били шишковистов. Все это ни мало не напоминает дружеских, „союзнических“ или даже просто добрососедских отношений. Заметим также, что выпад Борна относится уже к тому времени, когда принципы карамзинистов внешне восторжествовали над архаистическими, — это обстоятельство подчеркивает полемическую остроту высказывания.

Во всяком случае нет решительно никаких оснований соглашаться с утвердившимся (по почину Л. Н. Майкова) мнением, что именно в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств „проявилось живое сочувствие к Карамзину“ и что не кто иной, как Пнин, „один из первых в Петербурге“ выразил это сочувствие. Даже учитывая полную неопределенность выбранного Л. Н. Майковым термина, можно говорить (и то с целым рядом ограничений) о каком-либо „сочувствии к Карамзину“, имея в виду всего лишь некоторых отдельных представителей группы, чьи литературно-эстетические мнения вовсе не характеризуют программных установок всей группы в целом (особенно в первый период ее существования, ограни-

ченный 1801—1807 гг.). Правда, из Вольного общества вышел Батюшков, но он был там случайной фигурой. Вообще на периферии группы карамзинистские тенденции проступали более отчетливо, но показателен тот факт, что даже в журнале И. И. Мартынова (не входившего в состав Вольного общества, а только примыкавшего к нему) „Северный Вестник“ (1804—1805 гг.), где была помещена статья Д. И. Языкова, направленная против Шишкова, и неоднократно высказывалось „сочувствие“ Карамзину, в то же время появлялись насмешливые отзывы о Карамзине и его литературном окружении.

Что же касается карамзинистских симпатий, якобы обнаруженных Пниным, то это чистейшее недоразумение. Зачисляя Пнина в разряд „сочувствующих“, обычно имели в виду панегирическую „Надпись к сочинениям г-на Карамзина“, помещенную в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г.:

Гремел великий Ломоносов
И восхищал сердца победоносных Россов
Гармониею струн своих.
„В творениях теперь у них
Пусть нежность улыбнется,
„В слезах чувствительность прольется“,
Сказали Грации — и полилась она
С пера Карамзина.

Дополнительно упоминалось, что Пнин-де, вслед за Карамзиным, отдал дань модному увлечению „чувствительностью“ и боролся с Шишковым. Но, во первых, выписанные выше стихи не принадлежат Пнину, во-вторых, из почти пятидесяти стихотворений Пнина только одно („К роще“) косит на себе следы типично карамзинистской „чувствительности“ и „сладостной меланхолии“ (и именно благодаря этому выпадает из общего плана поэзии Пнина), и, наконец, в-третьих, Пнин никогда с Шишковым не боролся и даже в прошумевшей полемике 1803 г. (вокруг шишковского „Рассуждения о старом и новом слоге“) никакого участия не принимал. Наоборот, при ближайшем рассмотрении выясняется, что литературная деятельность Пнина была принципиальной и настойчивой оппозицией Карамзину и его школе.

Вопрос о происхождении, специфике и границах так называемого русского сентиментализма не выяснен до настоящего времени. Самый термин „русский сентиментализм“, которым так охотно оперировала история литературы, совершенно условен и ни в какой мере не покрывает собою сложной системы переплетающихся линий литературного новаторства в эпоху 1790—1800 гг., указывая всего лишь на один из ее вторичных, результативных признаков — „чувствительность“.

Выяснение вопроса о так называемом русском сентиментализме во всем его объеме выходит далеко за пределы дан-

ной заметки. Оставляя в стороне многочисленные историко-литературные проблемы, связанные с реформами „сентименталистов“ в области русского стиха, ограничимся здесь одним только замечанием: „русский сентиментализм“ — явление сложное, не односоставное, требующее четкой диференциации.

Сентиментализм был занесен к нам с Запада, где культ природы, естественности и „нежных чувствований“, широко охвативший все европейские литературы, начиная примерно с 1780-х гг., несомненно был связан с процессом разрушения социально-экономического благополучия господствующего класса. На первых порах культ этот явился реакцией против тяжеловесной культуры классицизма (элементы сентиментального культа природы можно встретить в германской литературе еще у Клопштока и поэтов Геттингенской школы; особо следует учесть английскую „меланхолическую“ поэзию — Юнг, Грей, Коллинз — и английский же экзотический роман, идеализирующий первобытное состояние, — лучшие образцы его восходят еще к XVII веку, например, „Ориноко“ Афра-Бен и многочисленные „робинзонады“ во главе с прославленной книгой Дефо).

Подымавшаяся во вторую половину XVIII столетия буржуазия восприняла и развила это первоначально дворянское течение, заострив его социальный смысл в плоскости идей эгалитаризма, основанных на теории естественного права. Главная роль в деле выработки буржуазно-сентиментального стиля принадлежала Руссо, противопоставившему безыдейному культу приукрашенной природы, нежной слащавости и слезливости свою проповедь естественной свободы и критику социального неравенства.

Тема „Руссо и русская литература“ еще ждет своего исследователя. Регистрация переводов (очень многочисленных: начиная с 1760-х гг. имя Руссо не сходит со страниц русских журналов) и общие рассуждения о „мощном влиянии“, с приведением более или менее удачных примеров, ровным счетом ничего не объясняют. Между тем имя Руссо для литературной эпохи 1790 — 1800-х гг. имело особое значение. Предоставим слово современнику: „*Мечтательность* была в нравах века того. Везде господствовала некоторая *философическая сентиментальность*“: отрицательные умы и вожди Энциклопедии поддавались обаянию этой сентиментальности. С одной стороны, важнейшие общественные вопросы были на очереди: их перевертывали на все стороны, ставили их, так сказать, на дыбы. Дело шло о том: быть или не быть порядкам, закрепленным, освященным многими столетиями. Испарения, подымавшиеся от этих столкновений, сшибок мнений и страстей, сгущали в атмосфере пока еще невидимые, но уже зреющие грозы которые должны были в скором времени разра-

зиться над европейским обществом. А между тем, в то же время умы любили отдыхать в сентиментальном самозабвении. Только и говорили, только и толковали что о природе, о счастии сельской уединенной жизни. Опять тот же Ж. Ж. Руссо, красноречивый и повелительный оракул века своего, был и Самсоном, потрясающим столпы общественного здания, и чуть ли не пастушком, который созывает всех итти за ним в новую Аркадию пасти овечек и восхищаться восхождением и закатом солнца. Не думая, не гадая, Руссо создал по себе многих кровожадных метафизиков французской революции и многих Шаликовых с посошком в руке и полевыми цветами на шляпе, непорочно питающихся одним медом и молоком" (П. А. Вяземский. „Старая записная книжка").

Здесь Вяземский совершенно правильно подчеркнул двойственность роли, которую Руссо сыграл вообще, в русской литературе в частности. Идеи Руссо были восприняты (в той или иной мере) почти всеми без исключения писателями, которых историко-литературная традиция обозначила общим наименованием: „сентименталисты". Сюда попадают и Радищев, и поэты Вольного общества, и Карамзин с своей школой. Однако отношение к Руссо у Радищева (и радищевцев) и у Карамзина (и карамзинистов) было неодинаковое. Два крупнейших литературных памятника эпохи — „Путешествие из Петербурга в Москву" (1790) и „Письма русского путешественника (1792)— с достаточной очевидностью свидетельствуют о несовпадении точек зрения их авторов на „красноречивого и повелительного оракула века своего". Именно это несовпадение и позволяет вскрыть истинный смысл антагонизма радищевцев и карамзинистов, под знаком которого на рубеже XVIII и XIX вв. в России развертывался процесс становления мелкобуржуазной литературы, выражавшей крайние для своей эпохи идеи политического радикализма.

В сознании большинства своих современников Карамзин пользовался довольно устойчивой репутацией либерального писателя: только в конце десятых годов репутации этой был нанесен ущерб (критика декабристов, эпиграммы Пушкина). Шишков, полемизируя с Карамзиным по специальному вопросу о языке и стиле, вынужден был прибегнуть к сомнительному приему: взять под подозрение политическую благонамеренность своего противника, обвинить его в пропаганде безбожия, в рассевании „якобинской заразы". Здесь не место доказывать, сколь необоснованны были подозрения Шишкова (или, спустя несколько лет, Голенищева-Кутузова, написавшего на Карамзина донос). Правда, в ранние годы своей писательской деятельности Карамзин отдал некоторую дань модному увлечению либеральной фразеологией; ему — будущему автору „Записки о древней и новой России" — принадлежит крылатая фраза:

„Я в душе республиканец и таким умру!“ Подобного рода декламация, а также пресловутый космополитизм окрашивали иные страницы „Писем русского путешественника“ в тона — пусть неясного и расплывчатого, но все же эмоционального — „вольнолюбия“. При этом старались не замечать, что в тех же „Письмах“ Карамзин выступал с презрительным осуждением революционных событий и защитой „старого порядка“. (В. В. Сиповский в своей книге о Карамзине приводит любопытные исправления, внесенные во второе издание „Писем“,— 1797 г. Например, вместо „бунтовал тамошний народ“ Карамзин пишет: „бунтовала тамошняя чернь“, вместо „уличный шум“ — „шум пьяных бунтовщиков“. Смысл этих поправок ясен: они сводились к дискредитации дела революции). „Либерализм“ Карамзина давно уже (еще А. Н. Пыпиным) разоблачен как мнимый либерализм.

Карамзин называл Руссо „величайшим из писателей осьмогона-десят-века“, он (а вслед за ним и все его литературные спутники) многое взял из литературно-эстетической теории Руссо (хотя и с известными ограничениями). Но карамзинистам остались совершенно чужды социально-политические идеи автора „Contrat Sociale“; они находили у Руссо одну лишь „сладкую чувствительность“, идеализацию природы, чувства, вражду к рационализму. Карамзин не сумел подыскать для характеристики Руссо никакой иной формулы, кроме „нежный живописец чувствительности“. Социально-политический смысл „чувствительных“ сочинений Руссо (как и вообще всей просветительной литературы XVIII века) Карамзиным раскрыт не был. Больше того: взяв у Руссо идею „чувства“, как чисто эстетическую категорию, Карамзин поставил ее на службу своей собственной идеологии, идеологии крепостника и политического реакционера.

Карамзин очень быстро освободился от вредных „иллюзий молодости“, от космополитических настроений и звонкой либеральной декламации. Уже в 1794 г. он пишет стихотворение („Послание к И. И. Дмитриеву“), в котором демонстрирует свое полное разочарование в „республиканских“ мечтаниях:

. . . время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...
Теперь иной я вижу свет,—
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтаком, Фалесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно...

„Свободу,—пишет он в другом месте,—мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностью к провидению“.

Карамзин — типичнейший *дворянский* сентименталист, сглаживающий все противоречия социальной действительности, усердно идеализирующий крепостнические отношения. Он выступал неплохим агитпропом своего класса, влагая в уста крепостных крестьян известные стишки:

Как не петь нам? Мы счастливы,
Славим барина-отца...

(Ср. статью Карамзина „Письмо сельского жителя" в „Вестнике Европы" 1803 г., где развернута подобная же идиллия: „добродетельный" помещик и „обожающие" его крестьяне. В этой статье, между прочим, аргументируется следующая „тонкая" мысль: передача крепостным помещечьей земли, снижение оброка и прочие „реформы" неизбежно приводят к обнищанию крестьянства. Подобные идиллии были широко распространены в литературе XVIII века, — см., например, комедию В. Майкова „Деревенский праздник, или увенчанная добродетель", 1777 г., где крестьяне поют, обращаясь к помещику:

„Мы живем в счастливой доле,
Работая всякий час...
Мы руками работаем
И за долг себе считаем
Быть в работе таковой.
Дав в оброк, с нас положенный,
В жизни мы живем блаженной
За господской головой и т. д.

Философские, социально-политические и эстетические мнения радищевцев слагались в значительной мере под влиянием идей французской материалистической литературы, и в их творчестве идеи эти нашли достаточно четкое и полное выражение. Однако материализм Гольбаха и Гельвеция, сенсуализм Кондильяка, политические теории энциклопедистов, критика социального неравенства Мабли и Рейналя, учение о законности Монтескье и Беккарии, — все это, составлявшее идеологический багаж любого из писателей-радищевцев, было преломлено в их литературной практике сквозь руссоизм с его „философией чувства", идеализацией „естественного состояния" и моралью, основанной на глубокой вере в нравственное совершенство человеческой природы. Недаром в своих философических размышлениях по поводу „бога", „природы", „мироздания" и пр. Пнин апеллирует не к „разуму", а к „сердцу":

Спросил я *сердце*, и решенье
В моих я *чувствиях* нашел.

У радищевцев имя Руссо пользовалось исключительно большим уважением, но прежде всего как имя политического писателя, революционного идеолога, а не „аркадского пастушка"

и „нежного живописца чувствительности". Радищевцы усвоили основную идею Руссо, идею неотъемлемой личной свободы, основанной на естественном праве, как наивысшего блага человека. В поэзии радищевцев мы не найдем (за малыми исключениями) слащавости, изысканной томности и „сладостной" меланхолии, отличающих литературный стиль карамзинистов. Поэтическая манера Пнина, Востокова, Беницкого, Каменева и др. значительно более мужественна. Здесь, в Вольном обществе любителей словесности, слагалась оппозиция Карамзину в основном она шла по линии преодоления безыдейного сентиментализма. (Дух оппозиции Карамзину и „толпе безрассудных его подражателей" проникал и в другие эклектические писательские объединения, даже в такие близкие Карамзину. как Дружеское литературное общество; здесь тоже возражали против „нежной чувствительности" и требовали идеологизации литературы,— см., например, речь Андрея Тургенева 1801 г., опубликованную в „Русском Библиофиле" 1913 г., № 1).

Карамзин в программном предисловии ко второй книжке альманаха „Аониды" (1797 г.) следующим образом изложил свою точку зрения на „предмет" и „методы" поэтического творчества: „Поэзия состоит не в надутом описании ужасных сцен натуры, но в живости мыслей и чувств... Молодому питомцу Муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар натуры и прочее в сем роде. Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенять стихотворца и служить доказательством дарований его: напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах поэтическую сторону". Поэт должен стараться „ко всему привязывать остроумную мысль, нежное чувство, или обыкновенную мысль, обыкновенное чувство украшать выражением... играть идеями и, подобно Юпитеру (как сказал о нем мудрец Эзоп), иногда малое делать великим, иногда великое малым".

Здесь Карамзин как будто специально имеет в виду Пнина, писавшего именно на запретные темы о „разрушении мира" и „всеобщем пожаре натуры". Пнин никогда не делал „великое" „малым"; он боролся за монументальный стиль и „великие предметы" в поэзии против „мелочей" карамзинистов. Он писал во всех почти жанрах — от эпиграммы, надписи, мадригала до стиховой трагедии (недошедший до нас „Велизарий"), но основным для себя жанром избрал оду (правда, смещая, деформируя ее), с ее декламационно-ораторской установкой, как готовую и, главное, привычную конструкцию для выражения „великих предметов" средствами стиха. Наряду с одой он разрабатывает жанр лирической медитации.

В своих одах Пнин охотно касается самых общих, самых „грандиозных" философских и космогонических вопросов (см.,

например, оду „Время“; ср. астрономическую картину космоса в оде „Солнце неподвижно между планетами“, оду „Бог“). В самом выборе тем, в склонности к широким философским, естественно-научным и социально-историческим обобщениям сказывается оппозиционное отношение Пнина (как и всей группы поэтов Вольного общества) к творческим принципам Карамзина. Здесь, в Вольном обществе, перед поэзией ставились задачи не только изображения, но и истолкования действительности во всем многообразии ее форм, начиная с космогонических процессов и кончая вопросами политической злободневности. Отнюдь не примыкая к шишковскому лагерю, Пнин и его литературные друзья тем не менее боролись против эстетизма, сглаженности, маньеризма, камерного стиля („домашности“) карамзинистов (характерны в этом отношении самые заглавия стихотворений Пнина,— это все заглавия „большого масштаба“: „Время“, „Слава“, „Человек“, „Надежда“, „Бог“, „Правосудие“, „Любовь“, „Зависть“ и т. д.).

Пнин глубже, нежели остальные радищевцы, усвоил точку зрения на поэзию как на могущественное средство политической агитации и пропаганды. Такая установка неизбежно влечет за собою ослабление интереса к вопросам формы (в широком значении этого слова), к вопросам литературного мастерства, за счет повышения интересов к практической роли стиха как средства выражения внелитературных (политических, философских, научных) смыслов. Процесс этот вовсе не знаменует собою „отрицания“ литературы, но свидетельствует скорее о ее функциональном переосмыслении и присвоении ей новых качеств. Историко-литературное значение подобных „катаклизмов“ может быть исключительно важным (достаточно вспомнить Рылеева, Некрасова, в наши дни — Маяковского). Обычные критерии „плохого“ и „хорошего“ теряют при этом свое значение. „Хорошим“ для Пнина оказывается такое сочинение, которое хотя и „худо написано, но имеет цель полезную“. В „Послании к некоторым писателям“ он пишет:

> ... ужели дарования
> Вам на то даны природою,
> Чтобы, слабость зря Писателей
> (Впрочем цель всегда похвальную
> Нам своим трудом являющих),
> По единственной причине сей
> Принимать их за врагов себе
> И стрелами ядовитыми
> Злобной и завистной критики
> Уязвлять их без пощады всех?..
> Ежели когда нечаянно
> (Что всегда у вас случается)
> Попадется сочинение
> В ваши руки весьма слабое,
> И которое исполнено

Недостатков и погрешностей,
Да и слишком худо писано,
Но имеет цель полезную,—
То послушайте, друзья мои,
Еще хуже вы поступите,
Коль его злословить станете,
Не щадя и сочинителя;
Напишите сами лучше вы,
И — вот способ к отомщению...

На полемическую заостренность этого стихотворения никто еще, кажется, не обратил внимания. А между тем оно явствует уже из самого заглавия: „Послание к *некоторым* писателям“. Адрес расшифровать нетрудно: „некоторые“ писатели — это, конечно, карамзинисты с их гипертрофированным вниманием к стихотворной виртуозности, к вопросам формы, стиля и языка.

В плане этой полемики любопытно сопоставить самые линии профессионального поведения Пнина и Карамзина. В мрачную эпоху павловской реакции Пнин издавал самый левый журнал, а Карамзин решил „умереть авторски“, что, впрочем, не помешало ему написать Павлу I хвалебную оду. Характерно, что Пнин один только раз адресовался в своих стихах к царю (см. „Гимн на заложение биржи“, написанный явно по заказу); все его оды обращены не к царям, а к гражданам. Вступление на престол и коронация Александра I вызвали необычайное оживление в литературе: „вся Россия была в поэтическом упоении“ (Н. И. Греч), одних од по случаю воцарения Александра насчитывается более пятидесяти. Но Пнин и в данном случае проявил крайнюю сдержанность и не приветствовал нового царя ни одной строчкой.

Здесь мы вплотную подходим к вопросу об идейном содержании поэзии Пнина. Цитированное выше „Послание к некоторым писателям“ с достаточной убедительностью свидетельствует о том, что в понимании Пнина поэзия должна преследовать не только узко эстетические, но и практические цели. Пнин призывал русских писателей „трудиться только для пользы сограждан своих, для пользы человечества“. Тем самым писателю присваивается ответственная роль в деле „просвещения“, в деле нравственного влияния на людей и социального переустройства общества. Такой взгляд на писателя и его „дело“ был высказан еще Радищевым: „Блажен писатель, если творением своим мог просветить хотя единого; блажен, если в едином хотя сердце посеял добродетель... Не достойны разве признательности мужественные писатели, восстающие на губительство и насилие для того, [чтобы] избавить человечество от оков и пленения?“ („Путешествие из Петербурга в Москву“). Пнин не только целиком воспринял эту точку зрения, но и практически реализовал ее в своей работе над

стихом. Пропаганду идей французской материалистической философии и критику социально-политических устоев феодально-крепостнического строя он сделал основной, „генеральной“ темой своих стихотворений.

Выше стихотворения Пнина были названы литературным комментарием к его публицистическим сочинениям. Это положение можно отлично проиллюстрировать на примере оды „На правосудие“, занимающей в поэтическом наследии Пнина центральное место. Параллельное сравнение начальных строф оды и „Опыта о просвещении“ (стр. 121 настоящего издания) покажет, что Пнин, говоря упрощенно, „переложил в стихи“ один из основных пунктов своей социально-экономической программы — вопрос о „священном праве собственности“:

О, правосудие! тобою
Хранится только смертных род.
Где ты — там с мирною душою
Трудов своих вкушают плод.
Где ты — там собственность священна,
Тобою твердо огражденна,
Ликует в счастливых сердцах,
Там всюду золотой рекою
Текут сокровища с тобою
И зрится радость на челах.

Где ты, там царствуют законы,
Там человек всегда почтен.
Там тверды в основаньях троны,
И к правде путь не загражден.
Там истина без страха ходит...

Где ты, там равными правами
Граждане пользуются все...
Там гнусна лесть у всех в презреньи,
Наружный блеск не в уваженьи,
Не чтут достоинством его.
Богатый с подлою душою
Ничто пред честной нищетою,—
Добро превыше там всего.

Где ты, там вопль не раздается
Несчастных, брошенных сирот;
Всем нужна помощь подается,
Не раболепствует народ.
Там земледелец не страшится,
Чтобы насильством мог лишиться
Им в поте собранных плодов... и т. д.

Собственность! священное право! душа общежития! источник законов! мать изобилия и удовольствий! Где ты уважена, где ты неприкосновенна, та только благословенна страна, там только спокоен и благополучен гражданин. Но ты бежишь от звука цепей. Ты чуждаешься невольников. Права твои не могут существовать ни в работе, ни в безначалии, поелику ты обитаешь только в царстве законов. Собственность! где нет тебя, там не может быть и правосудия... Там все покрыто неизвестностью, все зависит от случая. Одно мгновение — и общественного здания не станет. Одно мгновение — и развалины оного возвестят о бедствиях народных и т. д.

Историческое значение Пнина как поэта заключается прежде всего в том, что он был поэтом политической темы. Разумеется, и до его выступления мы найдем в русской поэзии политические стихи и стиховые трагедии. Изобличение „дурных правителей“ получило достаточно широкое распространение в дворянской и третьесословной литературе XVIII века. Не говоря уже о Радищеве с его одой „Вольность“, самые разные поэты (достаточно вспомнить имена Капниста, Княжнина, Николева, даже Державина — автора оды „Властителям

и судьям") „давали смелые уроки" царям и вельможам. Учитывая при этом непрерывный поток обличительной сатиры и политического памфлета (поток не столько книжный, сколько подпольно-рукописный), можно говорить в отношении Пнина о более или менее устойчивой традиции русской „вольной" поэзии XVIII века.

Однако в истории становления и развития оппозиционных идеологий „вольные" поэты XVIII века не сыграли особо заметной роли. Они не возвысились до изобличения самодержавного и крепостнического строя, да и вообще пафос их негодования был в достаточной степени умеренным. Единственным, пожалуй, исключением остается Радищев, пригрозивший „увенчанным злодеям" уже не только небесной карой, но и народной расправой:

Возникнет рать повсюду бранна,
Надежда всех вооружит;
В крови мучителя венчанна
Омыть свой стыд уж всяк спешит.
Меч остр, я зрю, везде сверкает,
В различных видах смерть летает
Над гордою главой паря.
Ликуйте, склепанны народы!
Се право мщенное природы
На плаху возвело царя.

Пнин идет по пути Радищева, но идет дальше его,— именно как политический поэт. Его оды „На правосудие", „Человек", „Послание к В. С. С." и др.—уже не только стихотворения на политическую тему, но сама политическая поэзия, где „внелитературная" политическая тема приобрела значение нового *конструктивного* принципа.

Политические идеи укладывались в стихах Пнина в особые фразеологические образования, имевшие условное семантическое значение, значение символов. Такие слова, как: раб, злодей, отечество, общее благо, истина, гражданин, правосудие, невинность, порок, добродетель и пр., а также имена „гражданских" героев классической древности (Курций, Муций, Сцевола, Велизарий и др.), рассчитанные на вполне определенный круг ассоциаций, имели глубокий агитационно-политический смысл. В сознании читателей 1790—1800-х гг. они свободно ассоциировались с конкретными явлениями живой политической современности. Это был своего рода политический диалект, и недаром Павел I, по-своему чутко относившийся к вопросам языкового мышления, счел необходимым исключить из употребления целый ряд слов-символов, отдававших „якобинским духом" (среди них были: общество, граждане, отечество).

Приведем несколько примеров, свидетельствующих о том, что нагнетание агитационных символов в пределах одной

строфы было одним из основных принципов поэтической работы Пнина:

Кто к счастью вел путем свободы...
Кто столько жертвовал собою
Не для своих, но общих благ,
Кто был отечеству сын верный,
Был гражданин, отец примерный,
И смело правду говорил,
Кто ни пред кем не изгибался,
До гроба лестию гнушался,
Я чаю,— тот — довольно жил.

(„На смерть Радищева“).

Превозмогал ты все преграды,
Во благе общем зря награды,
То духом *Сцеволы* горел,
Как *Курций*, бездны презирая,
Для пользы общей погибая,
Быть равным сим мужам хотел.

(„Слава“).

Род смертный тот же век пребудет,
Он только пременяет вид;
Сильнейший слабого гнать будет,
Злодей злодея подкрепит.
Невинность с правою душою
Не сыщет для себя покою,
Себя собой не защитит.
Теряют и цари короны,
Рабы на их восходят троны;
В сем мире случай все решит.

(„Послание к В. С. С“).

И еще одно замечание: агитационной выразительности поэзии Пнина много способствовал ее личностный тон. Лирическая медитация — жанр, к которому, наряду с одой, тяготел Пнин,— конструировала образ поэта-гражданина, добродетельного и просвещенного, жертвы социальной несправедливости. Благодаря тому, что образ этот отчасти совпадал с реальной биографией автора, поэзия Пнина приобретала особый эмоциональный оттенок и воспринималась как патетическая „исповедь сердца“:

Я мыслил провести в покое жизни ток,
И с юности моей развратам не подвластен;
Со склонностью своей не думал быть несчастен...
О, свет! ужасных бедств, ужасных мук содетель!
Где мзда с пороками равняет добродетель,
Где гордость, до небес касаяся главой,
Невинность робкую теснит своей ногой...
Вращаяся в тебе, я видел подлу лесть,
Хотящу вкрасться в грудь, чтоб больше ран нанесть.
Я зрел в тебе людей коварных, злых, надменных,
Бесстыдностью своей в злорадствах ободренных,

Которых казнь небес, ни совесть не страшит,
Которых бог корысть, а подлость твердый щит!
Я зависть зрел всегда, носящую железы,
Успехи из нее мои исторгли слезы;
Невинного меня искала погубить:
Кто добродетелен, не может счастлив быть.
Когда, зря бездны вкруг, в обманах, во сметеньи,
Я в дружбе кинулся найти успокоенье,—
Святое дружество! о, нежный дар небес!
Коликих мне и ты виною было слез!
Те, кои дружбу мне и верность обещали,
Увы! друзья мои! друзья враги мне стали.
Я злобу презирал, и сам ей жертвой был...

Перед нами, может быть, первая в русской литературе „поэтическая исповедь интеллигента" (излюбленный жанр в эпоху сороковых годов). На рубеже XVIII—XIX вв. это был новый голос (новая интонация) в литературе, где преимущественно раздавались либо торжественный распев архаистов, либо интимная, салонная „болтовня" поэтов карамзинской школы. Так Пнин, эклектически работавший над стихом по принципу свободного сочетания различных стилевых тенденций, вырабатывал в то же время свой собственный поэтический стиль. Опыт его работы был широко использован „гражданскими" поэтами следующей эпохи.

СОЧИНЕНИЯ ИВАНА ПНИНА

МОЯ ЛИРА

I

ВРЕМЯ[1]

Рука Урании пространство измеряет.
О, время! но тебя ни мысль не обнимает;
Непостижимая пучина веков, лет!
Доколе не умчит меня твое стремленье,
Позволь, да я дерзну — хотя одно мгновенье
Остановиться здесь, взглянуть на твой полет!

Кто мне откроет час, в который быть ты стало?
Чей смелый ум дерзнет постичь твое начало?
Кто скажет, где конец теченью твоему?
Когда еще ничто рожденья не имело,
Ты даже и тогда одно везде летело,
Ты было все, хотя не зримо никому!

Вдруг бурное стихий смешенье прекратилось;
Вдруг солнцев множество горящих засветилось,
И дерзкий ум твое теченье мерить стал:
На то ль, дабы твою увидеть бесконечность,
На то ль, чтоб сих миров постигнуть краткотечность,
И видеть, сколь их век перед тобою мал!

Так что же жизнь моя в твоем пространстве вечном?
Что этот малой миг в теченьи бесконечном?
Кратчайший в молниях мелькнувшего огня:
Как мне тебя понять, как мне узреть — не знаю.
Вотще тебя, хоть миг, в уме остановляю,
И мысль моя с тобой уходит от меня!

Не я тебе один, весь свет и все подвластно!
Но сколь твое глазам владычество ужасно:
Здесь — гробы древние, поросши мхом седым;

Там — стены гордые, под прахом погребенны;
Истлевши города и царства потопленны,—
Все в мире рушится под колесом твоим!

О, веки бывшие и вы, вперед грядущи!
Явитеся теперь на голос, вас зовущий,
Представьте страшный час, которой я постиг,
Пред коим все его удары разрушенья,
Паденья целых царств, народов истребленья —
Равно как бы перед ним единой жизни миг!

Там солнце, во своем сияньи истощенно,
Узрит своих огней пыланье умерщвленно;
Бесчисленных миров падет, изветхнув, связь,
Как холмы каменны, сорвавшись с гор высоких,
Обрушася, падут во пропастях глубоких,—
Так звезды полетят, друг на друга валясь!

Всему судил творец иметь свои пределы:
Велел, да все твои в свой ряд повергнут стрелы;
Все кончиться должно, всему придет чреда,
Исчезнут солнца все, исчезнут круги звездны,
Не будет ничего, не будет самой бездны;
О, время! но ты все пребудешь и тогда!

СОЛНЦЕ НЕПОДВИЖНО МЕЖДУ ПЛАНЕТАМИ[2]

Ода

Небесным сводом окружаюсь,
И небо для меня течет,
Я горних царь светил являюсь,
В гордыне человек речет:
Не для меня ли Солнце всходит?
Не для меня ль к концу приводит
Блестящий свой в Эфире бег?
Спокойным оком я объемлю,
Как царь, весь мир, в средине землю,
Недвижимо стоящу в век*.

Оставь сию мечту, надменный,
На самого себя озрись,
Кто мы? пылинки слабы, тленны,
Чтоб столько мыслями неслись.
Безумцы! с властью мы вещаем,

* Система Птоломеева. (Примечание Пнина.— *Ред.*).

Но бедственно лишь погрязаем,
Слиянны в бездне мы вещей,
И только жить лишь начинаем,
Появимся и исчезаем,
Как прах, мгновенный блеск лучей.

Какой бессмертной пред очами
Отверзла Урания ход?
Твоими ли зовусь устами,
Богиня, на небесный свод?
Спешу вослед я за тобою
И возвышенною душою
С земли подъемлюсь в небеса;
Светильник твой меня предводит
Ко храму, где мой взор находит
Природы тайны чудеса.

Какой вид чувствия смущает
И прерывает ток словес?
Какое чудо пременяет
Устав превыспренних небес?
В пространстве страшном, отдаленном,
Един в безмолвии священном
Вселенной шествие смотрю
И в ограждении безмерном
Стремящиеся в чине верном
За ней шары различны зрю.*

Несясь от Запада к Востоку
Движеньем вечным искони,
По своду гладкому, широку
Вертятся на оси они.
Какой ум тайной назначает
Планетам путь и управляет
Чудесных силою пружин?
Не Солнцем ли в эфирном поле
Тела влекутся по неволе?
Не то ль есть царь планет един?

Среди пространного эфира,
Который творческой рукой
Излит в пустую бездну мира,
Оно движенья их виной.
Собою зыблясь непрестанно,
Качает, давит постоянно

* Система Коперникова. (Примечание Пнина.— *Ред.*).

Эфир блудящих сонм шаров,
Противна отражает сила
Ко краю одного светила
Эфирных множество валов.

Так составляются пространны
Круги известным сим телам:
Спешат в пределы начертанны
Меркурий и Венера там;
Последует земля, за тою
Течет с неравной быстротою
Угрюмый Марс, по нем Зевес,
Сатурн, летами отягченный,
Путь совершает удаленный
Средь хладных с трудностью небес.

Земля от Солнца ожидает
Благотворительных огней,
Оно сквозь плотный кров пускает
На землю множество лучей,
И обе света половины,
Причастны счастливой судьбины,
Часов и дней правитель зрит.
Земля ко знакам наклоняясь,
В теченьи года изменяясь,
Цветы и жатву нам родит.

Источник благ, душа вселенной,
О, Солнце, образ красоты,
И образ Вышнего Священной,
Внемли усердье с высоты!
Планетам, вкруг тебя летящим,
Твой чистый свет благословящим,
Во блеске бога представляй;
И царствуй над его делами,
Ликуй, и вечно пред веками
Величество его вещай.

СТИХИ НА СОН [3]

Хаос идей, призра́к крылатый,
Забвенья сын, отзыв страстей,
И раб в цепях, и Крез богатый,
И все, что дышет в жизни сей,
Все платит дань твоей державе.
Ты царствуешь богов ко славе,
Тебе жжет смертный фимиам.

Ты неба кажешь нам щедроту,
Вся в мире тварь жива тобой.
Какую зрим в тебе доброту!
Когда, рассыпав мак седой,
Природы пульс остановляешь,
В свои объятья призываешь,
И счастье в них вкушать даешь.

Но всяк ли из людей вкушает
Покой эфирный, сладкий сей?
Ах, нет! злодей его не знает —
Ты для злодея сам злодей.
Вотще на розах ароматных
Мнит спать приятно враг несчастных,
Наступит ночь — тиран не спит.

Когда ж себя я вопрошаю:
О Сон! что в существе есть ты?
Коль брат ты смерти, то не знаю,
Как зреть могу твои черты?
Быв мертвому тогда подобен,
Как быть могу к чему способен?
Как связь могу иметь с тобой?

Чтобы какие зреть виденья,
Потребно, мню я, для сего
Одну хоть искру воображенья;
Нельзя сна видеть без того.
Я с сном мечтаний не мешаю,
Когда я сплю, я не мечтаю,
Когда ж мечтаю, то не сплю.

Так что же суть те сновиденья,
Которые не редко зрим?
Они суть плод воображенья,
В то время мы еще не спим.
Дав мыслям вольное теченье,
Мы погружаемся в забвенье,
Блуждая в хаосе идей.

Блуждая, наконец, преходим
К забвенью полному, ко сну.
Воздушных замков уж не строим,
Не ездим более в луну.
Отдавшись силе сна волшебной,
Все забывает доброй смертной
И спит спокойно до утра!

[НА СМЕРТЬ РАДИЩЕВА][4]

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!
То сердце, что добром дышало,
Постиг ничтожества закон;
Уста, что истину вещали,
Увы!— на веки замолчали
И пламенник ума погас;
Кто к счастью вел путем свободы
. . . .
На век, на век оставил нас!

Оставил и прешел к покою.
Благословим его мы прах!
Кто столько жертвовал собою
Не для своих, но общих благ,
Кто был отечеству сын верный,
Был гражданин, отец примерный,
И смело правду говорил,
Кто ни пред кем не изгибался,
До гроба лестию гнушался,
Я чаю,— тот — довольно жил.

СЛАВА[5]

Блестящий призрак, дщерь химеры,
Честолюбивых душ кумир!
С какой волшебной льешь ты сферы
Свои лучи на целой мир?
Ты блеском солнце помрачаешь,
Пречудные дела раждаешь
Волшебным прутом ты своим;
Коснешься ль твердой скал вершины,
Мгновенно злачные долины
На место скал гранитных зрим.

О, сколько все стези те странны,
Чрез кои мнят достичь тебя!
Герои, мудрецы, тираны —
Прославить все хотят себя.
Один — в победах над врагами,
Другой — рассудка чудесами,
Последний — тяжестью цепей.
Тот пышны храмы созидает,
Другой их в пепел превращает,
Мня славным быть чрез подвиг сей.

О, Слава! изо всех тиранов
Ты самый лютый для людей!
Воззри на тьму сих истуканов
И на число их олтарей,
В различных видах их узнаешь,
Что ты в кумирах сих блистаешь
И что тебе жгут фимиам;
Разрушь, разрушь очарованье!
И в полном покажи сияньи
Стезю к тебе прямую в храм.

Что слышу? мне богиня вняла
И на роптание мое
В трубу златую так вещала:
„Я заблужденье зрю твое,
„И зрю, как скор во всем бываешь;
„Несправедливо осуждаешь,
„Чего не ведаешь ты сам.
„И так познай, о бедный смертный,
„Что только есть один путь верный,
„Ко мне ведущий прямо в храм.

„Сей путь осыпан не цветами,
„Во храм не Флоры ты идешь.
„Но бездны с страшными горами
„Ты на пути ко мне найдешь;
„И если дух твой содрогнется,
„Заноет сердце и забьется
„От страху сильно во груди,—
„Беги сих скорой мест стопою
„И с робкою своей душою
„В мою ввек область не входи.

„Но если мужеством пылая,
„Исполнен жара ты сего,
„Пучины, горы презирая,
„Себя превыше зришь всего;
„Гигантскою ногой ступая,
„Стремнин и гор не примечая,
„По малым мнишь итти буграм,
„Тогда со звучными трубами
„И с знаменитыми мужами
Сама тебя введу в мой храм.

„Введу — и на престол с собою
„В венце блестящем посажу —
„С какою твердою душою,

„Тогда я миру покажу:
„Превозмогал ты все преграды,
„Во благе общем зря награды,
„То духом *Сцеволы* горел,
„Как *Курций* бездны презирая,
„Для пользы общей погибая,
„Быть равным сим мужам хотел“.

Хотел!— восторгом упоенный,
Уже готов я был вещать —
Постой, постой, о дерзновенный!
Богиня, дав мне знак молчать,
Сим речь свою окончевает:
„Что славу всяк в нем разделяет
„*Ценою настоящих дел.*
„Служа Отечеству трудами,
„Творя добро пред всех очами,
„Чтоб всяк пример в добре том зрел.

„Пример сильнее наставлений,
„Мы все хвалу добру гласим,
„Громады видим поучений,
„Где ж исполнители?— не зрим.
„Почто не зрим Сократов ныне?
„Иль, вспоминая о судьбине
„Печальной мудреца сего,
„Никто на сцену не вступает,
„Всяк на другого уповает,
„Что сей свершит все за него?

„Не дщерь химеры, предрассудка,
„И не метéор я пустой,
„Я ложного по свету звука
„Не разношу моей трубой.
„Уже ли я тому виною,
„Что славу ложную с прямою
„Мешает человек всегда!
„Тот только в храм ко мне вступает,
„Кто добродетелью сияет,
„А без ее — нет в храм следа“.

Сказала — и в одно мгновенье
Исчезла с блеском от меня!—
Исчезло с ней и заблужденье,
Познав всю цену слов ея.—
О, Слава! если то неложно,
Что добродетелью лишь можно

В божественной твой храм вступить;
Когда ты лиц не различаешь,
Дела едины уважаешь,
То как злодеи могут быть?

ЧЕЛОВЕК[6]

Зерцало истины превечной,
Бытий всех зримых обща мать:
Щедрот источник бесконечной,
В ком счастье мы должны искать;
Природа! озари собою
Рассудок мой, покрытый мглою,
И в недро таинств путь открой;
Премудростью твоей внушенный,
Без страха ум мой просвещенный
Пойдет вслед Истине святой.

О, Истина! мой дух живится,
Паря в селения твои;
За чувством чувство вновь родится,
Пылают мысли все мои.
Ты в сердце мужество вливаешь,
Унылость, робость прогоняешь,
С ума свергаешь груз оков —
Уже твой чистый взор встречаю,
Другую душу получаю,
И человека петь готов.

Природы лучшее созданье,
К тебе мой обращаю стих!
К тебе стремлю мое вниманье,
Ты краше всех существ других.
Что я с тобою ни равняю,
Твои дары лишь отличаю
И удивляюся тебе.
Едва ты только в Мир явился,
И Мир мгновенно покорился,
Прияв тебя царем себе.

Ты царь земли — ты царь вселенной,
Хотя ничто в сравненьи с ней.
Хотя ты прах один возженный,
Но мыслию велик своей!
Предпримешь что — вселенна внемлет,
Творишь — все действие приемлет,
Ни в чем не видишь ты препон.

Природою распоряжаешь,
Всем властно в ней повелеваешь,
И пишешь ей самой закон.

На что мой взор ни обращаю,
Мое все сердце веселит.
Везде твои дела встречаю,
И каждый мне предмет гласит,
Твоей рукой запечатленной:
Что ты зиждитель есть вселенной;
И что бы степью лишь пустой
Природа без тебя стояла,
Таких бы видов не являла,
Какие зрю перед собой.

Где мрачные леса шумели
И Солнца луч не проницал,
Где змеи страшные шипели
И смертный ужас обитал;
Природа вопли испускала,
Свирепость где зверей дышала:
Там зрю днесь — дружество, любовь,
Зрю нивы, жатвой отягченны,
Поля, стадами покровенны,
Природу, возрожденну вновь.

На блатах вязких, непроходных,
Где рос один лишь мох седой;
В пустынях диких и бесплодных,
Где смерть престол имела свой:
Ты все как бог устроеваешь,
Ты невозможностей не знаешь,
То зиждешь селы, то градá,
То царства сильные возносишь,
Каналы чистых вод проводишь
И строишь пристани, суда.

Из хаоса вещей нестройных,
Воззвав порядок с тишиной,
Проник до дна пучин ты водных,
Откуда бисер дорогой
Исторг себе на украшенье.
Но дел великих в довершенье,
Щедроту ты свою явил:
Земные недра разверзая,
Металл блестящий извлекая,
Богатство по свету разлил.

Какой ум слабый, униженный,
Тебе дать имя *червя* смел?
То раб несчастный, заключенный,
Который чувствий не имел:
В оковах тяжких пресмыкаясь,
И с червем подлинно равняясь,
Давимый сильною рукой,
Сначала в горести признался,
Потом в сих мыслях век остался:
Что *человек — лишь червь земной.*

Прочь мысль презренная! ты сродна
Душам преподлых лишь рабов,
У коих век мысль благородна
Не озаряла мрак умов.
Когда невольник рассуждает?
Он заблужденья лишь сплетает,
Не знав природы никогда.
И только то ему священно,
К чему насильством принужденно
Бывает движим он всегда.

В каком пространстве зрю ужасном
Раба от *Человека* я,
Один, как солнце в небе ясном,
Другой так мрачен, как земля.
Один есть все, другой ничтожность,
Когда б познал свою раб должность,
Спросил природу; рассмотрел,
Кто бедствий всех его виною?
Тогда бы тою же рукою
Сорвал он цепи — что надел.

Прими мое благословенье,
Зиждитель-человек! прими.
Я прославлял в твоем творенье
Не все еще дела твои.
О сколь величествен бываешь,
Когда ты землю оставляешь
И духом в облака паришь;
Воздушны бездны озирая,
Перуны, громы презирая,
Стихиям слушаться велишь.

Велишь — и бури направленье
Берут назначенно тобой.
Измерил ты планет теченье,
Висящих над твоей главой.

Исчислил звезды, что с эфира
Лиют свой свет в пространство мира,
В котором все закон твой чтит.
С природой связан ты судьбою:
Ты ей живешь — она тобою
Свой жизненный являет вид.

Кто показал тебе искусство
Нам в звуках страсть изображать?
То наполнять восторгом чувство,
То вдруг нас плакать заставлять?
Сообразить волшебны тоны,
Проникнуть естества законы,
Таинственный предмет раскрыть;
Постигнуть вечности скрижали
И то, что боги созидали,
В музыке то изобразить?

Входя в круг дел твоих пространный,
Я зрю: ты знаки дал речам.
Дал мысли тело, цвет желанный,
И способ говорить очам.
От одного конца вселенной
В другой край мира отдаленной
Явил ты средство сообщать
Понятье, чувствие, желанье
И нынешних времен познанье
Векам грядущим предавать.

Кто дал тебе все совершенства,
Которыми блистаешь ты?
Кто показал стезю блаженства
И добродетелей черты?
Кто подал чашу утешений
Против печалей, огорчений,
Могущих встретиться с тобой?
Кто путь украсил твой цветами
И пролил радости реками
В объятья дружбы толь святой?

Кто правосудие заставил
Тебя дороже жизни чтить?
Кто сострадать тебя наставил
И благо повелел творить?
Кто в сердце огнь возжег священный,
Сей пламень чистый, драгоценный,
Которым гражданин живет;

Его что душу составляет,
Любовь к Отечеству питает
И твердость духа подает?

Скажи мне, наконец: какою
Ты силой свыше вдохновен,
Что все с премудростью такою
Творить ты в мире научен?
Скажи?.. Но ты в ответ вещаешь,
Что ты существ не обретаешь,
С небес которые б сошли,
Тебя о нуждах известили,
Тебя бы должностям учили
И в совершенство привели.

Ужель ты сам всех дел виною,
О человек! что в мире зрю?
Снискавши мудрость сам собою
Чрез *труд* и *опытчость* свою,
Прешел препятствий ты пучину,
Улучшил ты свою судьбину,
Природной бедности помог,
Суровость превратил в доброту;
Влиял в сердца любовь, щедроту;
Ты на земли, что в небе бог!

ПОСЛАНИЕ К В. С. С. НА НОВЫЙ ГОД[7]

Брось взор, мой друг, на вечность смелый,
Взгляни без страха на престол,
На коем вид она веселый
Хранит среди развалин, зол,
Среди пролитой крови рабства,
Средь суеверия, коварства,
Среди военных бурь, могил;
Взгляни на сонм вкруг урн стоящих,
Упадших пепел царств хранящих,
И слезы — кои мир пролил.

Взгляни спокойными очами
На участь общую людей,
Взгляни на царствы, что пред нами
Погибли в пропасти своей:
Иные вновь чело подъемлют,
Из праха нову жизнь приемлют,
На что ж? — чтобы влачить в цепях
Себя — и будущие роды...

Вот что с собой приносят годы,
Вот что мы зрим во всех веках!

Но что за призрак из-за бури
Сверкающий к нам мещет зрак?
То вдруг в зарях весь, то в лазури,
То кроется опять во мрак;
Как огнь блуждающий, мелькает,
То вдруг, как солнце, к нам сияет
В прекрасном, блещущем венце;
То, обвиваяся змеями,
И с пенящимися устами
Являет зверство на лице?

То новый год! Он так на смену
Протекшу году в мир идет.
Но лучшую ль в судьбе премену
Себе род смертный в нем найдет?
Род смертный тот же остается,
Он все невежеством ведется;
Лжесвятство, рабство и война
Владели им и днесь владеют,
Народы к ним благоговеют;
А истина!.. Удалена.

Род смертный тот же ввек пребудет,
Он только пременяет вид;
Сильнейший слабого гнать будет,
Злодей злодея подкрепит.
Невинность с правою душою
Не сыщет для себя покою,
Себя собой не защитит.
Теряют и цари короны,
Рабы на их восходят троны;
В сем мире случай все решит.

Так, друг мой, все случайно в мире,
Закон пред случаем молчит.
И раб в цепях, и царь в порфире
Творят — что случай повелит.
Стать выше случая не можно;
Уметь им пользоваться должно,
Коль скоро предстает пред нас.
Спасай невинность угнетенну
И душу подлую, презренну,
Являй злодеев тот же час,

К добру весьма случаев мало.
Ко злу — премного их всегда.
Везде найдешь пороков жало,
Не сыщешь к истине следа.
Почто же годы к нам приходят,
Когда в них люди не находят
Того, что к счастью нужно их?
Коль жизни каждое мгновенье
Родит беду и заблужденье:
Сей мир, мой друг, есть мир для злых.

В нем добродетель погибает,
Порок трофеями покрыт...
Нет! нет! — тот муж не умирает,
Кто ближнему добро творит.
Хоть кости все его истлеют,
Хоть бури прах его развеют,
Могила зарастет травой.
Но память ввек его пребудет,
Его несчастный не забудет,
И смерть его почтит слезой.

НАДЕЖДА[8]

Надежда! что ты есть такое?
Пролей свой свет ты на меня,
Скажи: мечтанье ль ты пустое,
Иль луч блуждающа огня?
То зрю тебя я под венцами,
То средь пещер, между лесами,
С кинжалом, с пламенем в руках;
То вдруг, исполненну восторгов,
Я зрю тебя средь громких хоров,
В одеждах радостных, в цветах.

В различных кажешься ты лицах,
Таишь нередко цель страстей:
Преступну мысль храня в убийцах,
Возводишь их на трон царей.
Тобою *Сикст* одушевленный
Приемлет старца вид согбенный,
Чтоб к дверям рая ключ найтить;
Находит — и с душой надменной
Берет державу, крест священной,
И мир готов ему служить.

Иной, тобою обольщенный,
Воссесть мечтает на Престол;
Уже народ, им возмущенный,
Несет повсюду тучи зол,
Как вдруг в стремлении сем яром
Падет под гибельным ударом,
На Эшафоте распростерт;
Глава отсечена катится,
Струяся черна кровь дымится.
Надежда! так твой вянет цвет!

Злодей равно живет тобою,
Как муж, исполненный доброт;
Лишь разной их ведя стезею,
Даешь вкушать им разный плод.
От двух начал ты происходишь,
Добро и зло с собой приводишь,
С желаньем быв сопряжена:
Лишь чрез него тебя мы знаем,
Коль есть желанье — уповаем,
А без него, что ты одна?

Ты есть ничто, коль нет желаний.
Но кто ж из смертных есть таков?
Кто из людей не полн мечтаний,
Не сделал кто из них оков?
В желаньях мы преград не знаем,
Во невозможном уповаем,
Мы любим обольщать себя;
Без нужд нередко призываем,
Чтоб только быть с тобой — желаем,
Скучаем жизнью без тебя.

Воззрю ли на раба в оковах,
Что век в неволе жизнь влачит;
На сирую вдовицу в стонах,
Что тощей смерти кажет вид;
Зря одного в цепях железных,
Другую зря в мученьях слезных,
Я вопрошаю сам себя:
Что держит в жизни сих несчастных?
Надежда! дней они ждут ясных,
И жизнь мила им чрез тебя.

Но что ж есть в существе ты самом?
Даешь ли истинный ты плод?
Под плотным кроясь покрывалом,
Лишь обольщаешь смертных род.

О! если б кто рукой враждебной
Сорвал с тебя покров волшебной
И обнаружил нам тебя!
Тогда б пред нашими очами,
Как в зеркале, мы зрелись сами,
И всяк в тебе узнал себя!

Желаний наших ты зерцало,
Существенного нет в тебе:
От них приемлешь ты начало,
Ничто сама ты по себе.
Ты есть ничто как продолженье
Не приведенных в исполненье
Желаний наших и затей.
Но от желаний кто отстанет?
Равно надежда не пристанет
Несчастных обольщать людей!

ОДА НА БОЛЕЗНЬ[9]

посвященная господину коллежскому советнику Осипу Кирилловичу Каменецкому

Исчадье ада, неги вредной,
Предтеча смерти, враг людей!
Ах! нет — не только бедный смертной,
Все существа вселенной сей,
Живущие в стихиях разных:
В морях обширных, бурных, страшных,
И те, что в воздухе мы зрим,
И те, что зрим в земной утробе,
Все суть твоей подвластны злобе,
Под Скиптром стонет все твоим.

Кто мне твои исчислит стрелы,
Которыми разишь людей?
Кто мне откроет их пределы?
Из урны гибельной твоей
Текут злы немощи, мученья,
Текут — но все без уменьшенья:
Все урна злом полна твоя.
Доколе будет мир храниться,
Из урны зло в мир будет литься,
Так где ж найду отраду я?

Вотще без здравия ласкает
Нас счастье милостью своей,

Без здравья — тускл венец бывает,
Ничто — богатый трон царей.
Все в мире здравье превышает,
Никто ему цены не знает,
Когда лишается его!
Блажен, кто, зря других пороки,
Умеет извлекать уроки
Из них для счастья своего!

Так что ж есть наша жизнь в сем свете?
Наука мучиться, терпеть!
Счастлив, кто пал в нежнейшем цвете;
Счастлив, кто может предолеть
Страстей волнующих внушенья;
Счастлив без всякого сомненья,
Кто меньше терпит в жизни сей!
Не знает немощей, мучений,
Не знает горьких приключений —
Да [и] к тому не есть злодей!

Но, ах! сего не постигая,
Я удивляюсь завсегда!
Как негр, весь век в цепях страдая,
Коль снимет их тиран когда —
Тогда в минуту восхищенья,
Толь сладкого освобожденья,
За бога он тирана чтит.
Ужели чувство избавленья,
Сугубя в нем уничиженья,
Всё прежнее забыть велит?

Чему подвержен не бывает
Несчастный смертный в жизни сей!
В слезах родясь, в слезах кончает
Своих остаток горьких дней.
Болезнь, болезнь, коль то не ложно,
Что мне здоровым быть не можно,
То сжалься, [сжалься]* надо мной!
Раскрой гроб смелою рукою —
Обнявшися, тогда с тобою,
Спокойно в гроб ступлю ногой!**

Но глухо мне болезнь вещает;
Слова ее мрут на устах.

---

* Вставлено по смыслу предложения нами.— *Ред.*

** В то время мне очень было худо. Я принужден был позвать к себе г-на Каменецкого.— *Сочинитель.*

Меня мгновенно оставляет,
Взор *Каменецкого* узнав.—
О! муж искусный, добрый, честный,
Друг человечества нелестный,
Прими от сердца дань сию!
Прими сей знак чувств непритворный,
Ты есть мой Гений благотворный,
Ты возвратил мне жизнь мою!

БОГ[10]

Ода

Систему мира созерцая,
Дивлюсь строению ея:
Дивлюсь, как солнце, век сияя,
Не истощается горя.
В венце, слиянном из огней,
Мрачит мой слабый свет очей.

Но кто поставил оком миру
Сей океан красот и благ?
Кто на него надел порфиру
В толико пламенных лучах?
Теченьем правит кто планет?
Кто дал луне сребристой цвет?

Кто звезды на небесном своде
Во время ночи засветил?
Кто неизменный сей в природе
Порядок дивный учредил?
Стремится к цели все своей —
Льзя ль цели быть без воли чьей?

Где есть порядок, есть и воля,
Которая хранит его:
Вселенной всей зависит доля
От тайного ума сего;
Но льзя ли мне сей ум познать,
Что мог по воле мир создать?

Спросил я сердце — и решенье
В моих я чувствиях нашел.—
Ужели все, что зрю в творенье,
Слепой то *случай* произвел?
Да что ж есть *случай* сей *слепой?*
Лишь слов без смысла звук пустой.

Но если случай мог явиться
Такой, чтоб мир сей произвесть;
То надо также согласиться,
Что случай сей не первый есть.
И льзя ль, чтобы хотя один
Родился случай без причин?

Как можно то назвать случа́ем,
Где зрю предмет созданий я?
Чрез опыт собственной мы знаем,
Что предприятию нельзя
Без воли доброй или злой
Свершиться самому собой.

Есть, стало, тайно разуменье,
Что миром управляет сим.
Исчезло все недоуменье!
Есть воля — хоть творец незрим.
Она по действию видна,
Вся ею тварь одарена.

Но кто из смертных проницает
Во *сущность* воли своея,
Хоть тем не мене ощущает
Чудесно действие ея?
Равно постигнуть существа
Нельзя нам *воли* божества.

О, ты, кого не постигаю,
Но в ком творца миров чту я!
Кого я богом называю;—
Хоть самого не зрю тебя,
Но благость мне твоя видна.
Вселенна дел твоих полна.

Что слышу: вопль мой слух пронзает!
Я внемлю ропот, стон людей.
Тот руки к небу воздевает,
Лия ручьи слез из очей.
Другой, не зря бедам конца,
Винит в отчаяньи творца!

Почто, почто меня караешь?
Вещает в горести своей;
Детей мне данных погубляешь,
Что крови стоили моей:
В ком мнил иметь подпору я,
Ты то отъемлешь у меня,

Уже цепьми обремененный,—
С улыбкой их влачит злодей;
Добычей сею восхищенный,
Смеется слабости моей.
И не щадя власов седых,
Сосет их кровь — в очах моих!

Повсюду слышу лишь стенанья!
Народы ропщут на творца:
Доколе будешь злодеянья
Взводить на трон под сень венца?
И под щитом лучей своих
Щадить коварных, гнесть благих?

При вопле сем — небесны своды
Мгновенно, страшно потряслись,
И по пространству всей природы —
Сильнее грома — раздались
Священные слова сии:
„О! человечество, внемли:

„Почто свой ропот ты возносишь
„И ставишь бед меня виной?
„В чем беспорядок ты находишь?
„Вещай теперь передо мной:
„Не то ли солнце и лучи,
„Не тот ли месяц зрим в ночи?

„Какую видишь ты премену
„В системе мира? возвести:
„Окинь очами ты Вселенну,
„Взгляни на всех планет пути,
„Что я повесил над тобой;
„В чем зрит нестройность разум твой?

„Или не той идет чредою
„Теченье годовых времен?
„Престали ль цвесть древа весною,
„Иль лето не родит семен,
„Что зреют осенью златой;
„Иль нет полям ковра зимой?

„Иль дней твоих для сохраненья
„Я мало ниспослал даров?
„Ужели в поле наслажденья
„Находишь мало ты цветов?
„Где только ты ступил ногой —
„Там терн растет колючий, злой!

„Вещайте вкупе все народы,
„Чего — любя вас — не дал я?
„В утробе зримые природы
„Вы все найдете для себя.
„Все счастье ваше в ней одной;
„Вы сами ваших бед виной!

„О человеки! вы виною
„Терпимых между вами бед!
„Коль кровь сирот течет рекою,
„Коль правосудья вовсе нет,
„И суть злодейства без числа,
„То ваши — не мои дела!

„Где опыт, где рассудок здравый,
„Что вас должны руководить?
„Они покажут путь вам правый,
„По коему должны иттить.
„Лишь под щитом священным их
„Найдете корень зол своих“.

О! бог мой, милостей податель!
Ты, коим жизнь храню мою,
Отец существ и их создатель,
Воззри на жертву чувств сию:
Доколь огнь духа не погас,
Услышь мой благодарный глас!

ОДА НА ПРАВОСУДИЕ[11]

Правосудие есть основание всех общественных добродетелей.

Гольбах

Блаженство смертных, царств подпора,
Злодеев страх, невинных щит,
Ты, коего трепещет взора
Порок, хоть он венцом покрыт.
Ты, кое лиц не разбираешь,
Равно щадишь, равно караешь
Рабов, вельможей и царей;
Ты, без кого б и боги сами
Не почитались бы богами
И не имели олтарей.

О Правосудие! тобою
Хранится только смертный род.
Где ты — там с мирною душою

Трудов своих вкушают плод.
Где ты — там собственность священна,
Тобою твердо огражденна,
Ликует в счастливых сердцах.
Там всюду золотой рекою
Текут сокровища с тобою,
И зрится радость на челах.

Где ты — там царствуют законы,
Там человек всегда почтен.
Там тверды в основаньях троны,
И к правде путь не загражден.
Там истина без страха ходит,
Ко всем без робости подходит
И чистою своей рукой
Личину с зависти срывает,
Коварство, мщенье обнажает
И кажет умысел их злой.

Где ты — там равными правами
Граждане пользуются все.
Там над породой и чинами
Заслуги верх берут одне.
Там гнусна лесть у всех в презреньи,
Наружный блеск не в уваженьи,
Не чтут достоинством его.
Богатый с подлою душою
Ничто пред честной нищетою;
Добро превыше там всего.

Где ты — там вопль не раздается
Несчастных, брошенных сирот;
Всем нужна помощь подается,
Не раболепствует народ.
Там земледелец не страшится,
Чтобы насильством мог лишиться
Им в поте собранных плодов.
Любуется, смотря на ниву,
В ней видя жизнь свою счастливу,
Благословляет твой покров.

Где ты — там воин презирает
Опасности и жизнь свою.
Умру! в восторге восклицает,
Умру за родину мою!
Я жизни ввек не пожалею,
Хотя жену, детей имею;

Паду ли от врагов моих
И более меня не будет,—
Тогда закон их не забудет,
Есть Правосудие для них.

Где ты — там Гений Просвещенья
Лучами мудрости своей
Открыв зловредны заблужденья,
Ведет на путь прямой людей.
Науки храмы там имеют,
Художества, искусства зреют,
Торговля богатит народ.
Там дух зиждительный свободы,
Проникнув таинства Природы,
Сторичный собирает плод.

Душа покоя и устройства,
Источник всех великих дел!
Ты образуешь дух геройства,
Бессмертие есть твой удел.
О Правосудие! не можно
Тебя нам описать, как должно;
Ты божество между людей!
Природа в красный день весною
Не восхищает нас собою,
Когда не зрим твоих лучей.

Где нет тебя — там все рыдает,
Все стонет, смерть к себе зовет;
Пожар вражды везде пылает,
И жертвы острый меч сечет.
Там всюду кровь течет ручьями,
Родители в борьбе с сынами,
Сыны против отцев идут.
Там сетует сама Природа,
Права отъяты у Народа,
И тигры агнцов там пасут.

Где нет тебя — там все несчастны,
От земледельца до царя.
Законы дремлют и безгласны,
Там всяк живет лишь для себя.
Нет ни родства, союза, веры,
Там видны лишь злодейств примеры,
Шипят пороки и язвят.
Там выгод нет быть добрым, честным,
Быть другом искренним, нелестным;
Там чашу смерти пьет Сократ.

Где нет тебя — там нет невинных,
Там гибнут все своей чредой;
Тот ныне жертвою был сильных,
А завтра сильных жребий злой
Ведет на эшафот кровавый.
Там совесть и рассудок здравый
Не сильны произнесть свой глас.
Народы там живут без цели,
Для коей жить они хотели;
Горят раздоры всякой час.

Но если то должно случиться,
Что мир с своей оси падет,
Вселенна в хаос погрузится,
И солнце шар земной зажжет,
То роковой сей день Природы
Тогда постигнет лишь народы,
Когда ты скроешься от них!
О! лучше мир пусть истребится,
И больше смертный не родится,
Чем жить ему в бедах таких!

Нет, нет, живи ты вечно с нами,
Храни сей мир, храни людей,
Да твой обвитый скиптр цветами
Составит счастье наших дней!
Совокупи ты все народы,
Детей единыя Природы,
Под сень державы твоея;
Владей над целою вселенной
И сей внушай закон священной:
Что нет блаженства без тебя!

ГИМН[12]

на случай высочайшего посещения, удостоенного их императорскими величествами Российское Купечество по заложении новой Биржи 1805 года, Июня 23 дня

Ликуй, Нева благословенна,
Счастливая из всех река,
Зря Александра, вдохновенна
Великим Гением Петра!

Тот град из блата вызывает
На чудо племенам земным,
Но Александром процветает
Торговля вместе с градом сим.
Блажен Народ, царем любимый,
Блажен и царь, Народом чтимый:
Да здравствует наш Александр!

Взирайте все народы света,
Завидуйте во счастьи нам,
Как Александр, Елисавета,
Дающие пример царям,
К блаженству общему стремятся
И силою считают царств,
Коль их народы просветятся,
Найдут в торговле мать богатств.
Блажен Народ, царем любимый,
Блажен и царь, Народом чтимый:
Да здравствует Елисавет!

Взносися, процветай Россия!
И в роды преноси родов,
Как благотворная Мария,
Приемля юношей в покров,
К торговле их предназначает,
Велит всему их обучать,
Что счастье жизни составляет,
Что может их обогащать.
Блажен Народ, царем любимый,
Блажен и царь, Народом чтимый:
Да здравствует Марии Дом!

А вы, все чуждые народы,
Что бурных не страшась морей,
Сокровищ ищете природы
Далече от страны своей,
К Петрову граду все теките,
Где мудрый Александр царит,
И с нами счастье разделите,
Что нам сей добрый царь творит.
Блажен Народ, царем любимый,
Блажен и царь, Народом чтимый:
Да здравствует наш Александр!

II

НАСТАВЛЕНИЕ БОГАТОМУ СЫНУ ОТ БЕДНОЙ МАТЕРИ[13]

Усерднейшей моей горячности предмет,
Прими, любезный сын! полезный мой совет.
Во-первых, буди тверд в своем по смерть законе
И с верностью служи Отечеству, Короне.
Мужей, украшенных сединой, почитай
И благодетельства других не забывай.
Будь ласков ты ко всем, хоть ниже кто иль равен,
Не тщись богатством быть или чинами славен;
В одних достоинствах прямую стави честь,
Подлейших свойство душ являют трусость, лесть:
Сих бегай и не мни, что счастие неложно
Чрез пагубу других приобрести возможно.
Знай, чрез один порок в презрение придешь,
Чрез добродетель же сердца всех привлечешь,
И хоть несчастную во оной жизнь проводишь,
Везде любовь других с желанием находишь,—
Спокойства чувствуя неоцененный дар,
Разрушить коего не может злой удар.
От жизни роскошной и праздной удаляйся
И строгостью трудов порокам противляйся.
Обиды презирай и гнева не имей:
Великодушием исправится злодей,
Бесчестнейших своих пороков устыдится,—
И тем не ты, но он жестоко огорчится.
Пусть здрава мысль твоя предшествует словам
И прежде действия представь конец очам.
Несчастных облегчать старайся тяжко бремя,
Что в горести ведут и скуке томной время;
Будь к бедным щедр и их страшися пренебречь,
Не зная, как и твой век краткой будет течь.
Не будь тиран рабам, о пользе их пекися,
Будь снисходителен, но с ними не дружися,
Достойнейших из них старайся награждать,
Без строгости умей пороки исправлять:
Тем к бо̀льшему одних усердию побудишь,
От слабостей других отстать совсем принудишь
И равно сих и тех пленишь в любовь сердца,
Прямого будут зреть рабы в тебе отца.
Сии, любезный сын! поступки благородны,
Верь, будут смертным всем и небесам угодны.

За все мои труды, за нежность и любовь
Старайся оправдать своих ты предков кровь,
Похвальных дел вослед стремлением прилежным,
Что славы все зовут пристанищем надежным.

УЕДИНЕНИЕ[14]

Le sage avant sa mort doit voir la vérité.

Прости, блестящий град, твои богаты стены,
Где с детства самого до юности моей
Наиподлейших был я жертвою людей...
Суть яд в глазах моих, бегу их как измены.

Бегу — куда ж? к тебе, мое уединенье!
Пусть знатные кого хотят к дворцу зовут;
Спокойно, счастливо, здесь дни мои текут,
Я не завидую в их скользком возвышеньи!

Как безрассудны мы! должны ль в беды вдаваться,
Чтоб счастие найти, которого хотим?
Оставим мы людей, желанья укротим,
И станем, жив с собой, мы лучше научаться.

Коль целью человек имеет наслажденье,
То льзя ли в обществах, сих вихрях суеты,
Прямого счастия найти ему цветы?
Ах нет! они цветут в одном уединеньи.

Цветут — не вянут век, стократно возрождаясь;
Я рву их без помех с возлюбленной моей.
Природой, Сашенькой пленяяся своей,
Не знаю горестей, всечасно наслаждаясь.

С спокойствием смотрю на дней моих теченье.
Я в настоящем лишь утехи нахожу,
На будущее же без трепета гляжу
И, зря прошедшее, не прихожу в смущенье.

Блажен, кто, общее людей презревши мненье,
Что может лишь одно тщеславье утверждать,
Считает, как и я, тогда счастливым стать,
Коль истину, как я, нашел в уединеньи.

К РОЩЕ[15]

О роща тихая, густая,
Где солнца луч, не проницая,
Прохладу сладкую раждал!
Где часто дни я провождал

С Руссо, Бернардом, Дюпати;
О роща милая!.. прости!
Прости, убежище драгое,
Где все часы мои текли
В сладчайшем для меня покое!
Как скоро те часы прошли!..
Быть может, уж не возвратятся
Они для сердца моего.
Ах лучше б век не наслаждаться,
Чем наслаждаться для того,
Лишиться чтоб потом всего!
О роща! не видать мне боле,
Как будешь ты освещена,
Когда янтарная луна
Покажется в эфирном поле
И, тихий свет свой разлия,
Тобою станет любоваться —
Тогда в чужой стране уж я
Далеко буду от тебя;
И лиры томный звон моей
Не будет боле раздаваться,
О роща! в тишине твоей
И с вздохом горлицы мешаться,
Которая в любви своей
Не редко, как и я, страдала,
Когда с любезнейшим дружком
Минуту вместе не бывала.
И ах! уж не услышу я,
Когда над чистым ручейком
Польются трели соловья!..

И ты, о липа! сей мой вздох
Прими — он, может быть, последний...
Пускай пушится серый мох,
На коем я, в часы вечерни,
Под сению твоей лежал
И те цветочки разбирал,
Что милой в дар готовил я.
Ах, если ты ее когда
Увидишь только близ себя:
Зови под тень свою всегда.
Расти, густая, зеленей
Для Сашеньки одной моей —
А я навеки сохраню
Любовь и верность к ней мою!

БРЕННОСТЬ ПОЧЕСТЕЙ И ВЕЛИЧИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ[16]

Тот ныне царь — вселенной правит,
Велит себя как бога чтить;
Другой днесь раб его — и ставит
Законом власть боготворить.
Ударит час — и царь вселенной
Падет равно, как раб презренной,
Оставя скипетр, трон, венец...
И, наконец,
Все преимущество царя перед рабом
В том будет состоять,
Что станет гроб в стократ богатый заражать.

КАРИКАТУРА[17]

(Подражание Англинскому)

„Что это, кумушка?— сказал медведь лисице,—
Смотри пожалуй: Лев наш едет в колеснице,
И точно на таких, каков и сам он, львах!
Неужто же пошли они в упряжку сами,
Неужто силою? Они ведь тож с кохтями?"—
„Ты слеп стал, куманек: он едет на ослах!"

ПОСЛАНИЕ К НЕКОТОРЫМ ПИСАТЕЛЯМ[18]

К вам, друзья мои Писатели,
К вам мою речь обращаю я,
С вами я хочу беседовать!
Вы поведайте причину мне,
Для чего вы так злословите
Вам подобных Сочинителей?
Неужели, зря погрешности
В сочиненьях издаваемых,
Без обид и без ругательства
Вам не можно говорить о них?
Неужели почитаете
То похвальным вы деянием,
Чтобы честь и добродетели
За ошибки, всем нам сродные,
Осуждать с такою злостию
Брата вашего Писателя?

Ах, послушайте, друзья мои,
Что намерен предложить я вам
При удобном теперь случае:

Не подумайте, чтоб я хотел
Вас учить или предписывать
Вам какие-либо правила?
Без меня людей довольно есть,
Кои век свой занимаются
Налагать оковы разуму —
Нет не то в виду имею я!
Откровенно вам признаюся,
Я намерен лишь напомнить вам,
Что мне кажется забыли вы
И что свято б сохранять должны
Вы в своей ученой памяти.
Если даром красноречия
И искусством хорошо писать
Вы пред прочими блистаете;
Если ум ваш изобилует
Теми знаньями глубокими,
Кои нужны для суждения
О каком-либо творении
И прямого доказательства,
Что в нем ложно и неправильно,
Почему, где заблуждается
Сочинитель в своих мнениях
И напрасно устраняется
От стези, себе назначенной,
И по коей бы он должен был
Своего вести читателя
До предмета, им желанного;
Словом, если вы имеете
Совершенства, коих нет в других
И посредством коих видите
Ясно в прочих все погрешности;
То ужели дарования
Вам на то даны природою,
Чтобы, слабость зря Писателей
(Впрочем, цель всегда похвальную
Нам своим трудом являющих),
По единственной причине сей
Принимать их за врагов себе
И стрелами ядовитыми
Злобной и завистной критики
Уязвлять их без пощады всех?

Ах, опомнитесь, друзья мои,
Вы забыли, что есть способы,
Кои вы употреблять должны
Завсегда в подобных случаях.

Почему, для лучшей памяти,
Сии способы представлю вам:

Ежели когда нечаянно
(Что всегда у вас случается)
Попадется сочинение
В ваши руки весьма слабое,
И которое исполнено
Недостатков и погрешностей,
Да и слишком худо писано,
Но имеет цель полезную:
То послушайте, друзья мои,
Еще хуже вы поступите,
Коль его злословить станете,
Не щадя и сочинителя;
Напишите сами лучше вы,
И — вот способ к отомщению.
Извинять умейте слабости,
Кои вы в других находите,
Равномерно сами будучи
Неизбежно им подвержены;
Истребите из сердец своих
Навсегда яд злобной критики
И старайтесь исправлять людей
Без насмешек и ругательства;
Почитайте дарования
Возникающих Писателей,
Хоть зоря их не блистательна —
Не всегда и Солнцу красному
В миг зоря предходит ясная!
Если вы когда желаете,
Чтоб другие уважали вас,
Уважайте равномерно тех,
Кои с вами в упражнениях
Одинаких обращаются.
Сими способами можете
Новых возродить любителей
К сиротеющей Словесности.
Наконец, вот все те средства вам,
Средства прямо благородные,
Кои вам всегда позволены,
Кои могут руководствовать
К достиженью славы истинной;
Коль сию вы славу ищете,
Коль сей славой вы пленяетесь.
Ах, поверьте мне, друзья мои,
Поступая таким образом,

Слава вас сама найдет везде,
Посетит жилища мирные,
Где для пользы сограждан своих,
Где для пользы человечества
Вы трудиться токмо будете —
Увенчает вас венком своим,
Из таких лучей составленным,
Что ни зависть с злобным временем
Не возмогут помрачить никак.
Тщетны будут их усилия!
Справедливое потомство, зря
Блеск лучей венца прекрасного,
В благородном восхищении
Ваши имена любезные
Всегда станет вспоминать себе.

ЛЮБОВЬ[19]

Кто что ни говори! — жить без любви нельзя.
Вселенная сия
Любовью лишь хранится.
Притворной стоик в сем хотя не согласится,
Но это не беда!
Лишь физики учены господа
Меня тем удивляют,
Что мир из четырех стихий сей составляют.
Без воздуха, воды, земли, огня,
Весьма не долго бы, конечно, прожил я;
Да как же физики об этом позабыли,
То, через что они свою жизнь получили?
Ужели от стихий родились сих они?
Рождений мы таких не видим в наши дни.

Ах! нельзя ли не признать, что есть еще стихия,
Которой действия, и добрые и злые,
Мы видим, как и тех.
Но сколько радостей, утех,
Пред прочими, сия всем смертным представляет!
Она чью только греет кровь,
Тот вечно ею лишь одной дышать желает.
Прекрасная сия стихия есть — Любовь.

ЗАВИСТЬ[20]

Порока пагубней я зависти не знаю.
С соревнованием я зависть не мешаю;
То нужно всячески стараться возбуждать,
Сию же, напротив, сколь можно истреблять.

Соревнование на верх возводит славы,
А зависть подлая лишь заражает нравы.
Примеров множество нам могут показать,
Что злобе, мщению, сим гидрам, зависть — мать:
Пучину кто сию в груди своей скрывает
И сердце ядом лишь ее одним питает,
Кто б ни был он таков, того считаю я
За тайного врага — он в обществе змея:
Опаснейший злодей, прикрывшись лицемерством,
Он честный кажет вид, как сердце дышит зверством

Порок сей извергов ужаснейших творит,
Раздоры, ужасы, несчастия родит,
Союзы самые священны разрушает,
Чистейших чувствий жар природы погашает.
Семейство, где во всех одна струится кровь
И в сердце коего одна горит любовь,
Коль искра зависти в сем сердце зародится,
В свирепый пламень огнь любви вдруг превратится,
И в жилах потечет на место крови яд:
Жилище же сего семейства будет Ад.

ПЛАЧ НАД ГРОБОМ ДРУГА МОЕГО СЕРДЦА[21]

Унылая кругом простерлась тишина,
Восходит медленно на небеса Луна,
Трепещущий свой свет на рощи изливает,
И с горестным лицом несчастных призывает
К местам, где мертвым сном природа вечно спит,
Где плакать и вздыхать ничто не воспретит.

О, кроткая Луна! о, божество ночное!
Пролей свой свет туда, где смерть хранит в покое
Тот прах, что я иду слезами омочить;
Спеши, Луна, спеши сей прах ты осветить!
Ты внемлешь мне, я зрю предмет моих желаний;
Свидетельницей будь ты всех моих стенаний.
Зрю царство смерти я и зрю ее предел,
Зрю кости, черепы, поля покрыты тел,
И как над трупами смеется червь презренный,—
Вот нашей гордости конец определенный.

О! ты, который все разишь на Свете сем,
Последнего раба становишь в ряд с царем,
Что добродетели и злобу истребляешь,
Что мудрость не щадишь, любви огнь потушаешь;
Ужасный, мрачный гроб! увы! сколь часто ты

Блаженства нашего ниспровергал цветы,
Сколь часто разрывал ты те незримы узы,
Те нежные сердец чувствительных союзы;
Ты в лютости своей и ныне пожрал вновь
И дружбу верную и страстную любовь!
Тебя объемлю я, целую прах любезный,
На хладный мрамор твой ручей катится слезный...
Увы! свершилось все — и смертной той уж нет,
Которая мне в рай преобращала свет.

Покойся, милая! спи в гробе сем, Анета,
Уж более тебя не тронут бури света.
Удары счастия, что в жизни нас разят,
Покоя твоего уже не возмутят;
А я, с пленяющим на век расставшись взглядом,
Я медленным томлюсь и неисцельным ядом.
Как можно предузнать враждебный смертный рок!
Я мыслил провести в покое жизни ток
И с юности моей развратам не подвластен;
Со склонностью своей не думал быть несчастен;
Когда я выступил на сей превратный свет,
Я счастью льстивому не кинулся вослед
И, не прельщаяся ни славой, ни тщетою,
Пленялся истиной и сердца красотою.
Я зрел, каков сей мир, я видел счастья луч,
Сокрытый в глубине неизмеримых туч.

О, Свет! ужасных бедств, ужасных мук содетель!
Где мзда с пороками равняет добродетель,
Где гордость, до небес касаяся главой,
Невинность робкую теснит своей ногой;
Где роскошь в облаках блестящий взор скрывает
И пропасти стопой железной попирает.
Вращаяся в тебе, я видел подлу лесть,
Хотящу вкрасться в грудь, чтоб больше ран нанесть.
Я зрел в тебе людей коварных, злых, надменных,
Бесстыдностью своей в злорадствах ободренных,
Которых казнь небес, ни совесть не страшит,
Которых бог корысть, а подлость твердый щит!
Я зависть зрел всегда, носящую железы;
Успехи из нее мои исторгли слезы;
Невинного меня искала погубить:
Кто добродетелен, не может счастлив быть.
Когда, зря бездны вкруг, в обманах, во смятеньи,
Я в дружбе кинулся найти успокоенье;
Святое дружество! о, нежный дар небес!
Коликих мне и ты виною было слез!

Те, кои дружбу мне и верность обещали
Увы! друзья мои! друзья враги мне стали.
Я злобу презирал, и сам ей жертвой был;
Но тем опасней враг, чем больше он нам мил!
О, небо! сколько змей, рожденных мрачным адом,
За всю мою любовь платили злейшим ядом
И, злость невинностью умея прикрывать,
Могли и тут убить, где б должно подкреплять.
Тогда, познав обман, познавши заблужденье,
Я вдруг из бурей сих пришел в уединенье,
Пришел — и заключил лишь самого себя,
Далече от людей найти покой мнил я.

Опасны страсти нам, но тишина страшнее;
Увы, бесчувственность всего на свете злее!
Прельщенный новою блестящею мечтой,
В замену счастия найти я мнил покой;
Увы! здесь нет тебя и ищут бесполезно*.
Я думал мир вкушать; но что же мир сей был!
Вдруг Свет мне сделался печален, пуст, уныл,
Все стало тягостно, мучительно, превратно,
Я жизнь, несносну жизнь хотел прервать стократно;
Тогда в престрашной сей мне в мире пустоты,
Анета! божество! мне тут явилась ты,
Подруга верная, имея нежны взгляды,
Пришла несчастному подать лучи отрады.
Увы, узрев тебя, узрел мгновенно я,
Что счастье и покой во взорах у тебя,
Во взорах сих — небес блеск, рай изображался;
Мне мрачен Солнца свет пред молньей их казался;
С сих только пор лишь стал я жизнь мою ценить,
Анета, чрез тебя привык ее любить.
Ах! льзя ли не любить тогда мне жизни было,
Когда ты новую мне душу в грудь вложила,
Когда сказала мне с улыбкой на устах
И с нежным, пламенным румянцем на щеках:
„Люби меня, как я люблю тебя сердечно,
„Чрез страсть взаимную счастливы будем вечно“.
Увы! в полночный сей унылый, тихий час
Мне мнится, что еще сей твой я слышу глас.
О, друг души моей! когда то справедливо,
Что сердце чувствовать по смерти станет живо
Все то, что чувствует во время жизни сей,
То знай, что вечность лишь предел любви моей.

---

* В первопечатном тексте, очевидно, пропущен один стих. — *Ред*

МЫСЛИ О ТАБАКЕ[22]

Когда уныние, печаль владеют мною,
Когда смертельною мой дух объят тоскою,
Когда ни в обществе любезных мне людей
Отрад не нахожу я горести моей,
Когда повсюду я лишь скуку обретаю,—
О, трубка милая! к тебе я прибегаю,
От всех уединясь, беседую с тобой,
Спокойнее тогда бывает разум мой.
От вредной мокроты мой мозг ты очищаешь,
И мысли мрачные, и грусть ты прогоняешь.
Когда взираю я, как дым клубится вверх
И вдруг передо мной в пространстве исчезает,
То лучше поучений всех
Мою мне жизнь табак изображает.
Равно как он, я прах пустой,
И жизнь моя есть пламень мой,
Который мой состав дотоле оживляет,
Доколе пищу он потребну обретает.
Не станет пищи сей — потухнет он на век,
А вместе с ним и жизнь теряет человек.

III

НАДЕЖДА, РАДОСТЬ, СТЫДЛИВОСТЬ[23]

Аллегорическая басня

Надежда с *Радостью* дорогою шли вместе.
Не помню точно я, в каком то было месте,
В Париже —
Или ближе,
Какая в том нужда?
Но знаю, что тогда
Прекрасны были дни,
Как на пути
Стыдливость встретили они.
Откуда и куда идешь — тотчас спросили,
И с нею кой-о-чем еще поговорили,
Как водится всегда в случае таковом. —
Потом
Итти с собой *Стыдливость* упросили.
Скучна ли, весела
Дорога их была,
Читателю сие на суд я оставляю

И дале продолжаю.—
Но как на свете сем,
Известно почти всем,
Нет прочного ни в чем
И счастьем завсегда не можно наслаждаться —
Равно и спутницам пришел час расставаться.
„Увы! сколь горестна разлука мне сия!“ —
Так *Радость* вопияла:
„Скажите, где могу еще узреть вас я?
В жилище роскоши я вечно не бывала
И никогда нога не будет там моя“.
Надежда про себя,
Ее любя,
Без дальних разговоров
Сказала ей тогда:
Что у любовников и также Прожектёров
Бывает завсегда.
Стыдливость же в свою чреду вещала так:
„То оный подтверждает,
Что ежели меня хоть раз кто потеряет,
Тот боле не найдет меня уже никак“.

НЕСЧАСТНЫЙ ЛЮБОВНИК[24]

Раису милую я страстно полюбя,
Не помнил сам себя.
И день и ночь в уме ее воображая,
Томился, мучился, в злой скуке утопая.
Решился наконец об этом ей писать
И участи своей в ее ответе ждать.
Проходит месяц уж, проходит и другой,
Но от Раисы дорогой
В ответ
Ни строчки нет.
Кто в жизни сей любил, или еще кто любит,
В отчаяньи моем меня тот не осудит,—
Уже свинец готов был сердце поразить.—
И с жизнию моей мученья прекратить.—
Но небо, что о нас призрение имеет,
Дало мне ныне знать:
Что милая моя ни слова прочитать
Еще не разумеет.

ЮЖНЫЙ ВЕТЕР И ЗЕФИР[25]

Басня

„Какие всюду я ношу опустошенья,
Лишь дуну — все падет от страшных моих сил“.
Так, с видом гордого презренья,
Ветр Южный кроткому Зефиру говорил.
„Крепчайшие древа я долу повергаю,
Обширнейших морей я воды возмущаю,
И бурь ужаснейших бываю я творец,
Скажи, Зефир, мне, наконец,
Не должен ли моей завидовать ты части?
Смотри, как разнишься со мною ты во власти!
С цветочка на цветок порхаешь только ты,
Или над пестрыми летаешь ты полями,
Тебе покорствуют лужочки и кусты,—
А я, коль захочу — колеблю небесами“.—
„Тиранствуй, разоряй, опустошая мир,
Пусть будут все тебя страшиться, ненавидеть“,—
С приятной тихостью сказал ему Зефир,—
„Во мне ж пусть будет всяк любовь и благость видеть“.

ТЕРНОВНИК И ЯБЛОНЯ[26]

Вблизи дороги небольшой
Терновник с Яблонью росли,
И все, кто по дороге той
Иль ехали, иль шли,
Покою Яблоне нимало не давали:
То яблоки срывали,
То листья обивали.—
В несчастьи зря себя таком,
Довольно Яблоня с собою рассуждала.
Потом
Накрепко предприняла
Обиды все переносить
И всем за зло добром платить.—
Терновник, близ ее в соседстве возрастая,
И злобою себя единою питая,
Чрезмерно тем был рад,
Что в горести, в тоске нет Яблоне отрад.
„Вот добродетелям твоим какая мзда!
Вот что за них ты получила!
Но если б ты, как я, свою жизнь проводила,
То б ни несчастье, ни беда
Не смели до тебя вовеки прикасаться.

Ты стала б, как и я,
Покоем наслаждаться".
Терновник Яблоне слова сии твердя,
Над муками ее язвительно смеялся —
Но вдруг — откуда? как? совсем не знаю — взялся
Прохожий на дороге той;
И Яблони прельстясь плодами,
Вдруг исполинскими шагами
Подходит к ней — и мощною рукой
Все древо потрясает.
Валятся яблоки — сюда, туда,
К ногам Терновника иное упадает.
Прохожий же тогда,
Не мысля ни о чем, лишь только подбирает
И как-то невзначай за Терн он зацепляет.
Мгновенно чувствует он боль в руке своей,
Зрит рану и зрит кровь, текущую из ней,
И чает,
Что сей злее раны не бывает.
Правдива ль мысль сия?
Кто хочет, тот о том пускай и рассуждает:
Рука его, а не моя.
Но это пусть всяк знает,
Что в гневе, в ярости своей
Прохожий до корня Терновник отсекает.
Читатель! в басне сей
Ты можешь видеть ясно:
Что люди добрые хоть терпят и ужасно,
Хоть сильно гонят их, однакож — почитают.
Злодеев же тотчас, немедля — истребляют.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДИНЫ[27]

(Подражание Руссо)

Рогатов был влюблен — чему дивиться!
Ведь это не беда,
Когда
От страсти сердце загорится.
Есть средство от сея болезни и лечиться;
Закон гласит:
Изволь жениться.—
Рогатов от сего не прочь,
Чем мучиться и день и ночь;
К возлюбленной своей *Аликсе* он спешит —
Страстнейшую любовь свою ей открывает
И говорит:

Что в свете он ее всему предпочитает,
Что всею он душой *Аликсу* обожает,
И что бы счастлив был тогда своей судьбой,
Когда б владел ее он сердцем и рукой.—
Аликса несурова
И, зря перед собой любовника такого,
Не может ни руки, ни сердца отказать;
Себя ему вручает,
И брак их узами своими съединяет.
Но надобно сказать,
Что не прошло еще и месяцев пяти,
Как зрит уже *Рогатов* плод,
Которой женский род
Приносит после девяти.
Смущение, тоска *Рогатова* объемлет,
Он сердится, крушится;
Аликса ж жалобам его печально внемлет
И случаю сему не может надивиться.—
Но публика, что сказки любит,
А правду губит,
В миг разные молвы насчет их разнесла.—
Иные уверяют,
Что рано чересчур *Аликса* родила,
Другие ж утверждают,
Что плод их потому так скоро появился,
Что слишком поздно уж *Рогатов* наш женился.

ЦАРЬ И ПРИДВОРНЫЙ [28]

Сказка

Случилось одному царю в Египте быть
И близ тех пирамид ходить,
Что чудом в свете почитают.
Скажу я правду всю
И ничего не утаю:
Царево зрение пирамиды прельщают,
Придворные ж таких случаев не теряют
И превосходно знают,
Когда и как царю польстить.
И потому один так начал говорить:
„Великий государь! зри камня блеск того,
Что сверху прочие собою прикрывает
И кои сделаны лишь только для него.
Не верно ль, государь, сие изображает
Народ твой и тебя?
Не те ли меж тобой и им суть отношенья?“

Так царь льстецу на то сказал:
„Мой друг, совсем с тобой противного я мненья
И мыслить никогда, как ты, не буду я.
Я вижу истину сего изображенья,
Которое весьма ты ложно понимал,
И потому желаю,
Чтоб случай сей заметил ты
Затем, что важным я его весьма считаю.
Тот камень, что свой блеск бросает с высоты,
Разбился б в прах — частей его не отыскали,
Когда б минуту хоть одну
Поддерживать его другие перестали".

ВЕРХОВАЯ ЛОШАДЬ[29]

Притча

Все люди в свете сем подвержены страстям.
К несчастью, страсти их почти всегда такие,
Что следствия от них бывают им худые.
Всечасно нашим то встречается глазам,
Привержен как иной ко взяткам и крючкам,
Как сильно прилеплен другой к обогащенью,
Иной к вину, тот к развращенью,
Иной к игре, другой к властям...
А *Клит*, читатели, пристрастен к лошадям.

Не трудно согласиться,
Что бы полезнее то было во сто раз,
Когда бы всякий между нас
Ко пользе общества желал всегда стремиться;
Но видно этому — так скоро не бывать!

Меж тем уж *Клит* идет ту лошадь торговать
Которую к нему недавно приводили,
Которою в нем страсть лишь пуще возбудили,
И Клит купил... Но что ж? как лошадь ни статна,
Собой как ни красива,
Погрешность в ней тотчас открылася одна,
А именно: была она весьма пуглива.
Однако этого не ставит Клит бедой,
Он сей порок весьма легко исправить чает;
И только что успел приехать он домой,
То способ вот какой на то употребляет:
Велел тотчас салфетку взять
И лошади глаза покрепче завязать.

Потом
Садится на нее верхом
И скачет близ всего,
Чего пугался конь до случая сего.
С завязанными конь глазами,
Не зря предметов пред собой,
Мчит смело седока, пыль взносит облаками...
И в ров глубокий, водяной
С собою всадника с стремленьем вовлекает.

О вы, правители скотов или людей,
Заметьте через опыт сей,
Что тот безумно поступает,
Кто нужный свет скрывает
От их очей;
Что скот и человек, когда лишенны зренья,
Опаснее для управленья.

IV

СРАВНЕНИЕ СТАРЫХ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО К СМЕРТИ[30]

Не многим юноша чем старца превосходит,
И в участи их та лишь разность состоит,
Что к старцу смерть сама во сретенье бежит,
Напротив, юноша ко смерти сам подходит.

НА ВОПРОС: ЧТО ЕСТЬ БОГ?[31]

Сего нам существа определить не можно!
Но будем почитать его в молчаньи мы:
Проникнуть таинство бессильны всех умы —
И чтоб сказать — что он? — самим быть *богом* должно.

СЧАСТИЕ[32]

Не может счастие ничем меня прельстить,
Величия его считаю я мечтою;
Ко счастью надобно ступеней тьму пройтить,
А сходят от него почти всегда — одною.

ЗАГАДКА[33]

Спокойствия людей непримиримый враг,
Рождаю зависть я в любовничьих глазах;
Питаюсь кровию, и жизнь мне продолжает
В объятиях своих, кто смерти мне желает.

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ РОСКОШНЫМ И СКУПЫМ ЧЕЛОВЕКОМ[34]

Роскошный человек, страстям предавшись всем,
Живет, как будто бы он смерти ожидает;
Скупой же, напротив, все деньги собирает,
Как будто вечно жить ему на свете сем.

СРАВНЕНИЕ БЛОНДИНКИ С БРЮНЕТКОЮ[35]

Когда на прелести я сих существ взираю,
То разность, кажется, лишь ту в них примечаю,
Что в образе одной зрю утра красоты,
В другой же вечера приятного черты.

СТИХИ К Ч...[36]

Я пламенной любви моей судьбы не знаю,
И долго ль буду я терзаться и грустить!
Но знаю, хотя мук я тьму претерпеваю,
Что буду век тебя, прекрасная, любить!

СТИХИ К ДЕВИЦЕ Ч... НА ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ[3]

Чтобы всех совершенств явить нам образец,
Сей день на то себе природа избрала
И к восхищению чувствительных сердец
Тебя, любезная, на свет произвела.

НАДГРОБИЕ
Евгению Алексеевичу Колычеву[38]

Лежит в могиле сей
Природы друг и друг людей.

ЭПИГРАММА[39]

Женатой господин слугу его спросил:
„Не с рогоносца ли ты шляпу, друг, купил,
Что кроет почти все твое лицо полями?"—
„Она одна из тех, что вы носили сами".

ЭПИТАФИЯ[40]

Семь дней жена моя уж спит в могиле сей:
Какой покой и мне и ей!

ЭПИГРАММА[41]

Известный М... страшилище людей,
Избавил многих мук, лишася жизни сей.—
„*Тебе*,— кончаясь, рек,— *я душу, бог, вручаю*“
Но взял ли бог ее?— я этого не чаю.

ГОВОРУН[42]

„Не все то злато, что блестит“,
И тот не умница, кто много говорит.
Рассудок мишуру от злата отличает,
Равно говоруна с разумным не равняет.

О ЖЕНИТЬБЕ[43]

Хорошо, друзья, жениться,
Коль в женитьбе есть успех;
Лишь не надо торопиться,
Взять жену — не съесть орех.—
Зрело все обдумать должно,
Так один муж умный рек:
Тот поступит осторожно,
Кто о том промыслит век.

ЭПИТАФИЯ ПЛЯСУНУ[44]

Жантиля славного сей камень кроет прах.
Об участи его скажу я в двух словах:
Он, прыгая балет, ногам дал лишню силу,
Вскокнул — всех удивил, а сам — попал в могилу.

ВОПЛЬ НЕВИННОСТИ, ОТВЕРГАЕМОЙ ЗАКОНАМИ

Родившийся требует призрения.

Наказ великия Екатерины, данный Коммисии о сочинении проекта Нового Уложения. Часть вторая. О праве особенном. Глава первая. Член четвертый.

ВОПЛЬ НЕВИННОСТИ, ОТВЕРГАЕМОЙ ЗАКОНАМИ[45]

Всемилостивейший государь!

Пред троном я твоим сей повергаю труд
Возмездье мне — твой взор; мой лавр —твой будет суд.
Но ежели снищу твое благоволенье,
Вот все—монарх! Прочти ты сам сие творенье
1802 года.

Наконец, воцарились милость и правосудие! Голос бедного услышан на престоле! Заслуги награждены, собственность вступила в свои права, добродетель уважена! Наконец, настали сии счастливые времена! Природа восторжествовала; талант восстал из пыли, в которой доселе пресмыкался, и истина везде без страха уже показываться может. Человек сделался человеком; священное чувство человечества возвратило душе его ее благородство и ее величие. О Александр! Добродетели твои воздвигли уже твердые памятники в сердце твоего народа! Отзыв его восторгов, отзыв искренних его о тебе молений громко раздается в мирном селении Петра и Екатерины. Они взирают на тебя, наблюдают все твои движения и с сердечным умилением к тебе рекут: „Царствуй, Александр, гений кротости и мира! Да блаженствуют народы под скипетром твоим, да будешь отцом их". Но ты и так уже поступаешь с ними, как с детьми своими; терпеливо выслушиваешь их жалобы, без гнева прощаешь их заблуждениям. Цари, конечно, во власти своей подобны богам: для них нет ничего невозможного, особливо для царей добродетельных. Милость во всем успевает, все обезоруживает, все ей покоряется, и жертвы, курящиеся на олтарях ее, еще сильнее возгараются в вечности. Государь, предки твои были законодатели. Ты наследовал их великий дух, тебе предлежит бессмертная слава довершить ими начатое. Само время, кажется, единственно только для тебя сберегало оную. Да основание народного блаженства утвердится на законах, из природы извлеченных,

и да царствование твое как для настоящего, так и для предбудущих веков изобразит истинную науку законодательства.

Прости, государь, дерзновению моему. Я, может быть, первый отважился излить пред престолом твоим чувствования отверженной природы; но я — россиянин, молод и невинно-несчастлив.—Вот причины, которые, кажется, довольно достаточны для возбуждения к себе твоего внимания.

Я должен откровенно говорить с моим монархом; чистосердечие есть дань верноподданного доброму царю. Государь, я один из числа тех несчастных, которых называют незаконнорожденными. Брошенный на сей свет с печальною печатию своего происхождения, в сиротстве, не находя вокруг себя кроме ужасной пустоты; лишенный выгод, с общественною жизнию сопряженных, встречая повсюду преграды, поставляемые предрассудками, на коих самые законы основаны; и в том обществе, которого я часть составляю, в котором, равное с прочими имея право на мой покой и на мое счастие, не находить кроме горести и отчаяния и быть в беспрерывной борьбе с общим мнением, есть, государь, самое тяжкое наказание, достойное одного только злейшего преступника. Поставленный однажды в сем мире, уже ли я и мне подобные должны в оном страдать, не видя для себя никакой отрады? Если никто не воспротиворечит мне, что я существую, что также имел некогда родителей и что глас, могущественнейший глас природы дает мне название сына, то для чего же, когда на один шаг приступаю к правам сыновним, тогда законы государственные меня отвергают и не признают меня таковым? Если не одобряют они такого происхождения, то для чего же терпят, когда преступление сие делается гласным? Для чего сии толь важные по последствиям случаи оставляют без малейшего внимания? Для чего законодательство столь далеко отдалилось здесь от природы? Уже ли сын должен во всю жизнь свою наказываться за пороки своего отца? Сие, государь, осмеливаюсь я отдать на суд собственному твоему сердцу; оно лучше решит, должен ли сын отвечать: по законам ли он рожден или нет, и чрез то лишиться всех сыновних прав, отказываемых ему законом *уже до его рождения?* Какой из таковых младенцов захотел бы вступить в сей свет, если бы только мог знать, какая участь его в оном ожидает? Нет, государь, он, конечно, не вышел бы из утробы своей матери, он сделал бы ее своим гробом.

Если отец, заглушив чувства свои, не хочет видеть плода не позволенной законами страсти, не внемлет первым крикам младенца, возвещающим ему об обязанностях, к которым природа его призывает, отдает его в *учрежденное для сего*

*место**, в таком случае младенец, не зная, кому обязан он своим рождением, ничего чрез то не претерпевая, питает сыновнюю привязанность к тому месту, которое призрело его и воспитало. Но чему не подвержены бывают те, которые, возрастая в очах своих родителей и достигши таких лет, в которые рассудок, раскрывая им, кому одолжены они бытием своим, тем живее дает им чувствовать их несчастие; ибо что может быть, государь, жесточее сей несправедливости, прискорбнее для нежного сына, как, знав своего отца, не сметь назвать его сим именем. И когда отец, стараясь скрывать от общества, что он его сын, под личиною друга человечества, дает ему название *воспитанника*, название, которое в такое вошло употребление, что сии великодушные люди с величайшим успехом научились пользоваться оным на счет попущения закона. Иные, вменяя ни во что самым священнейшим залогом жертвовать преступному своему тщеславию, утешаются гласностию, что имеют столько-то несчастных жертв, с которыми поступают они наравне с своими слугами. Не редко случается, что брат наследует своего брата, что сестра наследует сестру свою, то есть так называемые незаконные дети делаются собственностию, делаются крепостными людьми законных детей, несмотря, что те и другие суть дети одного отца. Природа! что стало с тобою! Куда девались права твои! Во что обратилось твое святилище, сие сердце, которое вложила ты в грудь родителей и которое каждым биением своим наносит новый тебе удар!

Но если есть еще честные люди, которые, поступая согласно с совестию, почитая наравне с убийством отказаться от детей, данных им природою в награду их страсти и в большее утверждение их союза, и которые, прилагая для воспитания их все попечения, каковые только горячность нежного отца к детям внушить может; то видим, когда судьба, позавидовав счастию таковому, пресекает их дни, а с оными и все виды, которые во время жизни своей простирали они на пользу своего семейства; тогда пораженная таковым ударом мать впадает с невинными жертвами своими в бездну зол. Чей долг в сем случае призрить их? К кому прибегнуть они должны? — К законам? Они не примут их жалобы. — К наследникам? Хорошо, если найдут в них человеков. — Но печальный опыт доказывает, что сии несчастные существа, лишенные всякой помощи, чаще всего влачат горестную жизнь, претерпевая язвительные насмешки, довершающие их нищету и отчаяние.

---

* Человечество не престанет благославлять имя человеколюбивой учредительницы воспитательных домов! Сколько сохранено сим жертв, долженствовавших погибнуть без сего благодетельного убежища!

Какое сердце не тронется, смотря на сии ужасные картины, посрамляющие человечество! Ужели вопль невинности будет только разноситься в воздухе, и никакая благодетельная рука не исторгнет у развращения кинжалов, остримых им на ее погубление! О государь! доброта твоея души, соглашенная с мудрою твоею деятельностию, коея повсечасно даешь ты нам сладчайшие вкушать плоды, составляет единственную надежду, что ты склонишь человеколюбивый слух свой к сим невинно-несчастным и даруешь им, принадлежащие им права. Великая и по делам своим бессмертная Екатерина II, по законам и сердцу которыя ты следуешь, чувствовавши всю важность сего предмета, в премудром Наказе своем, данном ею Коммисии о сочинении проекта Нового Уложения, предписала для сих несчастных *сделать потребные узаконения*; ибо *родившийся*, говорит она, *требует призрения* *. Так рекла Екатерина, и божественная душа ее, блистая в чертах сих, являет миру, сколь мысль сия достойна человеколюбивых государей. Тебе, монарх, остается совершить оную. Лавры, венчающие главу героев, увядают скоро на развалинах, кровию человеческою дымящихся; одна лишь память царей добродетельных, царей законодателей благословляется потомством, и слава их, стареясь, расцветает.

Источник сего нравственного зла происходит сколько от неуважения, столько и презрения к супружеству, сему священному постановлению, долженствующему составлять душу государственного тела, быть основанием общественного здания, без чего не будет оно твердо, рушится, и великие потребны уже будут пожертвования для восстановления оного. Древность, обильная опытами, подтвердит сию истину. Не видим ли мы, как, с одной стороны, многие государства процветали и восходили на высочайшую степень могущества, когда супружество, сохраняя свою силу, было уважено. Не видим ли, с другой стороны, как погибали они под собственными своими развалинами, когда оно ослабевало и преставало быть стражем общественных законов. Супружество, назидая, сберегает нравы, нравы сберегают законы, законы сберегают свободу. Вот священный характер, супружество изображающий! Оно, сохраняя тишину и согласие в недрах семейств, утверждает чрез то мир и спокойствие общественное; оно образует юные сердца детей, последующих обыкновенно во всем своим родителям, которые тем сильнее понуждаются помышлять о своих должностях, ибо обязаны в том бывают своим примером. Но если, несмотря на все сии виды, толикие общественные пользы в себе заключающие, если вопреки природе, вопиющей противу несправедливости, некоторые отцы, делаясь сугубо пре-

---

* Часть вторая. О праве особенном. Стр. 199.

ступными как чрез нарушение законов честности, так и чрез небрежение прижитых ими детей, смеются над сими обязательствами; тогда закон, орудие правосудия, долженствующий без лицеприятия осуждать подобный поступок и порочную связь таковых родителей, *обратя на них весь стыд и поношение*, как справедливое возмездие за предосудительное их поведение, да не ограничит себя сими только исследованиями, но да прострет оные и на их детей, которым, кажется, для того только даровали они жизнь, чтоб о них совсем не думать. Уже ли сии невинно-несчастные, которые суть также, государь, твои подданные, должны *исключительно оставаться без всякого права, без всякого закона, на который могли бы они опереться, и который бы под эгидом своим мог в случае спасать их невинность?*

Человеколюбие твое, государь, ободряя меня в моем предприятии, внушило мне смелость всеподданнейше представить в рассуждении сего то, что, может быть, при первом взгляде поразит воображение и покажется странным; но которое, тем не менее, справедливо, ибо основано на самой природе. Мой долг есть изобразить истину в настоящем ее виде, и тщетны бы в сем случае были усилия искусства, старавшегося под пленительными красками истины представить ложь; ибо она никак не скрывала бы от прозорливой мудрости моего монарха, коего беру я смелость просить прочитать меня до конца.

I. Если законы природы существовали прежде законов человеческих, если они одни только постоянны, то законы общественные тогда лишь только назваться могут справедливыми, когда с оными бывают согласны. Если отец, преживши непозволенным образом детей, нарушил чрез то законы гражданственные, то какому бы он ни подвергал себя за то осуждению, со всем тем не может, без нарушения справедливости, лишен быть права признать их своими, ибо он есть отец, ибо право сие предоставляется ему законом природы. Следовательно, та же самая справедливость требует, чтобы таковые дети поступали в число законных детей.

Примечание. Сколько страждущих жертв чрез позволение сего воскреснут, монарх, из-под бремени теснящего их закона! Сколько детей возвращено будет чрез сие отцам их, которые, может быть, терзаясь грызением совести и желая то всего сердца признать их своими, лишены днесь сего естественного права!

II. Если кто от незаконно прижитых им детей своих отрекаться станет, а матери их или и сами дети, что он отец их, в том доказать могут; тогда справедливость обязывает его признать их своими: почему сии дети входят также во все права законных детей.

Примечание. Но сие божественное благодеяние может только простираться *на будущие роды*; то есть с того времени, как законодатель заблагорассудит учредить таковое постановление. Детям же, находящимся ныне в равных сему случаю обстоятельствах, да определится законом часть из имения отцов их. Сим образом, по крайней мере, обеспечится их состояние и защитится их невинность.

III. Если же матери или незаконно прижитые их дети, кто суть были отцы их, доказать не могут, в таком случае та же самая справедливость ограничивает право сих детей одною только свободою избирать себе род состояния, какой они пожелают.

Примечание. Право сие может действовать на все времена, как на прошедшие, так и на настоящие и будущие. И хотя сей закон, по некоторым отношениям, существует, но он, как видеть можно, есть только *последствие* двух выше сего приведенных мною пунктов, из которых, выключая первого по ясному в нем изображению сущности самого дела, как сей так и вторый пункты требуют особенного исследования.

Люди, не имеющие нравственности, люди, почитающие честность химерою, не видящие никаких препон в последовании внушению постыдных своих страстей, конечно, в случае ни во что поставят отрекшись от детей своих, особливо если могут еще надеяться укрыться от очей закона, долженствующего *на сей конец* сделать положительное определение, *какие именно доказательства* со стороны матерей и детей в рассуждении их отцов им принимаемы быть могут, дабы всякой, имея в виду сие постановление, мог по оному предпринимать свои меры. Чрез это пресекутся все затруднения в разбирательствах, число дел нимало не умножится, потому что течение оных будет свободно.

Но если, относительно к третьему пункту, не все дети равно будут счастливы в отыскании своих родителей, то, по крайней мере, получат все на оное равное право. Сим образом облегчится жребий их, и закон, оградя невинность сих несчастных, поставит их на одну черту с прочими сынами отечества, которое, открыв им свои недра, утешит их и успокоит. Они не столько будут сожаления достойны, что отцы их остались от них в неизвестности, сколь несчастны они теперь, будучи лишены прав потребовать их пред судилище законов и вопросить их: скажите, нечувствительные, пред зерцалом истины, обнаружьте сердца свои! Почто вы нас отвергнули? Почто скрывали себя от нас, скрывали, что вы виновники нашего бытия? Почто еще гнушаетесь нами? Разве мы сего достойны? Разве препятствовали вам в ваших наслажде-

ниях? Скажите, что могло вас таким образом противу нас вооружить? Почто вы нас не любите? Или сего чувства не дала вам природа, или, ввергнув нас в поношение и отчаяние, тайно наслаждаетесь нашею горестию и нашими слезами?— Отцы! Отцы! Если глас совести может еще сколько-нибудь быть внятен для сердец ваших; если природа может еще в вас пробудиться, о, сколь были бы велики, если бы могли сделаться теперь справедливыми! Если хотите избежать раскаяния, непременно постигнуть вас долженствующего, то способы к тому еще вам открыты. Теките к престолу добродетельнейшего из царей, повергните себя перед оным. Александр примет просьбы ваши, ваш долг оправдать перед ним невинность ваших детей и возвратить им то, чего вы их лишаете.

Наконец, остается рассмотреть: не ослабнет ли чрез сии постановления супружество и не увеличится ли еще более зло предупредить желаемое? [sic].— Я буду в сем случае руководствоваться опытом.

Если возьмем мы теперь супружество в том состоянии, в каком оно есть, а не в том, в каком быть должно, и как выше сего мною представлено; то увидим, что оно большею частию не иное что изображает, как подлый торг богатства и тщеславия, как совокупление имений, а не союз людей. Чего можно ожидать от таковых браков? Ничего более, как величайших и беспрерывных зол. Супруги, таким образом соединенные, без взаимного почтения, без взаимного дружества, без взаимного желания нравиться, как могут наслаждаться тем счастием, которым природа награждает только сердца, любовию сопряженные. Нет, такое соединение супругов есть не иное что, как заговор противу общества, противу добродетели и нравов. Кажется, что жена не мужу своему принадлежит, но тому, кто только пожелает над нею победы. Печальная истина! почто являешься ты мне между моими соотечественниками! Но ты, чтобы еще более поразить меня, представляешь мне зрелище, возмущающее природу, унижающее человечество! Там жестокая мать приносит в жертву корыстолюбию и тщеславию невинность и честь своих дочерей и, ввергнув их в поношение и несчастие, сама украшается таковыми трофеями!.. Здесь безрассудный, подлый муж, гоняясь за бессловием, ведет с веселым лицом жену свою на ложе сладострастного вельможи, дабы сей, в толпе его окружающей, взглянул на него с улыбкою и пожал у него руку. Я вижу сих супругов, которые, по взаимной ненависти, пренебрегая домашнею жизнию, в недрах коея образовались в Риме достойные сыны отечества, ищут удовольствий вне своего семейства, предаваясь дорогим издержкам и веселостям, по большей части в разорение их приводящим. Привыкшие к толь пагубной рассеянности, вид собственного их се-

мейства делается уже для них тягостным; они скучают детьми своими, священную должность свою, в рассуждении их воспитания, поручают наемникам, которые, будучи у них в уничижении, могут ли воспитанникам своим внушить желание славы, благородное соревнование, великодушные чувствования, которые суть источником всех полезных государству дел? Могут ли поселить в них любовь к отечеству, любовь к общему добру и научить их познанию должностей человека и гражданина? Наконец, когда, допущая к себе детей своих, с коими редко бывают вместе, сии невинные существа, ласкаясь вокруг них, восхищают сердце постороннего человека, тогда холодность и равнодушие оттеняют на лицах их родителей ту нечувствительность, которая обыкновенно сопутствует повреждению нравов. Вот источник зла, наводняющего общество! Вот где кроются семена разврата и порока! Обычай взял верх над законами; законы уступили ему владычество над собою, и сей колосс, пред коим все раболепствуют, для которого никаких не щадят жертв, если только получит *должное направление*, тогда все воспримет настоящий вид, все преобразуется, закон вступит в свое место, нравы возникнут и утвердятся. Обычай довершил беспорядки, в супружествах существующие. Обычай поставил ни во что нарушение сего священного союза. Прелюбодейство не возбуждает никакого стыда, ибо роскошь, волокитство и кокетство, сделавшись стихиею обществ, занимают мужчин и женщин, несмотря ни на их лета, ни на их возрасты, ни на их состояния. Святые храмы превратились в место их свидания и переговоров; святые храмы сделались торжищем их преступных чувствований. Волокитство, поступая в число достоинств, паче прочих усовершенствованное, подобно будучи хамелеону, очаровывая все своею волшебною наружностью, скрывая под оною черные свои виды и сыпля цветы по нечистому пути своему, обольщает, ловит неопытную невинность, которая потом, в свою чреду, начинает ловить другие жертвы, и таким образом сии две пагубные страсти, удалясь от благородной цели своей и истинного своего источника, повредили сердца людей, а с оными развратили общества. Честная любовь сделалась редкою вещию; ибо язык прямой любви не может быть внятен для сердец развращенных; потому что любовь не может быть постоянною страстию, если чувствительность ее не истекает из добрых нравов.—Но сего не довольно. Обычай простер власть свою даже до того, что вероломные супруги, явным образом предаваясь склонностям своим, выключая законного семейства, имеют еще по нескольку незаконных семейств, которые, будучи жертвою несчастного своего рока, не смеют жаловаться на судьбу свою, потому что судьба их зависит совершенно от сих прелюбодеев, кото-

рые, не отдавая никому в таковых делах своих отчета, поступают с ними, как хотят; в их воле призрить их или бросить. И хотя многоженство законом не позволяется, но в самом деле оно существует.

Равным образом безбрачные, не видя для себя ни малейших принуждений, предпочитая свободу узам супружества и имея безбедное состояние, не находят довольно побудительных причин, чтобы жениться; ибо, не подвергая себя нимало бесславию, могут открытым образом жить с любовницами, имея детей, и переменять их по своему желанию. Закон молчит перед таковым обычаем. Он молчит — будучи в сем случае подобен умершему благодетелю человечества, над прахом коего тщетно плачут несчастные, тщетно желают изобразить ему всю трату души их, тщетно просят еще от него помощи. Распростертый пред ними труп не внемлет их рыданиям; благодетельный дух его оставил оный на веки! — Мертв и тот закон для общества, коего не видит оно благотворительного действия!

Вот общие картины супружества и безженства! Женатые и холостые, каждый из сих состояний, последуя своим обычаям, кажется, спорят между собою в преимуществе приносимого ими обществу вреда, а вместе показывают, сколь мало те и другие чувствуют цену пользы нравов. Итак, толь предосудительный образ жизни сего рода требует *непременного обуздания*. Но какие меры, какие постановления нужны для совершения толь великого предприятия? — Бессмертная Екатерина II в премудром Наказе своем* определяет следующие средства, говоря о сем роде преступлений: поелику „оные суть нарушение чистоты нравов или общей всем, или особенной каждому, то есть всякие поступки против учреждений, показующих, каким образом должно всякому пользоваться внешними выгодами, естеством человеку данным для нужды, пользы и удовольствия его. *Наказание сих преступлений* должно также производить из свойства вещи. Лишение выгод, от всего общества присоединенных к чистоте нравов, денежное наказание, стыд или бесславие, принуждение скрываться от людей, бесчестие всенародное, изгнание из города и из общества, словом: все наказания, зависящие от судопроизводства исправительного, довольны укротить дерзость обоего пола. И воистину сии вещи не столько основаны на злом сердце, как на забвении и презрении самого себя. Сюда принадлежат преступления, касающиеся только до повреждения нравов, а не те, которые вместе нарушают безопасность народную, каково есть похищение и насилование; ибо сии уже вмещаются между преступлениями четверного рода, которым и определяет она казнь наказанием.

---

* Глава VII. О законах подробно. § 77.

Но как главнейший предмет мудрого законодателя должен состоять в предупреждении действия страстей; ибо обширная, беспредельная мысль его должна обнимать будущее, равно как объемлет она настоящее и прошедшее; ибо законодатель исполнит одну только половину своея должности, если ограничит усилия свои поражением и наказаниями. Следовательно, он беспрестанно заниматься должен предупреждать пороки, отъемля у них их пищу и их выгоды, сколько общественный порядок и внушение природы позволить могут. Но чем предупредить преступления? Тем ли, когда некоторое число людей не более будет щадимо, как все люди вообще или каждый из них особенно; тем ли, когда никто никогда не будет бояться другого гнева, кроме гнева закона; тем ли, когда науки распространятся и просветится разум; тем ли, когда, поощряемые к работе, люди убегать будут праздности как источника их развращения; тем ли, когда попечительное воспитание с самого детства побуждать станет к патриотизму и добродетели; тем ли, когда добродетель сия иметь будет свои награждения; тем ли, когда найдут великую выгоду быть добрым, честным и благоразумным; тем ли, наконец, когда не допустят никого любить порок и уступать оному? Ах! если однажды вкрадется он в душу, тогда жар благородных чувствований гаснет, и тот человек не далек уже от преступлений, которые, ничем не будучи воздерживаемы, оставаясь без всякого взыскания, усиливаются и совершаются с некоторым еще тщеславием.

Рим во время блистательного своего величия, когда вселенная покорствовала его оружию, Рим во внутренности стен своих занимался тогда начертанием тех законов, которые, устроя благоденствие его граждан, достигли, наконец, до нас и послужили основанием для всех европейских законов.— Я никак не могу умолчать о тех превосходных и предмету моему соответствующих постановлениях, которые, дабы побудить римлян к супружеству, предоставляли женатым людям следующие исключительные права: „Отец семейства, имевший более детей, был всегда предпочитаем как в искании чинов, так и в самом отправлении оных. Консул, имевший более детей, брал первый пуки* и мог выбирать себе провинции; сенатор, который более имел детей, писался первым в списке сенаторов и первый подавал мнение свое в сенате. Также можно было прежде назначенных лет поступать в судии, потому что на каждое дитя причитывалось по году заслуги**.

„Неженатые у римлян не могли ничего получать по завещанию посторонних; а женатые, но бездетные, больше половины не получали.

---

* Имеется в виду пучок ликтора.— *Ред.*

** Монтеский, Разум законов.

„Выгоды, которые могли иметь муж и жена по взаимным друг от друга завещаниям, были ограничены законом. Они могли, если у них детей не было, наследовать друг от друга только десятую часть имения; если же имели детей от первого брака, то могли давать друг другу столько раз десятую часть, сколько имели детей.

„Если муж отсутствовал от жены своей для другой какой причины, не по делам, до общества касающимся, то не мог он быть ее наследником".*

Вот каким образом законодатели Рима старались приводить супружество в уважение, зная, что чрез сие могли они только достигнуть предположенные ими цели как к сохранению нравов, так и размножению народа. Следовательно, тем не менее снисходили к нарушителям сего союза, и наказания их в рассуждении сего хотя были уже слишком строги, но которые сели будут основаны на свойстве преступлений и не превзойдут своих мер, тогда, конечно, несомненную принесут пользу. Ибо если наказания не могут образовать нравов народных, то, по крайней мере, могут способствовать к сбережению чистоты оных. Разврат тогда только становится общим, когда частное развращение избегает строгости законов, принужденных попущать оное. Не цензура произвела в Риме людей добродетельных, но без нее добродетель блистала бы в оном менее времени. Цель сего судейства состояла не в том, чтобы рождать героев, но дабы воспрепятствовать, чтобы они не развратились. Вот какое влияние наказательные законы имеют на нравы общественные. Итак, они должны, дабы сохранить нравы, наказывать преступления, противные воздержности общественной и частной, то есть противные благоустройству, учрежденному в государстве, каким образом наслаждаться чувственными удовольствиями.

Я бы привел некоторые узаконения в рассуждении прелюбодейства и любодеяния, существовавшие в Риме и существующие ныне в некоторых европейских державах; но кровавые эшафоты и пылающие костры, воздвигнутые ими на погубление сих несчастных жертв, не достойны быть представленными пред взоры кротости и человеколюбия! Законы Миносовы, законы Августовы, законы Солоновы в сем случае соответствовали лучше свойству преступлений и достойны внимания законодателя. „Самое надежное обуздание от преступлений, — говорит великая Екатерина,— есть не строгость наказания, но когда люди подлинно знают, что преступающий законы непременно будет наказан".**

---

* Наказ великия Екатерины. Глава XII, § 283, 284, 285.
** Наказ. Глава X. О обряде криминального суда. § 222.

Итак, если преступления будут предупреждаемы, если кроткие, но нелицеприятные законы не будут прощать преступников; если приведенные выше мною способы, премудрой законодательницею Севера предписанные, соглашены будут с приличными сему предмету узаконениями законодателей древних и новейших времен и какие проницательностью твоею, монарх, избраны будут полезные к сему средства; тогда несомнительный успех увенчает сие благодетельное, сие великое предприятие, ибо стремительные желания ищущих себе жертв соблазнителей, которые не по природе, но по одному только обычаю сделались таковыми, получат тогда благороднейшее направление. Мысль о могущих произойти от того последствиях будет сильна удержать их от их намерения. Владычество разврата, конечно, истребится, ибо кто захочет быть врагом своея чести, быть врагом самому себе? Кто захочет вступить тогда в порочную связь, зная, что преступное наслаждение производит законный плод, который при самом появлении своем вступает под охранительную сень законов, не теряя никогда своих прав? Какая женщина захочет принести себя в жертву развратителю, когда презрение других будет возмездием за таковое ее поведение? Жить с любовницами выдет из обычая, следовательно брачный узел необходимо укрепится, и связь супружества, обняв все, что только входит в состав общественного благополучия, тем сильнее утвердит и продлит свое существование. Невинность, извлеченная из небытия, не будет более жертвою поругания, сия невинность, лишенная даже *средств к своему защищению*, и против коея *прошедшие времена* не устыдились *вооружить самые законы*. Но как все, проходя чрез горнило времен, очищается и усовершенствуется, следовательно многое из того, что для наших предков, по тогдашним обстоятельствам и образу мыслей того века, казалось лучшим средством, превосходнейшим постановлением, было бы, в отношении к нам, не только бесполезно, но даже несправедливо. За временами варварства, в котором посредством мучительнейших пыток думали узнавать правду, следовали времена не столь грубые. Просвещением озаренные умы увидели, что пытки не суть к тому способы, что чрез оные не столько узнавали природу, сколько открывали терпения. И подлинно, что может быть несправедливее и жесточее, как мучить человека, о преступлении которого еще сомневаются; и почему бы боль могла заставить говорить лучше правду, нежели ложь? — Наконец наступило благополучное для нас время! Просвещенная милость, сокруша скипетром своим сей презрительный памятник бесчеловечной инквизиции, изгладила на веки самое название оного, и история золотым пером изобразит благодеяние сие между теми добрыми делами, о которых с душевным удовольствием и признательностью не пре

станет вспоминать человечество. Итак каждый век образуется в чреду, каждый народ образуется по воле его правителей. Между всеми твоими, государь, в пользу подданных твоих попечениями, во дни кроткого и справедливого твоего правления, уже ли предрассудок, владычествовавший в невежественные времена наших предков, сей общества тиран, сие чудовище, которое, подобно минотавру, пожирает невинных детей, приносимых ему в жертву нечувствительными отцами, будет и между нас сохранять свое владычество? Нет, государь, сие не может быть совместно с твоею благостию. Руководствуемый любовию к своему народу, имея целию его блаженство, любя простоту, истребляя роскошь, водворяя нравы, из всех сих истинно великих видов, дух твой занимающих, нельзя, чтобы и сей предмет сердца твоего не коснулся. Спасти невинность, оградить ее законами, обуздать своевольство, воздержать от развращения, заставить свято сохранять союз супружества и, наконец, употребить все нужные для достижения сея великия цели меры — без сомнения, достойно твоего внимания. Нумы, Ликурги, Солоны, Конфуции, равно как и обожаемые Севером имена Петра и Екатерины, все сии законодатели, украшающие летописи мира, уступят тебе, монарх, первенство над собою; ты станешь превыше их, когда попранные права вопиющей невинности, которой стоны сама вечность заглушить не может, под скипетром твоим восстанут из своего ничтожества; ибо никакое царство, никакое правительство, от самых первоначальных времен мира до настоящих дней, в рассуждении сего предмета, не представляет истинных законоположений, основанных на природе и одобряемых разумом.

ОПЫТ О ПРОСВЕЩЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО К РОССИИ

ОПЫТ О ПРОСВЕЩЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО К РОССИИ[46]

L'instruction doit être modifiée selon la nature du gouvernement qui régit le peuple. *J. A. Chaptal* *

Блаженны те государи и те страны, где гражданин, имея свободу мыслить, может безбоязненно сообщать истины, заключающие в себе благо общественное! **

В ЧЕМ СОСТОЯТЬ ДОЛЖНО ИСТИННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ?

Если бы творец миров, как говорит великий Эйлер, восхотел в безмерном пространстве небес возжечь новое светило, то лучи его не прежде бы достигли до нас, как по прошествии нескольких лет. Равным образом светильник просвещения, благотворительною рукою мудрого законодателя возженный, не прежде лучезарным сиянием своим может озарить моральную сферу, как в течение продолжительных времен. И так будущие веки должны служить зерцалом для настоящих дел законодателя. Творческий дух его непременно преноситься должен в сию глубокую отдаленность, в сей мысленный мир, и тщательно исследовать, какое влияние настоящие предприятия его произвести могут на племена будущие.

Россия, со времен Рюрика, множество имела обладателей. Каждый из них более или менее напечатлел на оной свое могущество, и история с довольною точностию представляет нам как все оттенки оного, так и грубость тогдашних времен. Россия имела многих обладателей, но правителей мало. *Повелевать и управлять* при первом взгляде, кажется, означают одно и тоже, но в существенных действиях своих весьма между собою различны. Можно повелевать государством, не управляя оным; ибо власть самодержавия, истекая из единой воли, редко какую-либо цель предполагающей, зависит почти

* Воспитание должно быть согласовано с природой власти, управляющей ародом. *Шапталь.*

** Эпиграф этот взят из самого „Опыта о просвещении", — см. ниже, стр. 159 — *Ред.*

всегда от расположений духа действующей особы. Управлять же народом значит пещись о нем, значит наблюдать правосудие, сохранять законы, поощрять трудолюбие, награждать добродетель, распространять просвещение, подкреплять церковь, соглашать побуждения чести с побуждениями пользы,— словом, созидать общее благо и к сему единственному предмету желаний гражданина, посредством начертанных для того правил, постановленного порядка и мудрой деятельности, открыть всем свободный путь. И потому Домитианы и Калигулы *повелевали* Римом, но Ликурги и Солоны *управляли* Спартою и Афинами.

Из истории сих великих законодателей ясно видеть можно, сколь законы, примененные к нравственности и духу народа, соглашенные с климатом и местными обстоятельствами, бывают прочны, неизменны, сильны к сохранению могущества своего в продолжение нескольких веков. Петр Великий, сей бессмертный монарх, отец отечества, между всеми своими неусыпными в пользу народа попечениями, учреждением сената, дарованием прав сему верховному судилищу, явил равномерно истинный дух законодательства, и Россия, с сей толико славной для нее эпохи, получив определенный род правления, поступила в число монархических европейских держав. Гений сего премудрого государя, не могший терпеть никаких ограничений, никакой постепенности в образовании толь многосложных государственных отраслей, но желая вдруг образовать Россию во всем ее пространстве, желая при жизни своей увидеть оную в цветущем состоянии, предпринимал для сего нередко такие меры, которые не произвели желаннных успехов, но впоследствии показали даже в некоторых случаях совсем тому противное. Если бы Петр Великий, соответственно проницательности и дальновидности своей, имел способных исполнителей, то без всякого сомнения, ежели не целым, то, по крайней мере, половиною века ускорил бы он успехи в тех предметах, на которые простирал свои виды. Но как в таковых людях имел он великий недостаток и должен был сам образовать их, то посему и к цели, им предполагаемой, доходил медленно и с чрезвычайными усилиями. Мысль, которая сделалась почти общею, поселилась к несчастию в головы великих людей, и которая даже на самого преобразователя России простерла свое владычество; мысль, чтобы *невежественным народом управлять страхом и жестокими законами*, есть сколько несправедлива, столько и противна природе. Ибо всякой народ, в невежество погруженный, означает еще свое младенчество: то есть в таком находится возрасте, в котором каждый гражданин, особенно приемлемый, далече отстоя от опытов, не зная ни прямых отношений, связующих его с прочими гражданами, ни настоящих обязанно-

стей в рассуждении власти, им управляющей, по сему печальному своему неведению при каждом шаге подвержен бывает заблуждениям, которые, по справедливости судя, не наказания, но более исправления требуют. Возмужалый невежда подобен сильному младенцу, который, следуя безрассудному внушению своих желаний, стремится равно как к доброму, так и худому. Ежели мы видим человека, вредящего самому себе, предпочитающего зло добру, то должны заключить, что он обманывается, что воображение его заблуждает, что страсти его вовлекают в оное. Если видим его отказывающегося от удовольствия, которым бы он воспользоваться мог, то, конечно, делает сие с тем, что имеет в виду удовольствие гораздо большее, продолжительнейшее, или отдаленное счастие, которое он посредством таковых своих лишений, или даже чрез кратковременное терпение, получить надеется. Человек ни на одну минуту в жизни своей не может, так сказать, отделиться от самого себя; все, на что он ни покушается, что ни предпринимает, что ни делает, все то имеет предметом доставление себе какого-нибудь блага или избежание несчастия. Если мы видим его плачущего над урною своей супруги, своих детей, своего друга, необходимых для его сердца, то видим его самого себя оплакивающего. Не хладный и нечувствительный прах исторгает слезы наши и наше сожаление, но удовольствие и благополучие, коих видим себя лишенными; сие-то мучительное чувство лишения иногда чувствительного человека ввергает во гроб. Следовательно, во всех своих мыслях, страстях, деяниях чает человек по мере своего просвещения находить свое счастие; и потому все искусство законодателя, предпринимающего начертать законы для народа, в невежестве пребывающего, должно состоять в том, чтобы частные страсти направить к единой цели, общее добро заключающей, и к коей не строгостью наказаний, удобных произвесть в душах большее только ожесточение, но чрез *просвещение* можно довести людей. И так рассмотрим, что такое есть *просвещение?*

Из всех политических предметов ни один столько не занимает философов, как сей. Сколько издано книг о народном просвещении! Каждый философ не упустил в свою чреду соорудить систему и предложить оную свету как самую удобнейшую, по крайней мере, по его мнению. И поистине предмет сей по своей важности заслуживает величайшее внимание, особливо со стороны такого государя, которому самые обстоятельства споспешествуют в желаниях для образования народов, ему подвластных.

Просвещение, в настоящем смысле приемлемое, состоит в том, когда каждый член общества, в каком бы звании ни находился, совершенно знает и исполняет свои должности:

то есть, когда начальство с своей стороны свято исполняет обязанности вверенной оному власти, а нижнего разряда люди ненарушимо исполняют обязанности своего повиновения. Если сии два состояния не переступают своих мер, сохраняя должное в отношениях своих равновесие, тогда просвещение достигло желаемой цели. Есть люди, которые о просвещении народа заключают по числу их сочинителей: то есть там, где больше находится сочинителей, там более и просвещения. По мнению сих людей, Франция должна бы почесться наипросвещеннейшею страною в свете, потому что она обильнее всех прочих своими писателями. Но сколь при всей ее блистательной учености далеко еще отстоит она от истинного образования. Ибо там, где царствует просвещение, там спокойствие и блаженство суть уделом каждого гражданина. Но доколе власть во зло употребляет доверенность, обществом ей делаемую, доколе подчиненность не перестает выходить из своих пределов и доколе равновесие гражданственных взаимностей теряется, дотоле та страна, хотя бы она состояла вся из ученых и философов, едва ли счастливее той, которая покрыта мраком невежества.

Франция, совершив ужасный переворот своего преобразования, терзая собственную свою утробу и алкая повсеместно крови, вместо того, чтобы возвратить нужные силы государству, по словам ее в долговременном изнурении находившемуся, вместо того, чтобы укрепить его и дать всему твердое основание, призвала к себе на помощь мнимых мудрецов своих, которые, явясь в лице законодателей или, вернее сказать, истребителей, мгновенно разрушив все преждебывшие государственные постановления, на сих печальных развалинах положили основание зданию своей толико ужасной по действию и соблазнительной по правилам конституции; но опыт показал, сколь основание сие было худо, сколь легко было оное испровергнуть, ибо жребий их отечества находится уже в руках иноземца.

Законодательный Французский Совет, при сочинении сей своей конституции, представленной им народу 24 июня 1793 года, совсем отдалился от настоящего предмета. Может быть, некоторые скажут мне, что сие не могло быть иначе и что в таковых обстоятельствах обыкновенно бывают таковые последствия. Разумею, они хотят сим сказать мне, что вся революция предпринята была для Бонапарте, чтобы возвесть его на Бурбонский престол, поднести ему титул императора и вручить гораздо бо́льшую власть, нежели каковою пользоваться некогда могли короли французские. Согласен я, что Франция ничего не упустила сделать для славы первого консула; что ж сделала она для собственной своей славы, того я не вижу.

Но как настоящее положение Франции есть последствие ее революционной конституции, которая, возжегши пламень раздоров в самом сердце Франции, бросала пагубные искры свои даже в пределах других держав, то посему не бесполезно будет рассмотреть, каким образом сословие мужей, известных своею ученостию и просвещением, могло толь несообразное положить основание законам, на которых должны покоиться общая безопасность и счастие.

Сия их конституция заключает в себе более метафизических рассуждений, нежели простых, вразумительных истин. И потому неудивительно, что народ не мог разуметь оной, поелику она превышала его понятия. Сумнительно, чтобы и сами законодатели хорошо разумели оную, когда основанием сей конституции приняли, во-первых: *права человека*, потом *вольность*, потом *равенство* и, наконец, *собственность*, как бы из сих прав уже истекающую. Какое разительное противоречие! Какая нелепость даже в самом основании законов! Сии законодатели метафизики, желая из естественного источника почерпнуть законы, почерпнули оные из своего воображения.

Права человека согласуются ли сколько-нибудь с *правами гражданина* и какие *права* может иметь *естественный человек*, который только умственно разумеем быть может. Дикой или естественный человек, живя сам собою, без всякого отношения к другим, руководствуется одними только *естественными побуждениями или нуждами*, им самим удовлетворяемыми. Доколе пребывает он в сем состоянии, дотоле ничем не отличается от прочих животных. Следовательно, естественный человек, имея одни только *нужды*, не может никаких иметь *прав*; ибо самое слово сие означает уже следствие некоторых отношений, некоторых условий, некоторых пожертвований, в замену коих получается сей общий залог частного благосостояния. Человек, из недр природы в недра общества прешедший, с сей только минуты начал познавать *права*, *дотоле ему неизвестные* и которые только различествуют от *первоначальных нужд* его, сколько он сам различествует от *гражданина*. Всякий человек может сделаться гражданином, но гражданин не может уже сделаться человеком. Переход первого из дикого состояния в общество согласен с целию природы, переход же другого из общежития к дикости был бы противен оной. Естественный человек во всякую минуту жизни своей стремится к своему сохранению, и чувство сие ни на минуту его не покидает. Напротив того, истинный гражданин на всякое мгновение готов пожертвовать собою и не столько печется о своем сохранении, сколько о сохранении своего отечества.

Из чего ясно видеть можно, сколь *мнимые права человека* противуположны *правам гражданина*. Сколь система, стремя-

щаяся к распространению таковых прав, ведет к погибели, поселяет дух раздоров, возжигает всеобщий пожар и, потрясая самое основание царств, столько веков созидавшихся, наконец оные испровергает.

От семени сего первого их закона должно было непременно произрасти *древу вольности*, коего очаровательные по наружности своей плоды, заключая в себе сокровенный яд, который силою своею победя силу рассудка, воспламеня воображение, производит то бешенство и неистовство, в каковых только Франция могла дать примеры, долженствующие в летописях мира изображенны быть кровавыми чертами.

Такой ли свет должны были законодатели сии пролить на те законы, от которых зависело не только блаженство настоящего, но и будущих поколений! Думая превзойти самую природу, казавшуюся для них уже слишком простою, они вопреки рассудку хотели в том настоять, что сим мечтательным путем своим достигнут народного счастия, ими предполагаемого. Но нет, сей избранный ими путь есть страшная бездна, которая не перестанет поглощать народы и который никогда не доведет до дверей храма, где царствует истина, отвергающая таковые законы.

Мысль их о *вольности* не есть ли совершенно метафизическая мысль?* Принявши худо понимаемую ими природу человека за основание коренных своих постановлений, они, однакож, не перестают в прочих отношениях своих давать себе названия граждан, налагающие на них, без сомнения, гораздо большие обязанности, нежели *мнимые* их *права человека*, подающие только повод к мятежам и междоусобиям.

Если бы они с большим вниманием исследовали человеческую природу, то увидели бы, что *вольность*, сей обоготворяемый ими кумир, есть не иное что, как призрак воспаленного их воображения и которая никогда не была уделом человека, в каком бы состоянии он ни находился. Если преследуем человека во глубину дремучих лесов и из сего ужасного жилища выведем его на сцену общественной жизни, то найдем, что он в обоих сих случаях не может иметь той вольности, которую они предполагали. Поелику в первом совершенно зависит он от естественных своих нужд, а во втором от общественных законов.

Если человек, в диком состоянии пребывающий, мучимый голодом, покушается на отнятие пищи у другого, то, конечно, делает сие по *неволе*, по чувству, движущему его к своему сохранению, по побуждению своих нужд, и сила в сем случае

---

* Смотри Article 6. Constitutions des principaux états de l'Europe et des états-unis de l'Amérique; том пятый, сочинение славного писателя de la Croix. Страница 329.

есть не иное что, как орудие, данное природою для удовлетворения оных. Когда бы человек вовсе не имел нужд, то не имел бы надобности и в силе, которая дотоле пребывает в бездействии, доколе чувства молчат: в противном случае вместе с оными пробуждается. И потому состояние дикости не есть, как многие философы определяют, *право сильного, но нужда сильного*, ибо право, как я выше сего уже показал, не может быть совместно с состоянием дикого человека, и которое ничем не отличалось бы от прав медведя, волка и прочих животных, силою естественных побуждений управляемых.

Равным образом человек, вступая в общество, приемля название гражданина, перерождается, так сказать, и получает новое бытие. Увидя себя в круге подобных ему людей, имеющих одинакие с ним желания, чувства, потребности и страсти, при каждом шаге начал познавать их на себя влияние, свои к оным отношения, чувствовать, что счастие его от оных нераздельно, и сия-то нужда, которую начал находить он в них, показав ему, что и прочие равную в нем для благосостояния своего имеют нужду, открыла ему все пространство его должностей. Сии должности произвели законы, законы наложили на него узы зависимости, и человек в круге общежития, между людей сделался еще *менее волен*, нежели как он был в первобытном своем состоянии.

Но сего не довольно. Сии законодатели, дабы явить конституцию свою во всем ее совершенстве, включили еще в основание оной *равенство*, стоящее им столько крови и уничтожающее всякое право *собственности*. Вот поистине достойный плод насажденного ими древа вольности! Дух безначалия, перемешавший все гражданственные состояния, вооружив развращенное тунеядство противу добродетели, леность противу трудолюбия, своевольство противу порядка, поправший священные права собственности и, наконец, заглушивший чувствования сердца, восстал против самого бога, опровергнув святые олтари и храмы, воздвигнутые на прославление его величия, и в которых несчастный находил единственную свою отраду.

Откуда призвали они сие *равенство*, сие исчадие раздоров?* Я не нахожу оного ни в истории протекших веков, ни в недрах природы. Какой счастливейший народ, по их мнению, управлялся безначалием? Когда природа во младенчестве человеческих обществ являла примеры сего равенства, которое упоевало их души? Нет, если бы они хотели последовать природе, то, конечно, узнали бы, что не сие гибельное их равенство, но что *неравенство* сил человеческих соединило и со-

* Смотри Article 3. De l'Acte constitutionnel; том 5, стр. 323 сочин[ения] de la Croix.

храняет людей. По сей-то причине самые бессильные соединились между собою для защищения своего от нападения сильных и соглашением частных сил своих составили общую силу, или, что все равно, закон, долженствовавший сохранять общее в оных равновесие и предупреждать всякое в оных злоупотребление. Следовательно, от *неравенства сил человеческих* произошли общества, от обществ произошли законы, от законов стали зависеть гражданственное благосостояние и твердость.

Сих исследований, кажется, довольно, чтоб увидеть, сколь система такого рода пагубна, противуестественна, отдалена от истинного просвещения, от прямой цели, долженствующей заключать в себе *величайшее блаженство величайшего числа людей**. Сии исследования почитал я тем более необходимыми, поелику они касаются до весьма важных предметов как в рассуждении законодателей, так и народов. Первые могут усмотреть из оных, сколь глубокой требуют рассмотрительности все вводимые вновь постановления, сколь нужно сообразоваться с духом народа и щадить его предрассудки. Народы же с своей стороны познают, сколь бедственны такого рода правления, что сколь ни великолепны права, из которых составлена была революционная конституция Франции, со всем тем, как опыт подтвердил, никто в существе самом не пользовался оными, что призрак вольности и равенства, за которым гонялись французы, вовлекши их в бездну несчастий, исчез, и, наконец, уверятся, что все состояние, начиная от земледельца до монарха, необходимо нужны, поелику каждое из оных есть не что иное, как звено, государственную цепь составляющее. Сей общественный узел рассекать опасно; напротив того, всеми мерами стараться надобно сохранять оный. *И потому от мудрости законодателя зависеть уже будет каждому из сих состояний внушить нужду взаимной зависимости, положить каждому из оных пределы, из которых выходить было бы ужасно, определить каждому состоянию его права, предписать его обязанность и уметь употребить средства для предупреждения злоупотреблений, на которые неблагонамерение и эгоизм покушаться могут.* Из чего следует, что когда общество, для сохранения своего, в неравенстве состояний имеет нужду, *то требуется ли, чтобы каждое из оных имело одинаковую степень просвещения, или нет?* — Вот что предлежит к разрешению.

Россия, по свойству своего правления будучи монархическою державою, по сей самой причине имеет тем большую надобность в неравенстве состояний, поелику оное служит твердейшую для нее подпорою. Итак, если неравенство состоя-

* Таковую цель, говорит Беккарий, должны непременно иметь все законы. *Рассужд*[ение] *о преступ*[лении] *и наказан*[ии].

ний столь великую заключает в себе важность для государства, то из сего следует, что каждое гражданственное сословие должно непременно составлено быть из мужей истинно достойных, опытных и благонамеренных, известных обществу сколько по доброхотству своему, столько по способностям и усердию. В противном случае, круг гражданственных *должностей*, лишен будучи *надлежащих сил* для проведения оного в движение, при каждом разе будет останавливаться, будет получать сильные потрясения, и наконец участь целого общества должна будет зависеть уже от случая. Вот почему раздача государственных должностей производиться должна со всевозможною осторожностию. Опыт слишком научает нас, что всякое в сем случае лицеприятие хотя и доставляет некоторые частные выгоды, но зато наносит величайший вред целому обществу. Через сие-то самое рождается неуважение к гражданственным сословиям, долженствующим быть почитаемыми, и хотя неуважение сие явно не обнаруживается, но таится во глубине сердец, со всем тем не перестает оно приводить за собою презрение, а сие нередко и самую ненависть. Вот пожар, кроющийся под пеплом! Вот от чего *неравенство состояний* становится несносным, тягостным бременем, возмущает умы и нередко разрывает общественный узел.

Сколь ни многоразличны государственные постановления, со всем тем все оные стремятся к сему только единственному предмету, то есть *к сохранению собственности и личной безопасности гражданина*. «Нет человека (сколь бы он, впрочем, жесток и несправедлив ни был), который бы не признался и в сердце своем не был уверен, что собственность есть основание правосудия, источник всех гражданских законов, душа общежития, и что она сохраняется по мере личной безопасности гражданина. К чему служат старание, труды к приобретению имения там, где и жизнь и смерть каждого определяется по жребию; там, где одной неистовой воли какого-нибудь паши довольно, чтоб испровергнуть счастие и лишить имущества многих честных граждан? Там всё, покрыто будучи неизвестностию, не только истребляет лучшие способности, погашает благотворный дух трудолюбия и промышленности, но даже, унижая самое достоинство человека, держит людей как бы во мраке темниц, где слышны одни только жалостные стоны несчастных и раздаются звуки тяжелых цепей их. Владычество насильства и невежества не терпит никаких прав: там всякой или тиран, или жертва. Турция служит очевидным сему доказательством. Насильство и невежество, составляя характер ее правления, не имея ничего для себя священного, губят взаимно граждан, не разбирая жертв, от чего нередко участь султана и участь последнего нищего равно бывает подвержена как бешенству первого, так и своенравию другого. В таком

несчастном состоянии обыкновенно пресмыкаются народы и правители, когда темная ночь невежества лежит на очах рассудка и луч просвещения не разрывает оных. Когда гений не смеет распростерть крыльев своих, чтоб быстрым свойственным ему полетом вознестись до селения истины. Когда вместо единодушия, вместо общей доверенности, долженствующей скреплять связь гражданской жизни, несогласие, недоверчивость и страх разделяют людей между собою. Просвещенный патриот пожалеет о участи таковых народов и в сердце своем скажет: поистине благополучны те только страны, где власть правительства, основывая на благоразумных, человеколюбивых и с целию гражданских обществ согласных правилах, главнейшим для себя поставляет законом: что чем более гражданин уверен в своей безопасности и собственности, тем становится он рачительнее, деятельнее, счастливее, следовательно, полезнее и преданнее своему государству. Тогда-то *любовь к отечеству* есть тот алмазный щит, против коего ни устремленные громы врагов, ни коварные замыслы злодеев, ни бури мятежей устоять не могут. Тогда, возжегши души граждан, движет их к тем великим и чудным делам, которым, читая историю, дивимся мы и восхищаемся. Нет страсти, которая бы более ее возвышала душевные способности, была обильнее в добродетелях, в пожертвованиях, в великих примерах. Чрез нее государство соделывается страшным извне и благоденствует внутри. Искусства, художества, науки получают свои храмы. Законы находят в ней вернейшую свою стражу, престолы монархов твердейшую свою подпору. Итак, если *любовь к отечеству*, сия столь спасительная для общества страсть, питается и укрепляется мудростию законов, охраняющих собственность и личную безопасность гражданина, то всякое просвещенное правительство сколько возможно стараться должно возбуждать оную в сердцах граждан и иметь в виду не благоденствие только некоторого числа, но всех людей без изъятия, ибо благополучие государства познается не по блеску дворов, не по великолепию придворных и беспредельной власти дворян, но по доброте правления и по состоянию народа.> Собственность! священное право! душа общежития! источник законов! мать изобилия и удовольствий! Где ты уважена, где ты неприкосновенна, та только благословенна страна, там только спокоен и благополучен гражданин. Но ты бежишь от звука цепей! Ты чуждаешься невольников. Права твои не могут существовать ни в рабстве, ни в безначалии, поелику ты обитаешь только в царстве законов. Собственность! где нет тебя, там не может быть правосудия.

Каким же непонятным образом держится общественное здание там, где не имеет оно надлежащего основания, там, где права собственности попраны, где правосудие известно по од-

ному только названию и где оное более приобретается посредством денег или покровительств, нежели исполняется как закон? Там все покрыто неизвестностию, все зависит единственно от случая. Одно мгновение — и общественного здания не станет. Одно мгновение — и развалины оного возвестят о бедствиях народных.

Россия! к тебе стремятся все мои мысли, все мои желания! Дражайшее отечество! Каким приятнейшим чувствованием наполняется сердце, обращаясь к тебе! Какие восхитительные мысли обширность твоя рождает в воображении, тебя созерцающем! Твой скипетр объемлет полсвета, многочисленные народы тебе покорствуют, в недрах твоих заключаются все сокровища природы. Благословенная Россия! Слава твоя гремит посреди твоих трофеев, меч твой страшен для врагов твоих. Екатерина, плененная твоим геройством, стремилась толико превознести тебя! Она достигла цели своей. Лавровый лес шумит вокруг тебя. Но — военные бури умолкли, ангел мира приял скипетр, и сладкая тишина, сопровождаемая радостию и счастием, оживотворяет днесь сердца твоих детей. Любезное отечество! и Александр готовит тебе славу, славу истинную, достойную сего добродетельного монарха. Он желает твоего образования, он желает расширить сферу моральных твоих способностей; он желает, да под сению лавров и оливы процветают науки и художества, да разум, сей небесный дар, воспламененный любовию к отечеству, сею первейшею добродетелию гражданина, без трепета, со всею свободою стремясь к общему добру, начертывает чертежи народного блаженства. Прияв таланты под высокий покров свой, он ободряет их своим вниманием, призывает всех к добродетели, подавая в оной собою пример. И, наконец, желая поселить нравы *истинным просвещением*, составляющим основание, блаженство и могущество царств, он намерен дать полный блеск славе, приобретенной тобою посредством твоего оружия.

Какой россиянин, видя таковые попечения своего монарха, видя такое стремление его к добру, таковую любовь его к отечеству, не тронется до глубины сердца и не воспламенится жаром усердия ко всему тому, что только ни предназначает его гений. Когда пример добродетелей блистает на престоле, тогда производимые оным впечатления гораздо сильнее самого закона; ибо закон действует только в то время, когда востребует того случай, пример же, будучи беспрестанно в глазах наших, служит беспрерывным для нас уроком и возбуждает чувства к последованию оному. Люди с стремлением подражают всегда тем, которых почитают они для счастия своего необходимыми. Но кто же может более иметь влияния на общее благоденствие, как не государь? И потому вести людей к добродетели посредством примера в оной верховные

власти есть, без сомнения, самый надежнейший и вернейший способ.

Россия заключает в себе четыре рода состояний. Первое *земледельческое*, второе *мещанское*, третие *дворянское* и четвертое *духовное*. Из сих четырех состояний одно только земледельческое является в страдательном лице, поелику сверх государственных повинностей, коим оно подлежит и непременно подлежать должно, потому что все требуемое от земледельца для пользы государства есть сколько необходимо, столько и справедливо. Всякое же другое требование есть уже зло, для отвращения коего нужно законодателю употребить всю свою деятельность. Как можно, чтобы участь толико полезнейшего сословия граждан, от которых зависит могущество и богатство государства, состояла в неограниченной власти некоторого числа людей, которые, позабыв в них подобных себе человеков,—человеков, их питающих и даже прихотям их удовлетворяющих,—поступают с ними иногда хуже, нежели с скотами, им принадлежащими. Ужасная мысль! Как согласить тебя с целию гражданских обществ, как согласить тебя с правосудием, долженствующим служить оным основанием?— Великая Екатерина не могла не чувствовать нужды в исправлении сего злоупотребления, когда в премудром Наказе своем, глубоких чувствований человечества исполненном, требовала*, дабы „избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю (божественные слова!), разве крайняя необходимость к учинению того привлечет, и то не для *собственной корысти*, но для *пользы государственной*; однако же,— говорит она,— и *то едва* не весьма ли редко бывает“.

„Законы,—продолжает она,— могут учредить нечто полезное для собственного рабов имущества“**.

Также „*весьма бы нужно было*,— говорит она,— предписать помещикам законом, чтоб они с большим рассмотрением располагали свои поборы и проч“.***

Потом присовокупляет, что „земледелие не может процветать там, где никто не имеет ничего собственного“.****

Вот черты, достойные чувствительного сердца премудрой законодательницы! Вот истинное основание для здания гражданственного! *Где нет собственности*, там, конечно, не может быть и сей животворной деятельности, сей души общественного тела. *Где нет собственности*, там все постановления существуют только на одной бумаге. *Где нет собственности*, там круг общественных деяний едва движется, там все имеет вид изнеможенный, печальный, мертвенный

* Глава XI, § 253, стран. 97.
** Глава XIII, § 261, стран. 98.
*** Глава XII, § 270, стран. 101.
**** Глава XIII, § 295, стран. 110.

и, следовательно, несчастный. Наконец, там, *где нет собственности*, где никто не может безопасно наслаждаться плодами своих трудов, там самая *причина* соединения людей истреблена, там узел, долженствующий скреплять общество, уже разорван, и будущее, истекая из настоящего положения вещей, знаменует черную тучу, страшную бурю в себе заключающую.

Итак, самый важнейший предмет, долженствующий теперь занимать законодателя, есть тот, *чтобы предписать законы, могущие определить собственность земледельческого состояния, могущие защитить оную от насилий, словом: сделать оную неприкосновенною.* Когда таковые законы получат свое бытие, тогда только наступит настоящее время для внушения сему состоянию его *прав*, его *обязанностей*. Тогда только с успехом внушать ему можно будет пользы, от трудолюбия проистекающие; тогда только надежным образом можно будет привязать земледельцев к земле, как к источнику их удовольствий и благосостояния. Тогда только с уверительностию приступить можно к их образованию, открыть им путь к истинному просвещению, долженствующему пролить на них целебный и благотворный свет свой, который не будет уже противоречить, но будет соответствовать пользам, от оного ожидаемым.

„Есть страны,— говорит великая Екатерина,— где во всяком погосте есть книги, правительством изданные, о земледелии, из которых каждый крестьянин может в своих недоумениях пользоваться наставлениями".*

Благополучные страны! почто не могу я сказать того же и о моем отечестве? Нет, Россия не в том еще находится положении. Ибо там, где правительство печется о наставлении земледельцев в ремесле их, там, конечно, пеклось оно прежде об *утверждении их собственности*. „Сие основано на правиле весьма простом,— говорит сия премудрая монархиня,— ибо всякий человек имеет более попечения о своем собственном, нежели о том, что другому принадлежит, и никакого не прилагает старания о том, в чем опасаться может, что другой у него отнимет".**

Но как нет ничего возможного для такого государя, который, горя желанием добра, неусыпно печется о распространении оного; для такого государя, который одними великими своими намерениями уже снискал себе бессмертие. Нет, для Александра не может быть ничего невозможного. Сердце, которое бьется только для блага отечества, коего добродетельные свойства изображает манифест от марта 5 числа 1803 года о поз-

---

* Наказ, глава XIII, § 302, стран. 111.

** Наказ, глава XIII, § 296, стран. 110.

волении крестьянам откупаться от своих помещиков, конечно найдет способы и к искоренению злоупотреблений власти помещиков над их крестьянами и к утверждению и охранению собственности сих последних. <На сей конец за необходимое почитаю объяснить, что такое разумею я под *собственностию* и под *правами на сию их собственность.*

Соображаясь с настоящим положением вещей, рассудок, опыт, собственные наши законы и государственные постановления будут моими в сем случае руководителями.

„Прежде завоевания царств Казанского и Астраханского,— говорит Г. Болтин,—крестьяне в России были все вольные и могли переходить с места на место по своему желанию. Подати они платили тогда не с душ, не с дворов, не с имения, а с пашни; имеющий во владении больше земли платил больше, и сам больше приобретал; ленивец, обрабатывая меньше земли, меньше платил, меньше имел выгод и меньше мог удовлетворять свои прихоти. Земли принадлежали или короне, или дворянству; поселившиеся на них должны были платить государю по установлению, а владельцу по условию. Не мог помещик от крестьян своих требовать или взыскивать ничего сверх условного или законом предписанного, или обычаем установленного, если не желал остаться без крестьян и без дохода. А дабы от безвременных переходов крестьян с места на место не было в сборе государственных податей недоимки и замешательства и в помещичьих работах остановки, узаконен был один срок в году, а именно в осень, о Юрьеве дне, для перехода их на другое место; предписаны были правила, как им переходить и что помещику пожилого за двор платить.

Холопи были также вольные люди и служили по *кабале* и по *летной*; а рабами были только пленники и дети их; а как и сии также под одним названием с первыми заключались, то в отличие одних от других первые назывались *кабальными*, то есть служащими по обязательству, а последние *старинными*, или полными холопами, то есть родовыми или крепостными. В состояние первых входили добровольно из вольных людей, как-то из чужестранцев, из мещан, из детей боярских и других чиносостояний, кроме крестьян, и, договорясь о плате, давали на себя записи, чтоб им служить до смерти того, кому они запись дали, или на несколько лет: первая называлась *кабала*, а последняя *летная*. Полного, или родового, холопа мог помещик продать, подарить, и в приданое за дочерью отдать; а кабальной холоп был крепок только тому, к кому он в холопство добровольно обязался, по смерти ж его паки становился свободен.

Чтоб истребить бродяг, тунеядцев и не хотящих быть полезными членами отечеству, запрещено было помещикам брать вольных людей к себе в услужение без обязательства письмен-

ного и в судебном месте засвидетельствованного; в противном случае ни в чем суда на таких людей помещикам давать было не велено, хотя бы такой человек, обокрав его, бежал: *не держи без кабалы*.

Разумели тогда, что вольность не на иной конец человеку дана, чтоб употреблять ее во благое и полезное отечеству и себе, что, промышляя о собственном благосостоянии, не должно забывать и того, чем каждый отечеству своему обязан. Тем, кой долг свой забывали, напоминал закон; повиноваться же сему заставляла нужда. Вольный человек не мог иметь пропитания, не причисля себя к какому-либо государственному сословию; а вошед в которое-нибудь из них, должен был подчинить себя и повинностям того общества, которого воспринял звание и учинился членом. Всякое чиносостояние обязано было особенною должностию, службою, повинностию государству и своей собратии; праздные люди, тунеядцы ни в котором терпимы не были.

Помещики, не довольны будучи сказанною властию над кабальными холопами, стали их сравнивать с полными холопами; но они, не хотя дать себя поработить, воспротивились такому помещиков своих притязанию и, собравшись, подали царю Василию Ивановичу Шуйскому челобитную, жалуяся на притеснение вольности их от помещиков. Царь Василий Иванович указом повелел, чтоб пленным только быть рабами, а холопам служить попрежнему, по кабале и по летной. В сем состоянии оставались холопи до подушной переписи, в коей они в равной окладе положены с крестьянами, как сказано будет ниже.

Паки обращуся к первой моей речи о крестьянах: как запрещен стал быть им переход с места на место, тогда всяк должен был остаться на том месте, где был поселен вечно, дети и потомки его. Поселенные на землях помещичьих стали быть крепки помещикам не сами по себе, как холопи, но по земле, не имея воли ее оставить. Запрещение перехода обратили владельцы в свою пользу и распространили власть свою над крестьянами; стали принуждать их к платежу большего оброка и требовать от них работ излишних. Крестьяне, будучи связаны, не смели им отказать ни в том, ни в другом, чтоб не почтено было то за ослушание, противность, бунт; понеже закон, отнявший у них волю перехода, не предписывал меры работ их и повинностей. Недоразумение пределов помещичьей власти и крестьянского повиновения произвело вначале многие споры, жалобы, возмущения; но помещики, будучи умнее и богатее, умели растолковать закон в свою пользу и сделать крестьян виноватыми. Однакоже, ниже в сие время имели помещики власть крестьян своих и кабальных холопей продавать, как скот, и пересаживать, как деревья, с места на

место. Закон, воспрещающий делать крестьян холопами, чинить сие воспрещал. Одним только сим различались крестьяне от рабов, что степению были выше скота и деревьев. Долго существовало сие различие, полагающее некоторого рода границы помещичьей власти над крестьянами и сих преимущество над полными холопами. Крестьяне продавались, закладывались, в приданое отдавались, в наследие детям оставлялись (разумея о отчинах) не иначе, как с землею; не смели еще отделять их от земли и продавать поодиночке. Над поместными крестьянами власть помещиков была еще меньше; сих ни продать, ни заложить было не можно, понеже поместья даваны были вместо жалованья по смерть, а не потомственно и в собственность. Первый повод к продаже поодиночке подал владельцам набор рекрут с числа дворов, показал тем дорогу, что можно их отделять от земли и от семейств поодиночке. Указ, сравнивший поместья с отчинами, и вскоре потом последовавшая подушная перепись, которою и холопи, без различия кабальных от полных, поверстаны в одинакой оклад с крестьянами, утвердили владельческое притязание присвоить над теми и другими одинакое властительства право. После сего стали холопей превращать в крестьян, а крестьян в холопей, отделять их от семейств и, наконец, продавать на вывод семьями и поодиночке. С того времени стали быть помещики таковыми ж властителями над имением и жизнию крестьян и холопей своих, каковыми по древнему закону были только над одними пленными. Нет закона, делающего лично крестьян помещикам крепостными: обычай, мало-по-малу введенный, обращать их в дворовых людей, прямо в противность уложенные статьи о нем, и под названием дворовых продавать их поодиночке, сначала был терпим, послабляем, превратно толкуем, обратился, наконец, чрез долговременное употребление в закон.

...Как крестьянин без помещика, так вольный человек без собственности быть не может. Собственность есть принадлежность свободы, так как подчинение есть относительность ко власти, к начальству. Хотя старинные наши крестьяне были и свободны, однакож помещиков имели. Вольны они были по состоянию, а крестьянами назывались по чиносостоянию, по званию своему. По праву свободы своея могли переходить с места на место, а по долгу звания своего обязаны были подчинением, повинностию, платежом некоторого оброка тому, на чьей земле они сидели. Земли все были и суть государственные или владельческие: поселенный на государственной земле помещик есть государь. Не было таких земель, на которых бы поселенные исключены были от платежа подати поземельные. Крестьяне по праву вольности имели собственность такого ж рода, каковую имеют ныне государственные

крестьяне; оная состоит в движимом имении, в котором они полную и независимую ни от кого власть имеют. Заплатуя законом постановленное, все приобретаемое трудами их оставалось в приращение их собственности. Земля была собственностию владельческою, а плоды трудов и промыслов — собственностию крестьянскою. Собственность и того и другого охраняема была законом: крестьянин не мог отойти прежде положенного срока и не заплатя предписанного законом за пожилое и владенное; а помещик не мог ни лишнего с него взять, ни удержать у себя против воли. Довольно сказанного в показание, что старинные русские крестьяне, будучи вольными, имели владельцев и имели собственность, не имев земли; помещики владели крестьянами, не имев власти учинить их невольниками; получали с них оброки, не могучи их грабить.

...*Крестьянин* и *холоп* были тогда два чиносостояния, различные одно от другого во всех их относительностях; некоторые из них после уничтожалися, а прочие и поныне существуют. В старину главное различие между холопов и крестьян состояло в том, что первые были невольники (разумея полных холопей) и податей никаких не платили. Различия, существующие поднесь, суть: дворовые люди дворов не имеют, в земледелии и промыслах не упражняются, живут неотлучно при своих господах, исправляют всякие их работы, должности, дела; питаются, одеваются, содержатся от помещика.

...Под названием численных людей не холопы, а крестьяне разумелись. Завели числение делать татары. Баскаки их всех тех, кои жили домами, имели земли, промыслы, доходы, переписав обложили податью, и по причине сего их исчисления и податью обложения стали называть их *численными людьми.* Не имеющие домов, промыслов, собственности, каковы суть рабы, в перепись сию не входили, никаких податей не платили и о числе их было неизвестно; следовательно, и *численными* называться не могли. Ходили на войну с помещиками холопи их токмо для охранения их и услуги им; а с численных людей, то есть с крестьян, брали в службу со ста дворов по человеку, в полном доспехе, на их жалованье и содержании. По причине вольного крестьян с места на место перехода должно было делать им перепись ежегодно. По переписным книгам известно было, сколько в котором уезде крестьян; следовательно, известно было и сколько с которого уезда должно выйти людей на службу, которые и собирались на сборное место в срок, по наряду. Дворяне все без исключения должны были выходить на службу, и который на срок не явится, тех в списках писали в нетѣх и после за то лишали их поместьев. Сколько должно было иметь помещику при себе холопей, о сем узаконения не было; каждый брал с собою столько, сколько

мог, или сколько хотел: зависело сие от их достатка и воли. Холопы наши на войне при своих помещиках ту же отправляли должность, что при древних рыцарях их щитоносцы-écuyer, ы*. У бояр должность сию отправляли их знакомцы и дети боярские: первые обыкновенно были дворяне, а последние вольные люди, между коих были также и беспоместные дворяне и князья.

Не ясно ли из сего всякий видеть может, сколь государственные постановления, существовавшие во времена предков наших, по сему предмету были превосходны. Как ценили они человечество, как защищали собственность и охраняли безопасность гражданина; как холоп, крестьянин, владелец уравнены были в законе, как наблюдаемы были права каждого из них, как закон поддерживал равновесие во взаимных обязанностях сих сословий и, наконец, как сохранялся порядок во всех частях. Прекраснейшие постановления! вы изменились со временами, вам последовали другие, кои не токмо не приносят чести просвещенному нашему веку, но унижают человечество. Ужели предосудительно будет обратиться к первоначальному источнику и почерпнуть из него законы, которые некогда составляли блаженство русского народа и которых он теперь лишен? В России государь есть законодатель: он все может, чего ни пожелает; и какой монарх находил препятствия к соделанию добра? Снять оковы с народа, возвратить людей человечеству, граждан государству есть такое благодеяние, которое делает царей бессмертными, уподобляет их божеству и налагает дань благодарности на потомство, которое в замену их тронов воздвигает им жертвенники.

Ежели мы состояние крестьян настоящих сравним с состоянием наших старинных, то какое разительное между ними найдем различие! Те были вольны, а наши рабы; те имели собственность, а наши не имеют оной, потому что закон ее не охраняет; те имели права свои, а наши лишены их. Согласен я, что состояние некоторых из них, принадлежащих добросовестным и справедливость любящим владельцам, не так худо; что они довольны судьбою своею в сравнении себя с другими, забывают свою неволю и благословляют своих помещиков. Но зато какое множество есть таких, которые находятся в самом бедственном состоянии, в отчаянии влачат дни свои и проклинают жизнь свою и своих господ. [*Исправить сие зло и возвратить земледельцу его достоинство состоит во власти правительства.* Владельцы! позвольте мне спросить вас: справедливо ли предавать труды, попечения, судьбу крестьян ужасной неизвестности, повсеминутному страху лишения своих приобретений? Скажите, не для того ли мы живем в

* Точнее: конюшие *Ред.*

обществе, чтоб друг другу доставлять взаимную помощь, взаимную безопасность, взаимный покой и счастие? Взгляните на себя; вы увидите, что они такие же люди, как и вы; и когда вы ропщете против оказываемой вам несправедливости, когда вы готовы мстить покусившемуся на вашу собственность и когда плоды трудов ваших почитаете неотъемлемым вашим приобретением, то ужели достойны осуждения крестьяне, имеющие одинакие с вами от природы чувства, когда жалуются на жестокость некоторых бесчеловечных владельцев, вопиют против несправедливости, отъемлющей у них, сверх наложенной на них подати, плоды труднейших работ их и промыслов?]* Все сие доказывает, что собственность столь же для земледельцев необходима, сколько ее почитают для себя необходимою помещики; что без нее законы не могут иметь основания, следовательно и приступать к составлению их, не утвердя оной, было бы напрасно. Наконец, признавши *собственность*, нельзя уже лишить крестьян и прав, с нею сопряженных. Итак, рассмотрим, в чем состоять должно и то и другое?

Помещичьи крестьяне в таком находятся теперь положении, что они никакой не имеют собственности, выключая величайших трудов их, прилагаемых ими на приобретение вещей, которых при всем том не могут назвать своими, потому что сами, будучи господскою собственностию, нисколько в себе не уверены. Сие ужасное злоупотребление власти помещиков над их крестьянами, [сия непомерная над ними помещиков власть, сие рабство, в котором они их содержат,]* сей бесчеловечный торг, который они ими производят, столько унижают Россию пред всеми европейскими державами, что без душевного прискорбия нельзя произнести сей истины. Горестно, весьма горестно для россиянина, свое отечество любящего, видеть в нем дела, совершающиеся только в отечестве негров, коих, однакож, несчастную участь просвещенная Англия, несмотря на прибыльный ими торг, лучше желает облегчить, лучше желает лишиться всех получаемых ею чрез то выгод, нежели итти против природы, противу прав человечества, столько ею почитаемых и приемлемых ею в основание всех ее постановлений. Вот поистине поступок, которым Англия приобретет бессмертную славу и который в летописях мира сохранится в пример человеколюбия. Равномерно встревожилась чувствительность внимательного ко всему монарха нашего, увидя, что наряду с животными и люди публиковались в продажу. Мгновенно истребил он сей гнусный обычай, недостойный его царствования. Россия! каков быть должен для тебя полдень сего царствования, когда заря его так прекрасна!

---

* Взятое в прямые скобки было вычеркнуто цензором. *Ред.*

Собственность, будучи двух родов, *движимая* и *недвижимая*, не в малое приводила политиков затруднение, когда рассуждали, какую собственность следовало бы дать крестьянам, не имеющим никакой?* Я с моей стороны желал бы, *сообразуясь с настоящими обстоятельствами*, чтобы господские крестьяне имели *хотя движимую собственность* на таком основании, дабы, платя помещикам на них положенное, могли они уже совершенно по своей воле, без страха, располагать ею и были уверены, что уже никто у них оной отъять не может. Следовательно, сия собственность не только должна быть наследственна и неприкосновенна, но помещик не должен нисколько притеснять крестьян своих в тех приобретениях, которые они вновь сделать пожелают. В обеспечение сего нужно *непременно* дать крестьянам *возможность* к сбережению сей своей собственности,** и сия *возможность* есть то *право*, посредством которого крестьянин *не только в случае насилия, делаемого ему его господином в его имении, может прибегнуть к законам и требовать их защиты, но которое простираться должно и на все то, чего требуют от них помещики противно законам, и также на все бесчеловечные поступки, которые они от некоторых несправедливым образом претерпевают*. Добрые и честные владельцы не должны огорчаться сим. Законы учреждаются не для добрых, ибо если бы все люди бы[ли] добры и честны, тогда бы вовсе не было надобности в законах, единственно необходимых для обуздания людей неблагонамеренных и злых. Вот что разумею я *под собственностию крестьянскою и правами крестьян на сию их собственность*. Положивши таким образом начало оной, сколь, впрочем, оно ни недостаточно и ограничено, со всем тем впоследствии произведет великую пользу. За первым шагом последует другой. Мудрые постановления и время распространят сие начало, которое при самом появлении своем прогонит уныние из жилищ земледельческих, бодрость оживит души крестьян, трудолюбие возбудит

---

* На заданный в 1766 г. от Вольного Экономического Общества вопрос: *что полезнее для общества, чтоб крестьянин имел в собственность землю или только движимое имение; и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны?* Г. Беарде де-ла-Бей, доктор прав церковных и гражданских в Ахене, прислал в ответ на оный сочинение, которое сим обществом удостоено награды, состоящей в 100 червонных и золотой медали, и которое действительно заключает в себе все, что только глубокие сведения, основательные рассуждения и любовь к человечеству, изображенные в приятном слоге, произвести могут. Смотри труды Вольного Экономического Общества, 1768 год, часть VIII.

** Она заключаться должна в скоте, птицах, изделиях, в ремесленных произведениях, орудиях для различных работ, ими употребляемых, и других хозяйственных вещах; также принадлежать сюда должны хоромные, гуменные и прочие строения, имения, то средства к приобретению оного означены в высочайшем манифесте от марта 5-го 1803 года.

в них свою деятельность, уверенность в самих себе даст им новые силы, и радость, исполнивши сердца их, в веселой улыбке изобразится на их мрачных лицах.

Следовательно, не находя никакой возможности к дарованию крестьянам прав в рассуждении их собственности и безопасности, мною выше означенных, равномерно и к изданию законов по сему предмету для них необходимых*, предположим, что сии законы уже существуют, что спасительное оных влияние на всех равно уже распростирается, а предположив сие, приступим к просвещению и рассмотрим, в чем оное относительно к земледельческому состоянию и других заключаться должно?>

Дабы самым вернейшим образом достигнуть желаемой цели, дабы несомнительный успех увенчал сие толь человеколюбивое предприятие, то для сего необходимо нужно положить наперед твердое основание. Для чего не нахожу я лучших способов, как чтобы каждому из сих четырех государственных состояний определить прежде *главнейшие его добродетели, долженствующие служить средоточием его просвещения, и из круга коих не должно оно выходить*, ибо если ревность и усердие не перестанут сопровождать исполнение сих добродетелей, тогда общество в изобилии соберет сладкие плоды оного, и пользы, от такого учреждения произойти могущие, явятся в полном своем блеске.

И потому *трудолюбие* и *трезвость* нахожу я самыми приличнейшими добродетелями для земледельческого состояния; *исправность* и *честность* — для мещанского**; *правосудие* и *и всегда готовое пожертвование собою пользам отечества* — для дворянского и, наконец, *благочестие и примерное поведение* — для состояния духовного.

Сии добродетели почитаю я для сих сословий *исключительными*. Что ж принадлежит для других нравственных качеств, то оные для всех состояний должны быть общи: ибо чем владычество добронравия сильнее распространяется на всех граждан, тем благоденствие государства тверже и знаменует совершенство своего правления.

---

* Каким же образом приступить к составлению сих законов и какие нужно для сего принять меры: все это не мое дело, но дело правительства. Я с моей стороны старался только показать необходимость безопасности и собственности крестьян, с коим сопряжены бесчисленные государственные пользы; определить, в чем состоять должна сия собственность, и до чего простираться должны права крестьян. Вся невозможность к изданию должных для сего учреждений и предписаний исчезнет, когда только взглянем на состояние старинных русских крестьян, которые в рассуждении сего имели все нужные постановления и законы, и когда прочитаем прекраснейшие распоряжения, сделанные недавно для крестьян лифляндских, в обеспечение их собственности, их прав и их благосостояния.

** Под сим разумею я вообще средний род людей в России.

Итак, из системы предлагаемого мною образования видеть можно, что оная единственно клонится к тому, дабы граждан сделать *наперед добродетельными*, а потом уже *просвещенными**. Дабы приуготовить для России россиян, а не иностранцев; дабы приуготовить полезных сынов отечеству, а не таких людей, которые бы гнушались тем, что есть отечественное, и презирали бы свой собственный язык. Нет, такие люди недостойны называться россиянами, недостойны украшаться славою, с сим именем сопряженною. Сердце россиянина должно исполнено быть благородной гордости. Россиянин должен чувствовать превосходство свое пред всеми гражданами чуждых стран; ибо он есть член такого государства, которое обладает полсветом и которое монархом своим имеет Александра. Я уверен, что если Россия получит свойственное ей образование, то есть когда физическим ее силам будут соответствовать силы нравственные, тогда держава сия утвердит благоденствие целого мира.

Теперь следует рассмотреть: какую пользу внушение предлагаемых мною добродетелей принести может? Исследование сие начну я тем самым порядком, каковым оные мною выше означены.

Россия по местному положению своему, без всякого противоречия, требует преимущественнейшего внимания и поощрения относительно к земледелию, от усовершенствования и успехов коего зависит цветущее состояние сея державы. Но как земледелие чрез *трудолюбие* только процветать может, чрез трудолюбие, которое дает жизнь, крепость и силу государственному телу, то для сего и надобно, сколько возможно, стараться добродетель сию поселять в земледельцев, внушать им, что *трудолюбие* может доставить им обилие, довольство и благосостояние. Впрочем, ежедневный опыт слишком научает нас, что трудолюбие без *трезвости* есть то же, что тело без души; что добродетели сии взаимно себя поддерживают и сохраняют; что одна без другой никак существовать не могут. Равным образом известно и то, что для человека ничто столь не вредно, как невоздержание. Ибо оное, ослабляя тело, в преждевременную повергает старость, изнеможение и сокращает жизнь. Невоздержание хотя и производит некоторые скоропреходящие наслаждения, но зато впоследствии навлекает продолжительные несчастия. Излишество вина делает человека, предавшегося оному, дикообразным, к трудам неспособным, препятствует размышлению, отвлекает от исполнения должностей, делает нерадивым, бесполезным, презрительным и не

---

* В сем случае я совершенно одинакового мнения с г. *Виреи*, который изданием своего сочинения: De l'education publique et privée des Français открыл много полезнейших истин относительно к воспитанию, могущих пролить свет на занимающихся сим предметом.

редко сопровождает к преступлениям самым ужаснейшим. Следовательно, сколь нужно поселять в земледельцев охоту к *трудолюбию* и поощрять их к оному, столь не менее того нужно внушать им пользы *трезвой жизни* и отвращение к пьянству, которое, причиняя собственное их несчастие, распространяет зло на целое государство. Сих причин, кажется мне, довольно, чтоб увериться, сколь *трудолюбие* и *трезвость*, сии толь необходимые для сего сословия граждан добродетели, крепко между собою соединены быть должны.

Какой россиянин, отечество свое любящий, может равнодушно смотреть на печальные картины, взору его представляющиеся! Как возможет он утаить горестные чувствования, исполняющие сердце его! Нет, излить оные пред благостию своего монарха есть священная его обязанность. Никакая мысль, никакое наблюдение, касающиеся до польз государственных, не должны быть им сокрыты; ибо все минуты жизни россиянина должны быть беспрерывными пожертвованиями для благ России, для счастия его отечества.

Взгляните на поселянина, который, окруженный семейством своим, спешит во храм для принесения сердечной жертвы всещедрому богу, ниспославшему ему обильную жатву. Посмотрите, какая радость сияет на лице его, как отражается оная на малолетных его детей, его опереживающих. Видите, как ускоряет он шаги свои, приближаясь ко храму. Но!.. Какая вдруг перемена!.. Глаза его покидают храм и устремляются на другой предмет, близ оного находящийся! Он видит многих товарищей своих, из коих некоторые с восклицаниями простирают к нему свои руки, другие идут поспешно к нему навстречу. Мысли его развлекаются, благоговейные чувствования в сердце его умолкают, владычество примера торжествует над оными; он следует за товарищами своими, и двери не в храм истинного бога, творца зримых нами миров, но двери в шумное и бедственное жилище Бахуса отворяются, где пред кумиром корыстолюбия в бесчувственном упоении платят они дань на счет своих трудов, своего здоровья и, что всего драгоценнее, на счет самой нравственности!

Такое зрелище, без сомнения, заслуживает внимания со стороны правительства. Ибо оное, заключая в себе физическое и нравственное зло, противореча великой цели истинного просвещения, требует, дабы приняты были в рассуждении сего полезнейшие меры. Один знаменитый писатель прошедшего века говорит, что „правительство учреждено для того, чтобы подкреплять нравственность; коль скоро оно ей противоречит, тогда становится бесполезным и теряет власть свою над сердцами“.

Исправность и честность должны быть особенными добродетелями для состояния купеческого. Опыт подтверждает необ-

ходимость оных. Англичане и голландцы, служащие для всех торговых народов примером, почитают *исправность* душою коммерции. Там, где оная наблюдается, успехи несомнительны. Посредством ее получает торговля верный и твердый ход; *исправность* образует ее характер. Россия, коея торговля начинает выходить из своего младенчества, коея первейшие коммерческие державы ищут союза и дружества, сим самым доказывает как богатство своих произведений, так и влияние, которое имеет она на иностранные государства. Следовательно, весьма нужно, чтобы российское купечество возымело истинный торговый дух, питающийся и поддерживающийся только сею *коммерческою исправностию* и который в тот же час начинает исчезать, коль скоро теряет она свою деятельность. Но *исправность* без честности, равно как и *честность* без *исправности*, надлежащим образом существовать не могут. Купец, если не честен, находится всегда на краю пропасти. *Честность* только раждает доверие, толико необходимое для коммерции. Слово честного купца принимается за наличный капитал. Но всего желательнее честность потому, что она самым сильнейшим образом противится тем подлым поползновениям, к которым только гнусное корыстолюбие и бесчестие стремиться могут. Вот причины, требующие, дабы добродетели сии внушаемы были состоянию мещанскому, долженствующему почитать их для себя священными и украшаться ими.

Главнейший порок нашего купечества состоит в том, что купцы не имеют совсем сей, так сказать, *взаимной вспомогательности* и никогда не стараются поддерживать друг друга в несчастных случаях. Напротив того, богатый, видя неудачу и готовящуюся гибель бедного, не только не подаст ему руку помощи, но еще спешит притеснить его, дабы воспользоваться его несчастием.

Купцы, довольно разбогатевшие, гнушаются быть купцами. Состояние сие кажется уже для них низким. Они хотят быть дворянами. Странное желание! Со всем тем они желают сего и желают потому, что не почитают сего для себя невозможным. И подлинно, достигают цели своей, получают чины и делаются дворянами. Но что сказать о сих новых дворянах? что скажут они сами о себе? Вместо ответа покажут они патент, покажут дворянскую грамоту и сто или двести тысяч рублей, вынесенных ими вместе с перерождением своим из массы общих купеческих капиталов. Сколько заслуг! Но какое последствие бывает от таковых оказанных им благодеяний? Обыкновенное. Господа купцы-дворяне, перейдя из деятельной и трудолюбивой жизни в состояние, по мнению их, гораздо блистательнейшее, делаются тунеядцами, праздными и бесполезными людьми. Живут без всяких общественных должностей и не зная обя-

занностей, с сим новым званием их сопряженных, всячески от них уклоняются, довершая тем самым свою, в сословии сем, ничтожность.

Чины и дворянское достоинство не могут почесться наградою, приличною для состояния купеческого. Сии знаки почести должны принадлежать только тем, которые находятся в службе гражданской или военной. Каждый разряд людей должен иметь свойственные ему преимущества. И потому, когда отличий, существующих в купеческом звании, не довольно, в таком случае законодатель может учредить еще другие, оному соответствующие. *Права* граждан, без сомнения, должны быть все *равны*, но *преимущества* их не могут быть одинаковы. Один из главнейших предметов законодательства есть тот, чтобы заставить каждого общественного члена любить то состояние, в котором он находится; чтобы купец, ремесленник, земледелец и проч., в ревностном исполнении должностей своих поставляя всю свою славу, были уверены, что хорошее поведение, честное имя и добродетели не имеют степеней различия, но требуют от всех равного уважения.

Рассмотрим теперь пользы добродетелей, назначаемых для состояния дворянского, кои суть: *правосудие и всегда готовое пожертвование собою пользам отечества*. Прекраснейшие обязанности! сколь священны должны вы быть для сердца истинно благородного! Каждый шаг ваш есть шаг к добродетели, каждая черта ваша врезывается в сердце и остается в нем навеки. Дворяне! сколь блистательна степень ваша! Сколь отличными преимуществами пользуетесь вы в обществе пред прочими гражданами! Монархи вверили вам залог самый драгоценнейший,—они вверили вам подобных вам человеков, подобных вам членов общества! Сия милость есть свыше человечества. Явите себя достойными оной! Величие души должно быть вашим украшением. Облекитесь в оное, гордитесь им,— вот гордость, которая может только быть вам позволена, ибо она истекает из благороднейшего источника, из возвышенности душевной. Дворяне! возлюбите правосудие, наблюдайте его; да будет оно любезнейшим чувством вашим в рассуждении подвластных вам. Знайте, что расстояние, между вас и ими находящееся, разделяет только два сердца, что природа никогда не теряет своего владычества и что ваше завсегда уступить ему должно <Знайте, что их покой есть ваше счастие, их счастие ваша слава, их к вам любовь ваше бессмертие!

Правосудие, говорит Пифагор, *есть соль жизни*. И подлинно, оно все сохраняет, сберегает все от повреждения; делает ненарушимым и священным для нас как особу, так и имущество других. Один лишь человек есть господин над самим собою: для безопасности своей живет он в обществе. Следовательно, общество должно каждого из членов своих обеспе-

чить наслаждением самим собою, обеспечить свободное употребление законных его прав и владение вещей, чрез трудолюбие и промышленность им приобретаемых. Из чего следует, что никакая власть на земли не имеет права лишить человека *свободы* <выключая преступников>, *которая не иное что есть как способность трудиться для счастия своего согласно с правосудием*; ни *собственности*, под коею разумеется все, что только человек имеет или доставляет себе чрез свои попечения, дарования, проворство. — Человек приобретает справедливые права на все те вещи, которые, дабы сделаться таковыми, каковыми они суть, требовали употребления личных его способностей. Его работа сливает его, так сказать, с вещию, которую брал он на себя труд образовать, усовершенствовать, сделать полезною, хотя бы то было для себя, хотя бы то было для других. Без безопасности, без свободы, без собственности общество делается для нас совершенно бесполезным, и жизнь гражданственная потому только для нас выгодна, что она защищает права сии от несправедливости и насилий. *Правосудие* есть основание общественного и частного благоденствия: люди потому только порочны и несчастны, что они несправедливы; все нравственные добродетели основаны на правосудии.

Равным образом от кого государь, от кого отечество должно требовать более услуг, более пожертвований, как не от дворянина, как не от того, который отличнейшими преимуществами пользуется в обществе и на которого неисчетные милости лиются с престола? Быть ежеминутно в готовности приносить жизнь свою для пользы отечества, поставлять главною целию своею любовь к общему добру; отдалять, истреблять все противящееся оному и питать в груди своей сей благородный жар, сей жар, который служит источником всех великих деяний, который торжествует над самим временем, не хладеет от веков и который, пребывая в великодушных подвигах, мир украшающих, мгновенно сообщает силу свою, мгновенно воспламеняется в чувствительных и патриотических сердцах, — вот чувствования, вот священные должности, исполнением коих обязан дворянин и званию своему, и монарху, и отечеству.

Но такой дворянин, который породою своею, а не числом оказанных им отечеству услуг доказывает свое превосходство; такой дворянин, который в достоинстве предков своих, а не в своих собственных поставляет всю свою знаменитость; такой дворянин, который, заключась в самого себя, ненавидя истины, насмехаясь над добродетелью и имея подлую душу, думает посредством богатства своего иметь право на почтение к себе других, — такой дворянин совершенно противоречит сему названию, доказывает презрительное свое невежество,

свою тщету и наглую надменность. Такой дворянин недостоин называться дворянином, недостоин украшаться сим отличием, недостоин пользоваться правами, с дворянским званием сопряженными. Но, к несчастию <у нас, как и везде*>, такого рода дворян, то есть дворян по имени, едва ли не больше, нежели дворян по сердцу или по достоинствам душевным. Сие самое объясняет уже необходимость добродетелей, назначаемых мною для состояния дворянского, тем более, что оно по влиянию, имеемому им на уделы, ему принадлежащие, то есть на большую часть народа, может, если только обращено будет к *правосудию* и *готовому пожертвованию собою пользам отечества*, надежнее и вернее споспешествовать благодетельным намерениям монарха.

Наконец, остается рассмотреть: почему *благочестие* и *примерное поведение* должны быть преимущественными добродетелями для состояния духовного?

Сие неоспоримо, что тот, на которого возложена священная должность проповедывать слово божие, который обязан быть наставником в вере, научить евангельским добродетелям, без коих никак невозможно надлежащим образом исполнять должностей гражданских; тот, коего устами объясняемы быть должны премудрость, величие, благость и прочие божественные свойства всемогущего творца, образующие душу и сердце христианина; тот, который паству, ему вверенную, должен вести по пути добродетели, смотреть за ее благонравием, подкреплять ее в вере, вразумлять ее в ее недоумениях, объяснять ей, что религия доставляет истинное блаженство человеку; словом, тот, коего сан и обязанности требуют толикого знания и добродетелей для внушения их другим, тот непременно должен сам исполнен быть благочестия, должен быть сам хорошего поведения, дабы еще более действовать на людей примером своим, нежели поучениями.

Определив таким образом добродетели каждого из четырех главнейших государственных сословий, доказав необходимую пользу внушения каждой из сих добродетелей и тем самым приуготовив твердое основание, на котором должно воздвигнуто быть величественное здание просвещения гражданственного, всякий из сего ясно видеть может, что когда все сии состояния столько различны между собою по существу своему, столько различны по своим добродетелям, то, без сомнения, должны они уже различествовать между собою как в степенях, так и в образе своего просвещения.

* „Вымарано цензором“ (примечание переписчика. — *Ред*).

РУКОВОДСТВО К ПРОСВЕЩЕНИЮ ГЛАВНЕЙШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОСЛОВИЙ В РОССИИ, КОИ СУТЬ: ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ, МЕЩАНСКОЕ, ДВОРЯНСКОЕ И ДУХОВНОЕ.

Гражданское просвещение должно иметь главнейшей целью доставление каждому нужных познаний, дабы приличным образом исполнять должности, для которых он призван в общество.

Но как сии должности не могут быть одинаковы, потому что общество заключает в себе различные классы граждан, то из сего следует, что каждый общественный член должен иметь просвещение, соответственное состоянию, в котором он находится, ремеслу, которым он занимается, и роду жизни, который он ведет.

Если мы бросим взор наш на состав многочисленного народа, коего все члены соединены между собою общим условием, то увидим, что все граждане в оном занимают места общественной пользы и что правительство, наилучшим образом устроенное, что народ наисчастливейший есть тот, в котором каждый гражданин находится на своем месте, в котором никто из них не забыт, где должности во всех их степенях уважены и где правительство, обо всем пекущееся, сохраняет порядок во всех частях и защищает права каждого разряда граждан.

Приняв сие за основание и уверясь, что просвещение не должно быть для всех граждан одинаковое, остается теперь определить, в чем именно оное, в рассуждении вышеупоминаемых мною состояний, заключаться должно? Я начну по порядку из оных и, не входя во все подробности, означу только главнейшие правила, могущие послужить основанием для составления тех книг, которые необходимо нужно будет приготовить для единообразного в училищах учения и нравственного граждан образования.

Добродетели, определяемые мною для каждого из сих сословий, должны быть поставлены девизами на всех *нравственных уставах*, которые для них издать нужно будет.

И потому:

1) *Трудолюбие* и *трезвость* да будет девизом на уставе, назначенном для училищ земледельческих.

2) Но как таковый устав не на иной какой конец издан быть должен, как чтобы самым удобнейшим средством служить к истинному просвещению земледельца, то из сего следует, что первейшее познание земледельца должно состоять в познании своего звания и своих должностей. Ибо что может быть к нему ближе самого себя? Почему и нужно прежде всего определить:

3) Что такое есть земледелец?

4) Сколько есть родов земледельцев?

5) Что значат они в государстве?

6) Что такое есть государство?

7) Как оно именуется?

8) Какой имеет оно род правления?

9) Показав, что оно монархическое, или самодержавное должно определить:

10) Что такое есть монарх, или государь?

11) В чем состоит верховная власть?

12) Какие суть еще учрежденные власти или начальства в России?

13) Посредством чего оные действуют?

14) Познание сих начальствующих властей необходимо для земледельцев нужно, потому что они в беспрерывных находятся с ними отношениях. Одни предписывают, другие исполняют.

15) Отсюда проистекают взаимные обязанности: *обязанности власти* и *обязанности подчинения.*

16) В чем состоят и те и другие?

17) Кто несет общественные обязанности, тот должен также иметь и права свои.

18) Следовательно, земледелец не должен быть лишен прав, ему принадлежащих.

19) Нужно определить, что такое есть право и в чем оно состоять должно.

20) Но как из всех гражданских прав самое первейшее и самое священнейшее есть право собственности, то из сего следует, что земледелец должен иметь собственность, что собственность его должна быть неприкосновенна и охраняемая законом.

21) Тут следует сказать: что такое есть закон и кому принадлежит власть предписывать оные?

22) Что такое есть собственность и как оная приобретается?

23) Определив таким образом обязанности, права, собственность земледельцев, нужно наипаче внушать им пользы и счастие, сопряженные с трудолюбивою и трезвою жизнию.

24) Наконец, как никакая нравственность без религии существовать не может, то для сего надлежит дать земледельцам чистое понятие о боге, о вере и должностях христианина.

Вот главнейшие правила, которые почитаю я довольно достаточными к составлению устава для нравственного образования граждан сего сословия.

По сему уставу должно обучать чтению (возложив должность сию на приходских священников), что принесет двоякую пользу, ибо учащийся по оному не только научится читать, но непременным образом познает и те должности, которые некогда обязан он нести в обществе, познает, что такое он есть и к чему предназначается. Следовательно, нечувствительно образуется со стороны нравственности.

Приходские училища должны быть для всех открыты, несмотря ни на лета, ни на возрасты.

РАССМОТРИМ ТЕПЕРЬ, В ЧЕМ СОСТОЯТЬ ДОЛЖНО УЧЕНИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ

Как жребий земледельцев есть трудиться и обрабатывать землю, из которой произрастающие плоды питают всякого состояния людей, то из сего следует, что единственною целию их должно быть земледелие, которое дотоле не придет в цветущее состояние, дотоле не достигнет своего совершенства, доколе правительство с своей стороны не употребит на то всего своего внимания, своих пособий и поощрения.

Итак, когда земледелие есть единственная цель земледельца, то весьма естественно, чтоб и учение его не на иной какой предмет обращено было, как на предмет, сему предназначению его соответственнейший. Словом, земледельца должно обучать земледелию.

Земледелие, как и все науки, имеет свои правила, может обогащаться опытом всех народов, и тщетно было бы ожидать того от времени, что познания нам доставить могут. Ибо привычка в полевых работах, употребляемые способы, из рода в род переданные, удаляют даже самую мысль усовершенствования.

Для чего должно, чтобы сведущие люди исследовали без предрассудков, испытывали без страсти и предлагали без исступления все, что земледелие представить может со стороны открытий и усовершенствования. Дабы убедить недоверчивого и предубежденного земледельца, должно показать ему следствия, от опытов происшедшие, должно, чтобы он ясно видел и уверился, что то, что ему предлагаешь, пред тем, чему уже он привык последовать, несравненно лучше, удобнее и выгоднее. Сим только образом можно распространять полезные средства, коих успехи будут несомнительны.

Образование сих земледельческих или приходских училищ должно быть столько же просто, как и предмет их.

И поэтому два класса почитаю я достаточными для составления оных. *Первый класс* иметь будет предметом сельскую механику, то есть сельские строения и все механические орудия, могущие служить в пользу и облегчение земледелия. *Второй класс* будет иметь предметом свойства и обрабатывание земель; также свойства и сохранение семян, сбережение плодов; работу естественных и искусственных лугов, болот, вычищение земли для соделания ее удобною к хлебопашеству; наконец, воспитание, приведение в лучшее состояние скота и искусство лечения оного.

Если учение сим предметам присовокупится к учению чтения, письма и первых действий арифметики, как то во II главе в 32 параграфе предварительных правил народного просвещения предписано, и когда оное, наподобие выше предложенных

мною для составления нравственного устава правил, приведено будет в систематический к удобнейшему преподаванию порядок, тогда граждане сего сословия получат все нужные к просвещению своему способы. Государство в сих всеобщих питателях найдет со временем истинных своих сынов, которые, имея сердце, образованное нравственностью, а ум учением, будут надлежащим образом исполнять свои должности, с пользою служить своему отечеству, питая в душе своей благодарность к монарху, об них пекущемуся.

ПРАВИЛА, РУКОВОДСТВУЮЩИЕ К ПРОСВЕЩЕНИЮ МЕЩАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Мещане, составляя средний род людей в России, пользуясь вольностию, не причисляются ни к земледельцам, ни к дворянству. Государство от граждан сего состояния много может ожидать добра, если только получит оно приличное направление, то есть когда правительство обратит на него свое внимание и поставит его на ту степень общественной пользы, от которой оно теперь столь далеко еще отстоит.

Мещане столько же имеют нужды в нравственном образовании, сколько и в обучении наукам, к званию их принадлежащим. Следовательно, надобно для них также заготовить *нравственный устав*, поставя на нем девизом добродетели, для них назначенные, и который по многим отношениям заключал бы в себе правила, предложенные мною выше для устава земледельческого, с тою только разностию, что правила, коими будут руководствоваться в составлении сего устава, должны как можно ближе применены быть к их состоянию. Например, они могут быть следующего содержания:

1) Мещане прежде всего знать должны, что такое есть мещанин.

2) Какое место занимает он в государстве?

3) Какие суть его в рассуждении государства обязанности?

4) Какие предоставлены ему в оном права и привилегии?

5) Что нужно наблюдать ему, дабы сохранить оные, и чего избегать, дабы их не лишиться.

6) Мещанин обязан также знать все отечественные постановления, потому что сие составляет важнейшую часть его должностей.

7) Равномерно *любовь к отечеству* и к общественному добру должна составлять драгоценнейшее чувство души его. Бессмертный *Минин* может в сем случае руководствовать мещан по пути, ведущему к сим благороднейшим предметам*.

* История свидетельствует, что Минин, одушевленный любовию к отечеству, для спасения оного пожертвовал всем своим имением и своею жизнию.

8) Надобно стараться возбуждать в мещанах любовь к их состоянию, сколько возможно привязывать их к оному, и дабы приобретение богатства не раждало в них отвращение к их званию, как то из опытов видно, что почти все разбогатевшие купцы гнушаются быть купцами и всячески изыскивают случаи, если не себя, то детей своих поделать дворянами.

9) Нужно внушать им, что не в титлах состоят истинные достоинства, но в честности и бескорыстии, без коих никакие титла не защитят от бесславия и презрения.

10) Определив права, привилегии и обязанности мещанина в рассуждении государства, надлежит показать ему, чем обязан он в рассуждении своего ближнего, как подобного ему члена общества.

11) Для чего наставление в религии должно составлять часть нравственного устава.

12) Наконец, сколько возможно стараться надобно поселять в мещан, купеческому званию себя посвящающих, назначаемые для них добродетели, то-есть *исправность* и *честность*, исполнение коих может только утвердить славу их и их благосостояние.

Сии правила, по мнению моему, необходимы к составлению нравственного для купцов устава, который может также служить и для мещан, различного рода ремеслам, искусствам и художествам себя посвятивших. Ибо сие неоспоримо, что самый последний ремесленник должен непременно знать как права свои и обязанности в рассуждении государства, так и обязанности свои в рассуждении ближнего, и что добронравие и трудолюбие суть такие добродетели, без которых он ни благосостояния, ни счастия приобрести не может. Впрочем, издание сего устава всеобщую принесет пользу, ибо родители, обучающие у себя в доме чтению детей своих, конечно, предпочтут оный всем прочим книгам, по необходимости теперь ими для обучения чтению употребляемым, и, следовательно, до определения еще детей своих в училища, приуготовят уже чрез сие половину желаемого дела.

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ МЕЩАН, ПОСВЯТИВШИХ СЕБЯ КУПЕЧЕСКОМУ ЗВАНИЮ

Напрасно было бы исчислять пользы, получаемые государством от торговли. Для всякого, кто хотя сколько-нибудь занимался сего рода предметом, оные ощутительны. Торговля почесться может общею всех народов стихиею, ибо нет нации, которая бы более или менее не отправляла оной. Россия, как по пространному своему владычеству, так и по богатству природных своих произведений занимая первейшее между всеми державами в свете место, по сему самому тре-

бует, дабы правительство с своей стороны возможнейшее употребило внимание на усовершенствование сей толико важной государственной отрасли. Но как успехи торговли зависят от степени просвещения граждан, оную производящих, и что никакое полезнейшее учреждение, никакое намерение законодателя без сего просвещения не могут иметь надлежащего исполнения, то сие самое объясняет уже необходимую нужду в заведении таких училищ, которые бы служили особенно к нравственному обучению купцов наукам, званию их приличествующим. Словом, заведение коммерческих училищ столько же для России нужно, сколько и самая торговля.

В 6 пункте 1 главы предварительных правил народного просвещения назначается в каждом уездном городе быть *по крайней мере одному уездному училищу*; следовательно, сим училищам определенного числа нет, и что их может быть и более одного. Я с моей стороны за весьма полезное почитаю, когда в некоторых городах, смотря по *местному их положению* и по *состоянию их жителей*, учреждено будет по *два училища*, из которых в одном обучали бы мещан, различного рода ремеслам, искусствам и художествам себя посвятивших, а в другом обучали бы только тех, которые определили себя званию купеческому. И сие последнее по самому существу своему составит уже *купеческое*, или *коммерческое училище*.

Распоряжение учения в сих училищах может быть следующее:

В первом из оных, то есть в *училище мещанском*, долженствующем состоять из двух, нижнего и верхнего, классов, в нижнем классе преподавать надлежит:

1) Российское чтение, чистописание.

2) Также чтение и чистописание языка местного, как-то: польского, немецкого, татарского и проч.

3) Грамматику всех сих языков.

4) Первую часть арифметики.

5) Частное познание Российской империи.

6) Сокращение и главные эпохи российской истории.

7) Введение во всеобщую историю и географию.

В верхнем классе:

1) Вторую часть арифметики.

2) Геометрию и тригонометрию.

3) Математическое и физическое познание земного шара.

4) Физику.

5) Естественную историю и технологию.

6) Практические знания, полезные для местной промышленности и потребности края.

Во втором училище, то есть *коммерческом*, сверх сих вышеозначенных предметов обучать нужно:

1) Чтению, чистописанию и грамматике аглинского языка.

2) Алгебре.

3) Купеческим счетам всех родов.

4) Простой и двойной бухгалтерии.

5) Истории коммерции и навигации, познанию торговли и товаров и, наконец,

6) Сокращению всего человеческого познания и диэтетике.

Если в которых уездных городах не будет надобности в *двух училищах*, в таком случае можно все вышеприсанные *учебные предметы преподавать в одном училище*, распорядя учение оным на пристойное число классов, через что как ремесленники, так и купцы получат все нужные способы к своему просвещению.

Не бесполезно заметить здесь, что воля, предоставленная учителям в некоторых училищах следовать собственному их в учении методу, и что неимение книг, долженствующих нарочито быть от правительства изданными к руководствованию учителей в единообразном преподавании наук,— все сие не только не может произвесть успехов, от училищ ожидаемых, но даже лишает надежды увидеть оные в надлежащей их силе. Ибо хотя и есть такие учителя, на достоинства и способности коих положиться можно, однакоже большая часть из них таких, которым произвольного выбора авторов для руководствования своего обучения предметам никак вверить не можно. Сие есть дело правительства, имеющего в руках своих все нужные для того способы, и которое обязано стараться об издании классических книг, по коим бы должны были обучать учители, наблюдая притом сколько возможно *единство* в методе и правилах.

ПРИСТУПИМ ТЕПЕРЬ К РАССМОТРЕНИЮ, В ЧЕМ ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДВОРЯН

Правительство во все времена наиболее обращало внимание свое на сие государственное сословие. Между всеми благодетельными его в пользу дворян заведениями не оставлены были и те, которые могли только служить к их просвещению. Для дворян учреждены были корпусы, училища, когда все прочие гражданственные состояния были правительством забыты и пребывали во мраке своего ничтожества. Наконец, время, которое на все простирает свое владычество, все преобразует, видя несправедливость, угнетавшую столь долго нижнего разряда граждан, державши их в самом глубочайшем невежестве, восстало против оной и, желая утвердить благоденствие России, даровало ей Александра, сего кроткого, человеколюбивого монарха, который едва только взошел на престол предков своих и уже гений просвещения обтекает

пространство пределов российских, переходит из одного состояния в другое и озаряет все оные благодетельным светом своим.

Дворяне, без всякого сомнения, требуют преимущественнейшего пред прочими просвещения, поелику отечество должно находить в них как храбрых своих защитников, искусных и добродетельных героев, так и мудрых, честных, справедливых владельцев и судей. Но посредством чего можно посеять в них сии толь необходимые качества? Единственно посредством воспитания, отвечаю я.

Если рассмотреть учреждения, для воспитания благородного юношества ныне существующие, то увидим, что большая часть оных отдалена от настоящего предмета. Все воспитание ограничивается учением; следовательно, юношество учится, а не воспитывается. В некоторых корпусах главное старание прилагают, чтобы дети умели проворно делать ружьем, хорошо маршировали, и сим с безмерною строгостию учением занимают их более, нежели учением существеннейших наук, долженствующих образовать и приуготовить их к занятию с достоинством и честию тех мест, на которые они по выпуске их из корпуса поступить обязаны. В сей механической экзерциции состоит вся тактика, в корпусах преподаваемая. Почему всякий судить может, сколь тактика сего рода удобна произвести искусных офицеров и генералов.

Поручение начальства над воспитанием благородного юношества должно от правительства самым строжайшим образом быть избираемо. Ибо что может быть драгоценнее залога, частное и общественное благоденствие в себе заключающего! Г. Бестужев в книге своей под названием „Опыт военного воспитания относительно благородного юношества" весьма основательно начертал как систему нравственного образования и учения сего разряда граждан, так и достоинства, долженствующие украшать начальника и всех имеющих над воспитанниками смотрение. Сия книга весьма полезна, особливо для такого правительства, которое печется об общественном воспитании, без коего государство не может быть ни сильно, ни счастливо. Сия книга весьма много облегчила труд мой, потому что она заключает в себе почти все, что нужно к составлению *нравственного* для дворян *устава*, и также все *учебные предметы*, для них необходимые; почему нет надобности назначать мне здесь нарочито правил, нужных к сочинению сего устава и метода учения для благородного юношества. Г. Бестужев изданною им книгою* прекрасно уже разрешил вопрос, в чем должно состоять просвещение дворян. Я замечу только следующее:

---

* Опыт воен[ного] воспитания относи[тельно] благ[ородного] юноше[ства].

Корпусы, будучи единственным местом, в которые дворяне наиболее стараются отдавать детей своих, по сему самому требуют, дабы оные так учреждены были, чтобы не только приуготовлялись в них люди, способные к службе военной, но и гражданственной. Надобно, чтобы офицер был и искусный воин и знающий судия. Ежедневный опыт доказывает нам, сколь великое проистекает от того зло, когда выпущенные из корпусов офицеры, прослужа несколько лет, переходят в статскую службу, не имея надлежащего сведедения ни в гражданских делах, ни в законах, ни в отечественных постановлениях. Горестно исчислять несчастия, бывающие обыкновенным последствием сего неведения! Не редко, занимая важнейшие государственные должности, вместо того, чтобы защитить невинного, спасти несправедливым образом притесняемого человека, не только не умеют подать ему должной помощи, но еще делаются орудием совершенной его погибели. Сие происходит оттого, что, сами будучи в невежестве, принужденными находятся прибегать к знанию людей посторонних, поручать им дела, которые бы сами отправлять должны были, и сии люди, называемые секретарями, на совесть которых не всегда положиться можно, не упущают с своей стороны мало-по-малу употреблять во зло доверенность, им делаемую, и соразмерно нуждам, в них оказываемым, присваивать даже власть над своими начальниками, довершая тем несчастие целой иногда провинции.

Сего довольно, чтобы восчувствовать нужду в усовершенствовании воспитания, в корпусах существующего. *Преподавание юридических наук должно непременно составлять часть оного*, особливо учение отечественным законам, государственным постановлениям и отправлению дел гражданских. Офицер, таким образом воспитанный, хотя бы и был довёден обстоятельствами перейти в статскую службу, со всем тем, он во всяком случае будет на своем месте, с честию исполнять будет свою должность, и общество во всякое время найдет в нем полезнейшего своего члена. Впрочем, не странно ли всякому казаться должно, когда ни в какое состояние — ни ученое, ни художническое, ни ремесленническое — не можно поступать, не перейдя всех степеней, к сим званиям ведущих, и не показав на опыте своих достоинств и своего искусства. В службу же гражданскую определяют людей без всякого разбора, без всякого испытания, награждают их чинами, по которым обязаны они бывают занимать иногда важнейшие места, не имея других способностей, кроме того, что умеют читать и подписывать свое имя. Можно ли после сего удивляться, что статская служба не имеет надлежащего своего достоинства, не уважаема, и что многие убегают оной, единственно опасаясь, дабы не попасть под начальство таких людей, которые не почтение,

но презрение заслуживают. Гражданская служба по предмету своему едва ли не важнее всякой другой; ибо она, имея целию внутреннее устройство государства, основывающее покой и благоденствие народное, по сему самому требует честнейших, добродетельнейших, просвещеннейших и рачительнейших людей.

Почему, в рассуждении сего, за весьма полезное почитаю я, когда сверх находящейся здесь учреждены будут еще *три юнкерские школы* с тем, если только *желается*, чтобы дворянство существовало, не теряя прав, законами ему предоставленных. Из сих трех юнкерских школ возможно основать одну в *Москве* под ведением сената, другую в *Казани*, а третью в *Вильне* под ведением попечителей тех округов, в которых они состоять будут. Учреждение сих школ должно *исключительно* быть для *дворян* и на таком же основании, на каком находится здешняя школа, с той только разностию, что в оную предписывается принимать детей не моложе четырнадцати лет и уже первоначальным знаниям обученных, в предполагаемые же мною школы да будет позволено принимать детей от семи до девяти лет, хотя бы оные ничему еще учены не были, а начинали учение со дня определения их в училище.

Многие благомыслящие люди давно уже чувствуют нужду в заведениях сего рода; особливо ощутительна оная для родителей, желающих вести детей своих по службе гражданской; но, не имея к тому способов, принужденными бывают, сколько против воли своей, столько противу склонности и способности детей своих, отдавать их в корпусы, имеющие предметом приготовление офицеров к службе военной.

Распорядок учебных предметов в сих предполагаемых мною школах должен соответствовать цели их учреждения.

Вот все, что нашел я за необходимое предложить относительно к просвещению дворян; посмотрим, наконец, *что сделать нужно в рассуждении просвещения духовенства.*

Если мы представим себе только предмет, для которого назначаются священнослужители; если представим себе должности, которые они отправлять обязаны; представим себе, какового уважения требуют они к сану своему и какую силу имеют они во мнениях народных,— то найдем, что правительство не все еще для них сделало. Ибо сколько есть таковых священников, которые, вместо того, чтобы иметь должное просвещение, пребывают в пагубнейшем невежестве; вместо того, чтобы подавать собою пример как в духовных, так и гражданских добродетелях, предаются постыдным страстям и тем самым подают повод другим к беспорядочной жизни и разврату. Словом, таких ли качеств пастырям должно поверять паству? Такого ли поведения служителей должна иметь церковь? Посредством ли таковых священников должны сохраняться святость рели-

гии и твердость ее олтарей? Нет, конечно. Правительство с своей стороны обязано употребить всевозможнейшее внимание на образование духовенства, толико важного по существу своему состояния.

Следовательно, *нравственный* для священнического звания *устав* доказывает сим необходимость свою. Сей устав, на котором *благочестие* и *примерное поведение*, сии назначаемые для духовенства добродетели, должны *поставлены быть девизом*, может составлен быть наподобие уставов, выше мною предложенных, с тою только разностию, что правила, коими будут руководствоваться в сочинении сего устава, должны совершенно соответствовать предназначению священников.

Что ж принадлежит до метода учения в семинариях, сих единственных местах, в которых приуготовляются люди для состояния духовного, то оный требует некоторых отмен и усовершенствования. Для чего учить наукам на языке латинском, а не на языке отечественном? Сей издавна введенный обычай весьма много препятствует успехам учения, ибо ученик, не знающий совершенно латинского языка (и какая надобность знать его совершенно?), никогда не будет надлежащим образом знать наук, учителем на сем языке преподаваемых. Равномерно, к чему служит учение мертвым языкам? Не полезнее ли бы было вместо их обучать языкам более употребительнейшим и получившим, так сказать, право гражданства во всей Европе. Но еще более желал бы я, чтобы господа учители, вместо слишком рассыпаемых *риторических* цветков, вместо высокопарного слога, который, надутостию своею затемняя ясность мыслей, производит скуку или смех, сколько возможно наблюдали, чтоб ученики при сочинении проповедей старались писать оные самым простым, ясным и для всех вразумительным слогом, напоминая им, что они не к ученым, но к народу говорить должны и что все их красноречие должно состоять в искусстве обращать на себя внимание своих слушателей и истинами, ими произносимыми, производить желаемое в них впечатление. Для чего надобно, чтобы *наука декламации* входила в состав семинарского учения.

Не могу также не заметить при сем и того, сколь нужно правительству взять меры свои в рассуждении определения приличного священникам содержания. Сим образом истребило бы оно постыдные, уничижительные и совсем несоответственные важности священнического сана обычаи, как, например: в большие годовые праздники, то есть в *рождество христово*, в *светлое христово воскресение* и прочие, не имели бы уже священники надобности ходить из дома в дом и собирать подаяния, отчего не редко являются они в толь безобразнейших видах, что подают повод думать, как бы правительство не только терпело, но даже одобряло таковые обычаи.

Предложив, таким образом, систему всеобщего образования относительно к России, остается мне разрешить последний, но довольно важный вопрос: *что может наиболее споспешествовать просвещению*, то есть посредством чего можно возбуждать и питать сей *дух деятельности*, толико потребный всем государственным состояниям к исполнению взаимных своих обязанностей?

Главнейший для сего способ есть *поощрение*. Мудрые правительства как прошедших, так и настоящих времен доказывают нам, до чего простирается всепреодолевающая сила оного. *Поощрение* извлекает людей из беспечности и уныния, рождает бодрость, производит соревнование и движет душу к делам полезным и великим. Где способности и достоинства поощряются, где добродетели имеют должное уважение, там пигмеи ступают шагами исполинов, там невозможное становится возможным, дремлющий гений пробуждается, и то, что, будучи предоставлено времени, требовало бы нескольких лет для совершения, то при содействии *поощрения* вскоре приемлет конец и получает успехи. Словом, там, где правительство награждает труды, поощряет дарования, венчает славою патриотические подвиги, покровительствует искусства, художества и науки, там всегда рождаться будут и патриоты, и художники, и ученые, и философы.

Но в таком государстве, которое находится еще, так сказать, в своем юношестве, где видны во всем одни только начатки,— в таком государстве *поощрение* наиболее нужно. И правительство, избравшее оное средством к руководствованию людей для усовершенствования их в предметах, ими занимающихся, без сомнения, избрало самый вернейший способ к ускорению в том желаемых успехов.

Одни просвещенные государи могут чувствовать нужду в просвещении народном и, следовательно, знать пользы, *поощрением* производимые. Возвратить права разума гонимому и стесненному, освободить его от уз, злобным невежеством на него наложенных, свойственно одной только мудрости. Блаженны те государи и те страны, где гражданин, имея свободу мыслить, может безбоязненно сообщать истины, заключающие в себе благо общественное!

Между человеколюбивыми и благонамереннейшими видами, любезнейшим нашим монархом на пользы отечества простираемые, наиблистательнее всех обнаруживаются оные в учреждении министерства народного просвещения, которое поистине назваться может древом, а прочие его ветвями.

Почему, соображаясь с настоящими заведениями относительно к просвещению народному, скажу, что посредством только *поощрения* можно вознаградить слишком ощутительный на нашем языке недостаток как в классических, так и

других книгах. На сей конец нужно правительству назначить реестр книгам, которые почтет оно на первый раз полезнейшими для переведения на русский язык, и объявить всем в словесности упражняющимся, что лучший перевод из сих назначенных книг будет правительством принят и достойно награжден. Сим образом не только вскоре увидим мы на нашем языке необходимейшие для нас и лучшие иностранных писателей сочинения, но правительство может даже посредством сего возраждать вкус ко всему изящному и давать оному желаемое направление.

Итак, если учреждение министерств имело ту цель, чтоб, разделя государство на восемь главнейших частей, облегчить чрез то управление каждою из них и дать им всем самый легкий, удобный, верный и твердый ход, разумея, что каждое отделение, вверенное министрам, должно по предмету своему заключать в себе все к нему принадлежащее, то, приняв сие за основание, не могу я не заметить здесь, что все публичные театры сколько по существу своему, столько и по своей важности непременно состоять должны под ведением министерства народного просвещения.

Я не войду в подробное исследование *пользы* и *вреда*, театрами производимых. Сие увлекло бы меня далеко от моего предмета. Всякий знает, что *то* и *другое* зависит совершенно от характера правительства, от направления, которое оно дает театрам, и от начальства, которому оно их вверяет. Скажу только, что театры, при благоразумном попечении, не менее могут иметь влияния на успехи всеобщего образования, как и училища, для сего заводимые. Сие доказывает, что они составляют отрасль народного просвещения. Я бы желал, чтобы в некоторых губерниях учреждены были театры, поручив начальство над оными людям истинно просвещенным, в сем искусстве сведущим и к отечественному добру расположенным. Следовательно, нужно для сего обеспечить также содержание актеров, из которых большая часть, здешнюю труппу составляющих, претерпевают нужду даже в самых необходимейших потребностях. Не видя никакого себе поощрения, напротив того, будучи гораздо ниже иностранных актеров поставленными и имея весьма малую цену в общем мнении, не только не возбуждаются соревнованием, но даже теряют дух, способности развивающий.

Скажу как россиянин, любящий свое отечество, что нельзя без чувствительнейшего прискорбия смотреть на состояние, в котором находится отечественный театр наш. Не скрою и того, что лучше желал бы я, дабы русский театр, при всех своих недостатках, предпочтен был всем прочим театрам и чтоб лучший из актеров и лучшие из актрис наших противу лучшего из актеров и актрис французских, если не вдвое, то, по

крайней мере, равное бы с ними получали содержание. Сие разумею я также и в отношении лучших наших танцовщиков и танцовщиц к здешним французским. Как бы то ни было, если что можно сказать против этого, то, конечно, гораздо более еще можно сказать в пользу его. Такое распоряжение послужит великим для русских актеров *поощрением*. Безбедность их состояния извлечет их из уныния, поселит в них желание превосходить друг друга и таким образом, поставя их на путь славы, даст им новую душу для жизни театральной.

К главнейшим недостаткам нашего театра можно присовокупить еще недостаток в пиесах, достойных быть представляемыми и соответствующих цели сего заведения. Публика ропщет противу сего недостатка, и ропот ее в сем случае справедлив. Ибо если рассмотрим, отчего происходит недостаток сей, то увидим, что нет *особенного попечителя*, который бы смотрел, так сказать, над *нравственным состоянием* театра. Но как театр есть не иное что, как *школа нравов*, следовательно все касающееся до хозяйственного театрального распоряжения может оставаться на теперешнем положении и под настоящею дирекциею; что ж принадлежит до назначения пиес, долженствующих быть представляемыми, до выбора пиес, которые нужно назначить для переведения на наш язык и чрез то удовлетворять недостаток, русским театром в оных претерпеваемый,—также задавать собственным нашим авторам предметы для сочинения театральных пиес, обнадеживая их, что все пиесы, ими представленные и правительством одобренные, без достойного награждения не останутся,—то, без сомнения, надзирание над всем сим ни на кого иного справедливее и приличнее возложено быть не может, как на министра народного просвещения. Ибо кто может лучше и сообразнее его действовать видам правительства?

Наконец, в заключение всего остается мне сказать: когда все главнейшие государственные части таким образом приведены будут в надлежащий порядок, когда получат они свойственную им твердость и силу, тогда государство во всем своем пространстве оживится, согласие во всех его членах возродит сей *народный дух*, который в зерцале веков изобразит характер бывшего правительства, следовательно представит эпоху благоденствия России и мудрое царствование Александра.

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ[47]

Милостивый государь мой!

На сих днях нечаянно попалась мне в руки старинная манжурская рукопись. Между многими мелкими в ней сочинениями нашел я одно весьма любопытное по своей надписи: „Сочинитель и цензор“. Немедленно перевел оное и сообщаю вам, милостивый государь мой, сей перевод с просьбою поместить его в вашем журнале.

СОЧИНИТЕЛЬ И ЦЕНЗОР

(Перевод с манжурского)

Сочинитель

Я имею, государь мой, сочинение, которое желаю напечатать.

Цензор

Его должно наперед рассмотреть; а под каким оно названием?

Сочинитель

Истина, государь мой!

Цензор

Истина? О! ее должно рассмотреть и строго рассмотреть.

Сочинитель

Вы, мне кажется, излишний берете на себя труд. Рассматривать истину? Что это значит? Я вам скажу, государь мой, что она не моя и что она существует уже несколько тысяч лет. Божественный *Кун** начертал оную в премудрых своих законах. Так говорит он: „Смертные! любите друг друга, не

* Конфуций.

обижайте друг друга, не отнимайте ничего друг у друга, просвещайте друг друга, храните справедливость друг к другу, ибо она есть основание общежития, душа порядка и, следовательно, необходима для вашего благополучия". Вот содержание моего сочинения.

Цензор

Не отнимайте ничего друг у друга! будьте справедливы друг к другу!.. государь мой, сочинение ваше непременно рассмотреть должно. (*С живостию*) Покажите мне его скорее.

Сочинитель

Вот оно.

Цензор

(*развертывая тетрадь и пробегая глазами листы*)

Да... ну... это еще можно... и это позволить можно... но этого... этого... никак пропустить нельзя! (*Указывая на места в книге*).

Сочинитель

Для чего же, смею спросить?

Цензор

Для того, что *я не позволяю* — следовательно, это не позволительно.

Сочинитель

Да разве вы больше, г. цензор, имеете права не позволить печатать мою *Истину*, нежели я предлагать оную?

Цензор

Конечно, потому что я отвечаю за нее.

Сочинитель

Как? вы должны отвечать за мою книгу? А я разве сам не могу отвечать за мою *Истину*? Вы присваиваете себе, государь мой, совсем не принадлежащее вам право. Вы не можете отвечать ни за образ мыслей моих, ни за дела мои; я уже не дитя и не имею нужды в дядьке.

Цензор

Но вы можете заблуждаться.

Сочинитель

А вы, г. цензор, не можете заблуждаться?

Цензор

Нет, ибо я знаю, что должно и чего не должно позволить.

Сочинитель

А нам разве знать это запрещается? разве это какая-нибудь тайна? Я очень хорошо знаю, что я делаю.

Цензор

Если вы согласитесь (*показывая на книгу*) выбросить сии места, то вы можете книгу вашу издать в́ свет.

Сочинитель

Вы, отнимая душу у моей истины, лишая всех ее красот, хотите, чтобы я согласился в угождение вам обезобразить ее, сделать ее нелепою? Нет, г. цензор, ваше требование бесчеловечно; виноват ли я, что истина вам не нравится и что вы ее не понимаете?

Цензор

Не всякая истина должна быть напечатана.

Сочинитель

Почему же? Познание истины ведет к благополучию. Лишать человека сего познания значит препятствовать ему в его благополучии, значит лишать его способов сделаться счастливым. Если можно не позволить одну истину, то должно уже не позволять никакой, ибо истины между собою составляют непрерывную цепь. Исключить из них одну значит отнять из цепи звено и ее разрушить. Притом же истинно великий муж не опасается слушать истину, не требует, чтоб ему слепо верили, но желает, чтоб его понимали.

Цензор

Я вам говорю, государь мой, что книга ваша без моего засвидетельствования *есть* и *будет ничто*, потому что без оного не может она быть напечатана.

Сочинитель

Г. цензор! позвольте сказать вам, что *Истина* моя стоила мне величайших трудов; я не щадил для нее моего здоровья, просиживал для нее дни и ночи, словом, книга моя есть моя собственность. А стеснять собственность, как говорит премудрый *Кун,* никогда не должно, ибо чрез сие нарушается справедливость и порядок. Впрочем, вернее, засвидетельствова-

ние ваше можно назвать ничего не значащим, ибо опыт показывает, что оно нисколько не обеспечивает ни книги, ни сочинителя. Притом, г. цензор, вы изъясняетесь слишком непозволительно.

Цензор (*гордо*)

Я говорю с вами, как цензор с сочинителем.

Сочинитель (*с благородным чувством*)

А я говорю с вами, как гражданин с гражданином.

Цензор

Какая дерзость!

Сочинитель

О *Кун*! благодетельный *Кун*! Если бы ты услышал разговор сей, если бы ты видел, как исполняют твои законы, если бы ты видел, как наблюдают справедливость, если бы видел, как споспешествуют тебе в твоих божественных намерениях, тогда бы... тогда бы справедливый гнев твой... Но прощайте, г. цензор, я так с вами заговорился, что потерял уже охоту печатать свою книгу. Знайте, однакож, что *Истина* моя пребудет неизменно в сердце моем, исполненном любви к человечеству и которое не имеет нужды ни в каких свидетельствах, кроме собственной моей совести.

DUBIA

ВЫПИСКА ИЗ РАССУЖДЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ [48]

Избрав предметом наших рассуждений все, что издается в свет, или что мы сами пишем, могущее принесть пользу ученому человеку, уму, ищущему истины, сердцу, любящему добродетель, честной душе, желающей счастия человечеству; вообще все то, что может быть полезно для всех людей, в которое бы время они ни жили, под каким бы климатом они ни дышали, и каково бы ни было их состояние,— все, что носит сии признаки, читаем мы с рассуждением, исследуем со всею своею свободою, критикуем оное с дружеским чистосердечием, кто бы такой ни был писатель оного; но сие делаем единственно с намерением научиться и усовершенствовать наш разум. Итак, вам, друзья добродетели и наук! вам можно посвящать, и вы с усердием приемлете все то, что может просветить разум, показывая ему полезные истины, все то, что может управлять волею, наклоняя оную к непреложным основаниям здравой нравственности; все, что с пользою может утвердить наши склонности, управлять желаниями и благоразумно определить наши преимущества, показывая нам истинные наши выгоды. Наконец, подобно свободному путешествователю, к полезной цели устремленному, единственно для нее странствующему, не оставляющему, однакож, удовольствия видеть в своем пути и с приятностию рассматривать в местах отдохновения своего как украшения, произведения изящных художеств, так и превосходные и разнообразные произведения, коими природа облекается для обольщения чувств наших и доставления нам прекраснейших видов,— вы приемлете за предметы, достойные вашего внимания, все произведения особливых дарований, все касающееся до изящных наук, или что составляет часть оных, все, что отличается хорошим вкусом, каков бы оного ни был предмет, если только ничего в нем не заключается, чего бы не одобряло благоразумие.

Сии рассуждения о *государственном хозяйстве*, коим учинен здесь краткий анализ, изданы были в Медиолане и со

всеобщею похвалою приняты. Достойный почтения писатель оных есть граф *Пьерр Верри*, бывший членом верхнего торгового совета и потом президентом в Медиоланской палате государственных доходов находившийся. Он вместе с своим братом *Александром* и знаменитым маркизом *Беккария* трудился в издании журнала под названием „*Кофейной дом*" (Il Caffé), кое к сожалению прервалось. Сенатор *Габриель Верри*, отец нашего писателя, издавал „Историю медиоланского правознания"; таким-то образом сие герцогство со времени Валерия Максима имело столь много отличившихся в науках знатных особ, что одна их история составляет четыре книги в лист; и еще более тем прославившееся, что многие дворяне не почитали за низкость упражняться в науках и оказывать должного к ученым людям уважения, не из тщеславия, но собственно для себя самих.

Польза и превосходные дарования, в сих *рассуждениях о государственном хозяйстве* заключающиеся, достойны внимания всякого доброго гражданина, по важности тех предметов, о которых писатель в оных рассуждает с точностию и без многословия; по ясности, которую разливает он на каждый из оных предметов; по глубокому сведению, которое имеет он о своем предмете и его зависимостях; по основательности умствования его, по скромности его решений, по сей любви к истинному и хорошему, честного человека отличающему, и по сему человеколюбию, по сему желанию благополучия роду человеческому, соделывающему его любезным для всех тех, коих сердце исполнено добра и снискивает ему почтение от справедливых людей.

Сие сочинение рассуждений по справедливости почесться может лучшим творением италиянских писателей, из-под пера коих долгое время ничего больше не выходило, кроме некоторых творений о богословии, довольно еще схоластической и лишенной всякой философии; кроме рассуждений и исследований о древностях, для коих страна сия доставляет более всякой другой пособий; кроме некоторых математических творений, некоторых физических и касающихся до естественной истории записок, а что еще важнее, они составляемы были, относительно к сим двум последним родам, больше, в виде наблюдений за частными действиями, нежели в систематических и на разуме основанных сочинениях; кроме некоторых творений о правознании, в которых решаются запросы одною токмо важностию разрешений, а не умствованием; наконец, некоторых мало полезных произведений изящных умов, в сонетах, песнях и театральных пиесах истощившихся.

Однакож сие не значит недостатка в дарованиях, во вкусе либо пособиях к усовершенствованию, ни даже недостатка в просвещении. Если изящные науки в Италии пришли тогда в

великой упадок, то забудем ли мы, сколько веков сия часть Европы была более всякой другой знаменита превосходными умами и коликого числа великих мужей во всяком роде была она отечеством, между тем как другие страны погружены были в невежестве и варварстве, и истребим ли из памяти то, что с третьегонадесять и четырнадцатого века она была колыбелию наук и изящных художеств, которые отсюда распространились везде, и с того времени в других странах с успехом стали в оных упражняться?

Весьма ошибаются те, которые думают, что Италия тем просвещением, коим блистала она в пятомнадесять столетии, обязана была грекам, бежавшим из Константинополя. Кто из них славился в несчастном их отечестве, и кто после побега своего в Италию ознаменовал себя великим человеком, изящным умом, хорошим философом? До прибытия их в Италию не имела ли она уже своих *Дантов*, *Петрархов*, *Боккасов*, *Пулчиев*, *Бойардов*? Зодчество, живопись и музыка возвышались уже произведениями *Чиммабуя* и *Джиотто*, *Брунелезия и Гуид'Арецо*. Константинопольские беглецы, бывшие больше *говоруны*, более диалектики (ибо они больше италиянцев любили ученые споры), имели менее точности в словах и не лучше говорили на своем языке, как италиянцы на своем, тогда всего совершенства достигшего; между тем как французский язык, который едва мог называться языком, образовался спустя три века после сего. Петрарх, Дант, Боккас и ныне еще служат италиянцам образцами в усовершенствовании их слога. Греки знали меньше, нежели италиянцы, их к себе в их злополучии принявшие; сии научились от них греческому только языку. Правда, время сие было решительною эпохою возрождения наук в отечестве древних римлян; но не греки принесли оные тогда с собою. Однакож надобно согласиться, что до века Августова и в продолжение оного римляне одолжены были грекам своими науками и изящными художествами, своим просвещением и вкусом. Вкусом, которому, однакож, сии ученики дали приметное свойство важности, величества и мудрости, каковог учители их не имели в такой степени; но в новейшую эпоху греки доставили италиянцам лучшее токмо орудие научиться, то есть свой язык, орудие, из которого доставившие оное долго не делали важного употребления.

Итак, одним италиянцам обязаны мы возрождением наук на Западе. Покровительство, оказанное ими ученым, решило сию счастливую перемену, приуготовленную за два века, и которой по счастию для нас Леон X благоприятствовал. Тогдашние ученые, знаменитейшие оного времени философы, те, которые начали просвещать Европу, были италиянцы, исключая ученых других стран, приходивших в Италию учиться и образоваться, каких великих мужей можно поставить наравне с Аккурсами,

Жан-де-Сакробосками, Раймондами Люллами, Бартолами, Боккасами, Вилланиями, братьями Бальдами, Калдеринами, Леонардами-Брюнами, Жан-Имолами, Подже-Флорентинами, Лорант-Валлами, Николлас-Панормитанами, Францисками-Забареллами, Людовиком Понтаном, Маркеллом-Фичином, папою НиколаемV и проч. В италиянские универститеты со всех сторон стекались учиться и образовать свой вкус прекрасными предметами. В сей-то стране жили в сие время весьма многие князья и государи, мужеского и женского пола, ученым людям покровительствовавшие.

Науки и изящные художества приводятся в цветущее состояние свободою и поощрениями; в них не можно успеть без некоторых усилий, и человек, по природе своей беспечный, без ревности и без успеха занимается тем, что подвергает его великим затруднениям, не доставляет ему никакой выгоды и оставляет его удручению бедности. Надобно, чтоб ученого человека венчала слава некоторыми отличиями; чтобы богатство защищало его противу бедности и власть покровительствовала бы ему противу злобы; редки такие люди, которые бы довольствовались только тем, что просвещают подобных себе, не искав никакой награды, и согласились бы забвенными быть во время своей жизни. Еще менее таких, которые бы, предавшись склонности к философии, наукам и изящным художествам, без всякой прибыли, без любочестия или спокойствия, смели говорить истину, ими открываемую,— но везде, и сие всеми веками подтверждается, где свобода и покровительство будут надежным уделом философа и ученого, тамо будут раждаться ученые и философы.

Мы надеемся, что польза от сего превосходного творения о *государственном хозяйстве* не будет тем ограничена, что произведет оно в читателе бесплодные токмо чувствования. В нем собраны существеннейшие истины, относящиеся к весьма важному предмету, так что все оному споспешествовать желающие могут научаться из оного. Дух гражданина, внушавший сии *рассуждения*; желания видеть людей, которые везде в оных представляются счастливыми; легчайший способ, с каковым оные предложены в пользу общую,— учиняют его писателя любезным для всех народов.— Чувствуя всю цену сего сочинения, намерены мы в продолжение издания нашего помещать некоторые из оного места, надеясь оказать чрез то публике услугу.

ГРАЖДАНИН[49]

Что есть гражданин? Тот ли, который, достигши места, хитростию и пронырством им занимаемого, дотоле почитает оное, доколе может оно питать его гордость и алчность? Тот ли, который, порабощен будучи постыднейшим страстям, на то только употребляет могущество, ему данное, чтобы не щадить имения и жизни своих сограждан? Тот ли, который, испровергая законы чести и справедливости, на сих плачевных развалинах общественного блага воздвигает бренный памятник своего счастия? Тот ли, который, убежден будучи гласом совести о своих пороках или неспособностях, под видом притворной любви к отечеству похищает звания, долженствующие предоставлены быть просвещенной и скромной добродетели? Не сей ли, наконец, с суровым оком, нечувствительным сердцем самолюбец, для которого благополучие государства есть не иное что, как пустое название, и коего душа, в презрительную беспечность погруженная, не ощущала никогда сего чувствования, соединяющего человека с подобным ему, столько ж неспособный соболезновать о несчастиях, как и радоваться об успехах своего отечества? Нет, конечно; титло гражданина не принадлежит существам, толь преступными злоупотреблениями себя уничижающим. От общества отверженные, они не оставят по себе ничего более, как бесславие и презрение, в их жизни их преследовавшие.— Что ж есть *истинный* гражданин? О! вы, которым хочу я представить образ оного, внемлите! *Истинный* гражданин есть тот, который, общим избранием возведен будучи на почтительный степень достоинств, свято исполняет все должности, на него возлагаемые. Пользуясь доверенностию своих сограждан, он не щадит ничего, жертвует всем, что ни есть для него драгоценнейшего, своему отечеству, трудится и живет единственно только для доставления благополучия великому семейству, коего он есть поверенный. Столь же беспристрастный судия, как закон, которого он есть орудие и которого справедливые решения никогда не причиняли слез угнетенной невинности,—он есть тот человек, который,

завсегда следуя по стезе добродетели, посвящает себя совершенно всем полезным должностям: то налагая узду закона на беспорядки, общество возмущающие, то возбуждая трудолюбие, поощряя торговлю, ободряя все художества, отдаляя, предупреждая бдительностию своею несчастия, которые непредвидение или заблуждение могли бы некогда навлечь на соотечественников его. Он есть хранитель государственного сокровища, который, зная, что залог, попечениям его вверенный, часто бывает плод трудолюбия, предпочитает богатству, на грабительстве и злодействе основанному, славу честного и бескорыстного человека. Он есть тот воин, который, подобно Курцию, ввергается в бездну, у ног его разверстую. Наконец, он есть тот, который, будучи добрым отцом, нежным супругом, почтительным сыном, искренним и верным другом, являет всем, почтением своим к законам и нравам, живой пример гражданских добродетелей.

Вот, вот каких граждан отечество признает за истинных своих детей!

ЧУВСТВОВАНИЯ РОССИЯНИНА, ИЗЛИЯННЫЕ ПРЕД ПАМЯТНИКОМ ПЕТРА ПЕРВОГО, ЕКАТЕРИНОЮ ВТОРОЮ ВОЗДВИГНУТЫМ[50]

О ты, который от целой вселенной заслуживаешь уважение! Ты, который, оставя пышность и величие престола, сложив с себя венец и порфиру, не возгнушался облещись в простейшую одежду ремесленника, чтоб устремиться в отдаленные от отечества своего страны,— страны, славившиеся тогда своими художествами, искусствами и науками, коих благотворный свет не касался еще мрачных пределов утопавшего в невежестве государства твоего, и которое восприял ты просветить, вознесть и учинить благополучным. Каких трудов, каких пожертвований стоило тебе исполнение сего спасительного намерения! Но, руководствуемый благом общественным, ни на какие не взирал ты опасности, превозмогал все препятствия, не щадил самого себя. Обширный разум твой, соглашенный с добродетелями твоего сердца, объемля все, что способствует только к благосостоянию народов, и проницая в самые сокровенные действия политики, больше ко вреду, нежели ко благу человеческого рода обращенной, с каким удивительным предвидением умел ты обратить оную ко благу, извлечь из оной те пользы, которые, при всех своих попечениях, усилиях и деятельности, не успел ты довершить, предоставя сие последующим векам! О ты, коего премудрости плодами напитана Россия, Россия, для которой ты один сделал более, нежели вся она учинила для тебя! Ты, который ничего для себя не хранил, но все разделял с твоим народом, удовольствия свои почерпал из удовольствий своих подданных. Ты, который жил единственно для своего народа и был ему во всем примером;— нет, не одному ему, ты служишь примером целому свету.— Удивленный и восхищенный великостию деяний твоих, если вопрошаю самого себя, откуда, из какого источника произошли оные,— чистейшая благодарность изливается тогда вместе с слезою, и сердце вещает мне: *из любви к отечеству, из любви к своим подданным.*— Великий Петр! солнце Севера, слава Российского народа, тень великодушная, прости слабости моих выражений!

ПИСЬМА ИЗ ТОРЖКА[51]

I

Почтенный издатель!

На сих днях один из моих приятелей, живущий в Санктпетербурге, любящий чтение и русскую словесность, зная также и мою к ней привязанность, прислал мне в подарок книгу, недавно из печати вышедшую. Чем будучи чрезмерно обрадован, с жадностью начал я читать оную; и как читать привык я с рассуждением, да и не всему тому верю, что в книгах печатают, то сделал я на оную замечания, которые, при сем к вам сообщая, покорнейше вас прошу поместить их в журнал ваш, если только найдете того достойными.

Верное лекарство от предубеждения умов. Перевод с немецкого Михайла Антоновского. В Типографии Государственной Медицинской Коллегии, 1798 года.

Г. сочинитель сей книги самым жесточайшим образом вооружается противу *книгопечатания.* Вот предмет, на который устремил он наипаче свои стрелы. Но как в избрании расстояния, повидимому, г. сочинитель весьма худо, а может быть, и совсем не соображался со своими силами, искусством и дарованиями, то потому нимало в предприятии своем не успел, и ни одна из стрел его до желанной им цели не достигла. Упоенный желчию, не щадит он никого; писатели суть для него не иное что как развратители, соблазнители и враги общества, старающиеся посевать в сердце оного семена пороков и заблуждений. На любителей чтения и словесности равно изрыгает он хулу и брань. Книгопродавцы суть для него самые гнусные люди, коих алчба к корысти есть источником нравственного зла. Словом, г. сочинитель не как благоразумный критик, который, видя заблуждения разума человеческого и проницая в самые сокровенные намерения некоторых писателей, которые, блеском своего красноречия помрачая истину, стремятся распространять ложные понятия и зловредные учения, кротким и снисходительным образом об-

наруживает пагубные и притворные их мнения и ясностию своих доводов склоняет на справедливую сторону,— но как деспот решит и осуждает все, что только не согласуется с образом мыслей его. Если бы Юпитер вверил ему перуны свои, то в мгновение ока узрели бы мы здание наук, столько веков созидавшееся, испроверженным. Уничтожать или истреблять что-нибудь на тот конец, дабы вместо того восстановить или учредить гораздо лучшее и полезнейшее, означает мудрость и человеколюбие; в противном же случае есть знак невежества и злости. Но приступим к разобранию самого дела. Г. сочинитель открывает непримиримую вражду книгопечатанию и между тем уважает науки. На стр. 40 говорит он: „Я крайне жалеть стану, буде подумают, что я покушаюсь на художества и науки; напротив, я торжественно воздаю справедливость оным, каковую они заслуживают, и, говоря сие, повторяю, что без оных человек был бы жалкое творение, что бремя невежества и бедности более тяготило его" и проч. и проч. Не ясно ли из сего видно, что г. сочинитель, как я сказал, превозносит науки, находит в них величайшую пользу и признает невежество пагубным и ужаснейшие бедствия производящим. Но пусть позволит теперь у себя спросить: чрез что же наипаче учинились науки известными, посредством чего приведены в сей приятный порядок, в сию удобность, с какою видим мы их теперь преподаваемыми, что может лучше сохранить их от едкости времени и жестокости неприятелей? Посредством чего сообщение мыслей от одного конца вселенной до другого учинилось легчайшим, что было причиною успехов разума человеческого, помощею чего, вопрошаю, разлился свет наук, озаривший мрачную юдоль, по которой блуждали человеки, устраняясь от истины, и проч.? Не одолжены ли мы всем сим преимущественно изобретению *книгопечатания*? Не можно ли по справедливости назвать оное подпорою наук и художеств? Итак, г. сочинитель, прославляя науки и купно осуждая книгопечатание, сам себе явно противоречит. Может быть, он уважает и предпочитает те только науки, которые в письменных, а не печатных книгах содержатся, но почему того он в печатной же своей книге не доказал. А токмо восклицает на странице 9: „*Изобретено книгопечатание, и крепость* духа потерялась в буквах!*" Равно как бы воскликнул: изобретены ножи, и люди стали резаться; изобретены веревки, и люди стали давиться. Прекрасное следствие!

Г. сочинитель вспомнил бы, сколь возрождение наук было медлительно. Каких недостатков, каких заблуждений были они исполнены во время своего младенчества; и если теперь видим мы их в зените совершенств, то, конечно, сие отнести должно наипаче к свободе тиснения. Там, где разум в тесных

заключен пределах, где не смеет прейти границ, ему предположенных, там всегда найдет философов льстецов, писателей низких и ползающих, защищающих иногда самые нелепые мнения вопреки истине, дабы не подвергнуться гонению, которого всякий человек страшится. Там всегда найдешь книгопродавцов совершенными рабами вкуса публики, принужденных удовлетворять развращению и приноравливаться к порокам, чтоб сохранить себя от нищеты и разорения, которому не трудно подвергнуться в подобных случаях. Там, наконец, увидишь, что временем введенные в обыкновение заблуждения бывают признаваемы за неоспоримые аксиомы. Но где нет стеснения разуму, где поощряются науки, где отличаются дарования, где покровительство защищает ученого от бедности, там заблуждения и пороки нечувствительно исправляются, странные мнения опровергаются очищенным рассудком, просвещенная добродетель, честность и благонравие, распространяя ветви свои, осеняют веру, сохраняют ее и учиняют более священную. Стоит только обратить взоры на Голландию и Англию, как на такие страны, которых по справедливости назвать можно убежищем гонимого невежеством рассудка, где науки не имеют никаких препон, где книгопечатание совершенно свободно, то ясно увидят, что нравы, обычаи и самая вера в продолжение стольких веков не только не повреждались, но, напротив того, пребывали всегда во всей своей силе, и внутренняя тишина никогда чрез то не была возмущена. Следовательно, ни науки, ни книгопечатание не причиною тех зол, на которые сочинитель жалуется, и если худые книги, выключая известного числа худых, терпимы между добрыми книгами, то по той же самой причине, по которой худые люди терпимы между добрыми: то есть, чтоб от крутой нетерпимости не сделалось крайнего опустошения, и чтоб неосторожным исторжением плевел не исторгнуть и пшеницы, и сие согласно с откровением. И следовательно, всякой тот гражданин, который бы равнодушно взирал на всякие добрые и худые книги в государстве своем, не *есть развратник своего отечества*, как говорит сочинитель на стр. 49, но есть мирный гражданин, знающий свое дело, пользующийся добрыми книгами и из худых что-нибудь доброе извлекающий. Я бы не кончил и должен бы был написать такой же величины книгу, как сочинителева, если бы на все хотел делать мои замечания.

„Прилежите к чтению *дейописаний* и научитесь из оных познавать *естественного человека;* ищите его между *народов* еще грубых, неученых и неиспорченных" (стр. 45). Что сие значит? Как найти *естественного человека* между *народов* еще грубых, неученых и неиспорченных? Если под именем *народа* разумеем мы не иное что, как великое общество лю-

дей, соединившихся между собою, живущих под установленными законами, сколь, впрочем, законы сии не были бы жестоки, несправедливы и странны, то вместо *естественного человека* будем мы везде обретать человека *гражданственного*. Но далее: „научайтесь между ними познавать человека в его *дикости*, в его привязанности к свободе, в его великости и его бедности“ и проч. *Дикой*, или *естественный*, *человек* есть такой человек, который живет сам собою, без всякого отношения к другим, не знает иных законов, кроме законов природы, руководствуется одними токмо естественными побуждениями и сам собою оные удовлетворяет. Следовательно, искать *естественного человека* в обществе было бы смешно и безрассудно. Впрочем, к чему послужит *прилежание к чтению* такого *дейописания*, которое не иное что представляет, как дикость, бедность, жестокость и зверство человека? Вот бред или сумбур его мыслей, достойный толико желаемого им всесожжения. Сочинитель возмечтал, что слова его будут приняты за слова оракула, а того себе и не представил, что книгу свою выдает в осьмомнадесять веке, в таком веке, где рассудок с особенною тонкостию и подробностию привык входить в существо и порядок слов и вещей. Чтоб склонить человека на то, на что хочешь, надобно самыми живейшими красками изобразить ему того все выгоды, все пользы, всю приятность; надобно, чтоб он ясно видел и уверился, что то состояние, которое ему представляешь, пред тем, в котором он находится, несравненно лучше, преимущественнее и может доставить ему прочное благополучие. Без сего никогда желаемого успеха не получишь, и всякие побуждения останутся тщетными. Г. сочинитель имеет совсем особенный и ему токмо свойственный образ взирать на предметы и на благо нравственное.

Не к истории *дикого человека*, который умственно ныне токмо разумеем быть может, но к истории *человека гражданственного* паче всего прилежать нужно. Ибо, чтоб достигнуть познания настоящих правил жизни и нравов, чтоб распознать мрачные пути человеческого сердца, открыть предрассудки разума, разбирая их в самой тонкости, чтоб дать цену силе навыка, чтоб указать бесконечную разнообразность характеров, чтоб различить добро существенное от случайного, чтоб рассмотреть установления, возвышения держав, их постепенное к славе и добродетели направление, поспешность, с каковою великие сии здания клонились к падению и опровергались, чтоб открыть пользы и погрешности правительства, чтоб уразуметь, каких требуют от нас жертв наши должности в достоинстве граждан и человеков и какие первоначальные причины, побуждающие нас оные нарушить, чтоб составить себе правила мудрые и великодушные добродетели в об-

щежитии, наконец, чтоб ощутить примером и опытностию пользу добродетели и вред порока,— вот для чего, повторяю, нужно прилежать к чтению таковой истории, прилагать к ней глубокое внимание и рассуждать с оною. Наука сия есть одна, которая лучше послужить может к образованию в гражданственном человеке характера и направить его к совершенству добродетели, к утверждению чувствования чести, добронравия, праводушия. История покажет примеры великих добродетелей и пороков, сим самым может возжечь огонь побуждения к последованию первым и отвращению последних. Когда видят, как оживотворенные *любовию к отечеству*, сею первейшею добродетелию гражданина, *Катоны*, *Бруты*, *Курции*, презирали жизнь, помышляя единственно о благе общественном; „когда видят *Регула*, идущего на жесточайшие мучения, дабы не нарушить своего слова, видят *Кира* и *Сципиона*, подающих явные опыты своего воздержания и целомудрия, видят всех сих древних римлян, столь славных и столь общепочитаемых, провождающих жизнь скудную, умеренную, трезвую; а с другой стороны, когда видят поступки вероломные, распущенные, расточительные или означающие подлое и гнусное сребролюбие в особых великих и почтенных в рассуждении сего века,— тогда восчувствуют и нимало не усумнятся о том, в чью пользу должны изъясниться и кому последовать"*. Примеры и великие действия, в истории читаемые, не могут не производить в сердце сильного впечатления. Следовательно, не к *дейописанию дикого человека*, но к истории гражданственной прилежать необходимо нужно, потому что она есть, как я выше сего уже сказал, самое лучшее средство, к образованию гражданина и человека служащее.

Когда бы вместо того, чтоб без всякого изъятия деспотически предавать всесожжению все *тетрадки*, *рукописи и книги*, г. сочинитель свойственным ревнителю истины образом открыл, какие именно тетрадки и рукописи служат к развращению, к пагубе и ко вреду нравственности; какие книги распространяют заблуждения, колеблют веру, превращают науки во зло, разрушают общественный порядок, прославляют порок и поносят добродетель; наконец, когда бы г. сочинитель показал, какие нужно предпринять меры, какие полезны учреждения, дабы излечить от таковых сочинений, по мнению его, зараженное благонравие и истребить навсегда яд оных, повреждать сердца могущий,— тогда, конечно, величайшую бы сочинитель оказал человечеству услугу, и признательное потомство сохранило бы навсегда имя его с тем почтением, каким исполнено оно бывает к усердным людям, для благо-

* Роллен. Способ учить и обучаться.

получия человеков трудившимся. Но как он, видя болезнь, общественное тело терзающую, молчит о пособиях и средствах, в пользу его послужить могущих, то мне кажется, что из сего весьма справедливо заключить можно, что он не токмо есть бесполезный доктор, а книга есть весьма худой рецепт, но что в нем не видно совсем и того человеколюбия, которое, как говорит он, побудило его издать свое сочинение, если только можно назвать сочинением сбор слов и мыслей, взаимно себе противоречащих и без всякой связи и порядка нагроможденных.

Сии замечания, мною сделанные, не суть действия сатиры или тщетной славы быть возразителем, — нет. Любовь к истине и моим соотечественникам была причиною оных. Вскоре надеюсь я и еще на некоторые книги прислать к вам замечания мои, если вам только угодно будет поместить оные в журнал ваш, которого я есмь усерднейший

Читатель.

Торжок. Июля 24 дня.

II

Почтенный издатель!

Увидя, что замечания на *Верное лекарство от предубеждения умов*, мною к вам посланные, в сентябре месяце вашего издания уже напечатаны, с крайним удовольствием выполняю данное мною вам обещание, препровождая при сем еще некоторые на книжку нижеозначенную мнения мои, кои прошу также поместить в журнал ваш.

Любовь книжка золотая. В С.-Петербурге при Губернском Правлении.

Сам издатель сей книжки в послании своем к читателю говорит, что она есть такое творение, „какового еще на нашем языке поныне не было". Издатель сказал весьма справедливо: ибо хотя в числе русских сочинений, нам известных, и есть множество пустых, вздорных и ничего в себе не заключающих, однако по сие время не было еще у нас ни одного такого, которое бы содержало в себе столько наглости и дерзости, какими сия книжка наполнена. — „Двои *знатоки словесности*, читавшие оную в рукописи до издания, в одно слово, как бы согласясь, назвали ее золотою". — В сем случае вымысел издателя весьма неудачен: можно ли поверить, чтоб знатоки словесности одобрили такую книжку?.. Нет, не знатоки словесности, но, может быть, сообщники издателя дали ей сие великолепное название, думая придать ей чрез то более цены и важности. Но как в июле месяце вашего журнала на стран. 27 весьма справедливо сказано, что

„Рассудок мишуру от злата отличает",

то выдумка издателя ни к чему не послужила, ибо сей же самый рассудок отличает также и название книги от ее содержания. Чтоб побудить к чтению иносказательных притчей, в книжке сей заключающихся, издатель говорит, что „смысл их весьма забавен и любопытен". Напротив того, я не вижу в них ничего иного, кроме наглых, грубых, непонятных и никакой остроты в себе не заключающих выражений. Издатель, как кажется, не привык рассуждать о вещах, как должно, но определяет все как ни попало, на скорую руку. Вот его суждение: „человек есть такое животное, которое *любит* над другими смеяться и само подвержено равно насмешкам". Справедливо ли сие определение? Можно ли без исключения сказать таким образом о людях? В опровержение сего мнения приведу я следующий пример. Всякой согласится со мною, когда скажу я, что издатель сей книжки есть человек и что не всякой человек есть издатель; но если издатель насмешник, то не следует ли из того, что всякой человек любит насмехаться? Некто сказал, что человек есть животное, способное смеяться, но между словом *смеяться* и *насмехаться* различие, кажется мне, весьма понятно и ощутительно. В доказательство же издателева насмешничества ссылаюсь я на сию его книжку, в которой *любовь* есть предметом оной; любовь, служащая основанием всех человеческих добродетелей, есть целию его поруганий. „*Любить* (прямо, нелицемерно) нарочито вышло из обыкновения", говорит он на стран. 124. Также: „*стыдливость* или *застенчивость* — порок, который в любви весьма вредные имеет следствия и никогда к *счастливой цели не доводит*; ныне, однакож, весьма вышел из моды, так что молодые дамы реже жалуются на сей порок, нежели на дерзость и бесстыдство мужчин" (стр. 212). Не есть ли сие язык насмешника?.. Вам, родители! отдаю я сие на суд.

Любовь и волокитство никогда не должно смешивать между собою; каждое из них имеет особенный корень: первая произращает добродетель и благенство; другое производит порок, несчастие, презрение. — Словом, книжка сия, по содержанию своему, должна бы иметь сию справедливую надпись.

Ваш усерднейший

Читатель.

Торжок. Октября 19 дня.

III

Почтенный издатель!

Скромный г. Гл. Гр., который издал недавно *Любовь книжку золотую*, с особенным, кажется, стремится рвением к обогащению... разумеется, русской словесности. Следователь-

но, не без причин, желает он, чтобы его читали; а, желая сего, не должен уже огорчаться, если увидит, что мнения, других с мнениями его не согласны. Там, где видна справедливость, разнообразности во мнениях быть не может; против истины говорить нечего. И я надеюсь, что г. издатель *книжки золотой* не будет столько несправедлив, чтоб стал обижаться тем, когда я на книгу: *Любовники и супруги, или мужчины и женщины* (*некоторые*), которая, судя по содержанию, должна быть непременно его же произведением, уважив все истины, в ней изображенные, представляю вам на прочее в ней заключающееся суждение мое для помещения оного в журнал ваш.

Обыкновенно бывает, что если попадется кому какая-нибудь книга в руки, то прежде всего стараются узнать ее название, что и быть иначе не может. Ибо чрез название книги разумеем мы тот предмет, который писатель имел в виду, сочиняя оную. Следовательно, посредством надписей, книгам делаемых, приобретаем мы ту пользу, что тотчас получаем о них некоторое понятие и удобнее различаем по оным, какая книга до какой относится части. Без сих же надписей мы принуждены были бы, может быть, употреблять половину века нашего на прочитывание книг, дабы отыскать токмо между оными такую, которую бы мы иметь желали. Итак, надписи книгам столько же необходимы, как и названия вещам. Но что скажете вы, государь мой, о таком писателе, который нимало не соображаясь с смыслом книг, им издаваемых, старается токмо давать им такие названия, которые по расчетам его находит он несравненно для себя выгоднее и любопытнее? Сие, по мнению моему, не иное что значит, как выдавать ложную монету за настоящую.

Вы, конечно, согласитесь со мною, что название книги: *Любовники и супруги, или мужчины и женщины* (*некоторые*) довольно любопытно. Толь любезные и близкие к сердцу предметы не могут не возбудить охоты иметь оную. Но рассмотрим, что книга сия в себе содержит.

Г. издатель начинает оную *Забавным баснословием древних греков и римлян*. Сие баснословие вместо того, чтоб произвесть удовольствие, наводит читателю скуку не столько потому, что сия часть мифологии известна почти уже всем детям, как по тяжелому ее слогу и дерзким выражениям, которые при прочтении первых осьми строк тотчас усматриваются. Толкование сего баснословия состоит в 37 страницах. Судите, государь мой, по сему, как должно быть оно занимательно?

За оным следует: *Разговор купидона с дурачеством, или торжество дурачества над любовию*. Сей разговор не заслуживает никакого внимания. Приметить только надобно, что в книгах, сим Г. Г. издаваемых, дурачество и наглость всегда торжествуют.

За сим следуют: *Потешные повестцы и Мудрые ответы*. Под сим разумеет г. издатель те анекдоты, которые выбрал он из разных книг, и к чему наипаче *Письмовник Курганова*, что собранием всякой всячины назваться может, послужил ему достаточным пособием. Сии *повестцы* не заключают в себе ничего *потешного*; скучного же и несносного весьма много. Большая часть из древних анекдотов, им помещенных, так изувечены, что нельзя не видеть, как г. издатель старался выдать их за новые; но, вместо того, мы получили их только перепорченными. Не зная же, как разумеет издатель мудрость, не могу потому и вам ничего сказать я о *Мудрых ответах*. — 110 страниц наполнены сими *повестцами*.

Правда, *Достопамятные положения*, следующие за оными, любопытны; но по одному токмо названию своему.

Потом следует *Песня некоего мореходца. Песня сия*, единственная в своем роде, составляет все украшение сей его книги.

Но вдруг за нею — *Сантипп философ* является *с своими нравоучительными баснями. О! любовники и супруги, или мужчины и женщины* (*некоторые*)! сколь много одолжены вы издателем, который для вас воскресил сего философа. Я ни слова также не скажу вам, государь мой, о баснях, потому что они слишком известны, но удовольствуюсь приведением следующего нравоучения относительно к 41 басни: *от кого благодарность получить есть надежда, тому благодеяние оказывать должно*. Как можно ограничивать таким образом благотворение, сию столь любезную добродетель? Прямо благодетельный человек не ждет никогда наград за добро, им оказываемое; сие оскорбило бы его великодушие: подавать руку помощи своим врагам и неблагодарным есть единственный предмет его награждений и верховного его удовольствия.

После сих басней, около 37 страниц занимающих, г. издатель предлагает *Нечто во особенности о женщинах*. Вы, наверно, любопытствуете знать, что это такое? Чрезвычайное, государь мой, чрезвычайное! — Тут представляет издатель *мнение некоторых знатоков*: посредством чего женщина может *заслужить имя красавицы?* Какое важное открытие! какая превосходная польза! льзя ли не радоваться, видя такие успехи нашей учености.

За сим следует песнь „*Наказанный Нарциз или новое превращение*“*;* надобно сказать, что есть в ней некоторые довольно изрядные стихи, как то:

И новый Лимфия свой вид воспринимает:
Пастушка млеет вся, пред сладким как бы сном;
Струями уж власы катятся над челом;
Прохладу некую на сердце ощущает;
Любовный пламень в нем, как жажда, погасает.
Исчезла вся любовь к Нарцизовой красе;
Забвенье сладкое объемлет чувства все;

Одежда белая и нежные все члены,
Как тающе сребро, вдруг стали распущенны.
Зеленый пояс в брег явился обращен,
Травою мягкою, цветами испещрен.
Струи спокойные с веселием играли,
Луч солнца искрами златыми отливали;
Журчанье тихое ток Лимфин испускал
И будто бы еще Нарциза упрекал.

Превращение Нарциза в цветок описано также довольно хорошо.

Я, может быть, уже наскучил вам, государь мой, предложением замечаний моих на сию книгу, которых издатель нимало не заслуживает. И потому не распространюсь более; но в заключение скажу, что остальная половина сей книги состоит в *пословицах и поговорках простонародных*, выписанных из письмовника *забавных граматок к красавицам*, или, в прямом смысле, глупых и вздорных писем, *в песнях*, взятых из песенника. Оканчивает же издатель книгу сию *Изящным изображением мужчин и женщин*, которое гораздо бы приличнее было поместить между *потешными его повестцами*, выше сего мною описанными.

Вот вам верное начертание сей книги! Скажите, государь мой, заключает ли она в себе хотя что-нибудь соответствующее ее названию? Г. издатель, как видно, хотел уподобиться пчеле, которая собиранием соков из различных цветов приуготовляет чрез то приятный и сладкий для нас мед; а как к сему потребно искусство и труды, совсем издателю несвойственные, то, вместо приятного и сладкого сока, собрал он с цветов одну токмо нечистоту и пыль, и потому сия книга его представляет нам довольно изрядную *кучу сору*.

Ваш усерднейший

Читатель.

Торжок. Октября 29 дня.

IV

Почтенный издатель!

Не успеешь книжки прочесть — уж и другая из печати выходит. Как не отдать должной справедливости отличному усердию Г. Г. и не подивиться, что при таковых способностях нимало не гоняется он за славою, а довольствуется токмо собиранием плодов ее в неизвестности... имени своего не открывает, а дает судить о себе по своим книгам. И в самом деле, если рассмотреть в сем его намерение, то оно не худо; к чему послужит имя? вить оно не придаст книге более смысла, не украсит ее содержания: была бы надпись любопытна, да не было бы накладу; — что и в имени, если в сем послед-

нем неудача — чего уже не входит ныне в расчет! Но, как бы ни было, пусть Г. Г. поступает в сем случае, как он хочет; пусть выдает книгу с именем своим или без имени и ставит им цены, какие для него выгоднее; я с моей стороны стану платить ему назначаемые им деньги, буду брать у него книги и стану ценить их всегда по-своему. Право на то продает он сам,— почему покорнейше вас, государь мой, прошу, чтоб вы с обыкновенною вашею благосклонностию сие мое к вам письмо поместили в журнал ваш, чрез что доставите читателям вашим случай увидеть и, может быть, остеречься от покупки вновь сим Г. Г. изданной книги, сию прекраснейшую надпись имеющей:

Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными) изображены и сравнены правдолюбом. В С.-Петербурге, І. К. Шнора.

Сия книга разделена на 6 глав и состоит из 240 страниц, в осьмушку. Такое наблюдение в рассуждении другой книги было бы совсем, может быть, не кстати, — я в том согласен; но здесь оно нужно, и сказать о сем велит долг рецензента потому, что все достоинство сей книги состоит в ее толстоте.

Издатель начинает оную *изображением первой брака ночи, или первых нежных объятий в браке*. Вот поистине изрядная картина для несозрелых умов, невинных сердец, пылких и юных лет! И хотя искусство издателя совсем не соответствовало его намерению, хотя картина сия представлена им в весьма грубых красках и безобразнейших чертах,— однако, при всех сих ее недостатках, она может еще в неопытной и кипящей молодости произвесть некоторые впечатления — равно как искра бывает иногда причиною сильнейшего пламени.

„Я не намерен здесь, как иной мог подумать, распалять страстей. Нет, вредить я никому не хочу и не буду. Дождитесь токмо конца; увидите изящество и пользу сего начертания“.— Прекрасно! но чем докажет мне г. издатель, что он *вредить никому не хочет*? чем? Уже ли думает он, что, поставив слова сии при начале книги, сделал он все, чтоб ему в том поверить? уже ли, предприняв намерение никому зла не делать, почитает он сие важною услугою? уже ли думает, что в сем только состоит долг честного человека, долг гражданина, долг писателя? Не худо, когда г. издатель сохранит желание сие хотя на будущее время; я уверен, что сказали бы ему за то *спасибо*. Но теперь, выдав книгу сию, нимало не исполнил он добровольно сделанного им сего обещания. „Дождитесь токмо конца, увидите изящество и пользу сего начертания“. Что означает смысл сих слов? не то ли, что издатель, чувствуя и сомневаясь сам в пользе сей книги, заблаговременно упрашивает читателя вооружиться терпением, без которого не надеется он, чтобы возможно было прочесть книгу

его до конца, где, как говорит он, раскрывается *токмо изящество* оной. Но пусть неизвестный *конец* сих *начертаний* будет прекрасен; оставим оный для г. издателя. Пусть побережет он его для себя и никому не показывает; сим окажет он величайшую благонамеренным людям услугу. А дабы видеть, что алчба к корысти выдумать может, то для сего слишком довольно и сей *первой* его *части*.

„Вот! приближаются две благомыслящие особы; назовем их *Альдон* и *Альдина*. Искренно вверяя себя друг другу, идут они, взявшись рука за руку; ибо сей день есть торжественный день любви их, день бракосочетания".

Я никак не мог решиться представить сих особ в том самом виде, в каковом изобразил их г. издатель; надобно совершенно отказаться от скромности, долженствующей управлять пером писателя. Но обязан сказать, что сие *первых нежных объятий в браке изображение почитает издатель торжеством дружбы и любви* и восклицает, *что никто еще поныне достойно его не воспел*. Здесь самолюбие издателево доказывает, что он весьма редко, а, может быть, и совсем не входит в самого себя; когда бы делал он сие почаще, то я уверен, что он скоро переменил бы сие о себе мнение и не столько бы велик казался в глазах своих.

Вторая, третия и четвертая главы сей книги состоят в описании *уловок или ухваток, проказ и плутней любовницы (продажной), а пятая* представляет *потехи с невинностию и падение оной*. По одному уже содержанию их может всякой сделать о них справедливое заключение... Я привел бы из сих глав некоторые места; но кто может быть в сем случае столько любопытен? кому могут они понравиться? и потому, дабы не раздражить благородных и чувствительных сердец, я оное оставляю.

Последняя глава состоит из писем, в которых издатель описывает другу своему Линдгельму утехи отца и матери, величайшее удовольствие в браке. Все, что я о сей главе сказать могу, так это то, что она ничем не лучше прочих.

Заключает же издатель книгу сию *премудростию Иисуса сына Сирахова и притчами Соломоновыми*, на славянском языке писанными. А я, с моей стороны, ничем не нахожу лучше заключить сего моего к вам письма, как следующим для издателя наставлением:— jài toujours cru que le respect qu'on doit au public n'est pas de lui dire des fadeurs, mais de ne lui rien dire que de vrai et d'utile ou du moins qu'on ne juge tel; de ne lui rien présenter sans y avoir donné tous les soins dont on est capable, et de croise qu'en faisant de son mieux, on ne fait jamais assés bien pour lui.

I. I. Rousseau.

Может быть, некоторые спросят меня: почему издание сей книги приписываю я тому же Г. Г. который издал недавно *Любовники или супруги, мужчины и женщины* (*некоторые*). Сие нимало не должно быть удивительно: во-первых, скажу им, что приятель мой, живущий в Петербурге, о сем меня уведомил; но хотя бы сего не случилось, то льзя ли ошибиться в слоге и предметах, сим Г. Г. избираемых.

Я бы прислал к вам, государь мой, и еще рецензии на некоторые русские книги, хотя не новые, однако довольно важные; но, не зная, станете ли вы продолжать издание ваше на будущий год или нет, почитаю сие бесполезным и для вас некоторым образом обременительным. Впрочем, имею честь пребывать вашим усерднейшим

Читателем.

Торжок. Декабря 28 дня.

<О СТИХАХ ДЕВИЦЫ Мо>[52]

Сии и также еще некоторые стихи, кои в следующих месяцах помещены будут, получил я от одной девицы М.— Они суть плоды свободного ее времени, любви к упражнению.— Редкий пример между девицами нашего времени!— Редкие достоинства!— Везде излито чувство, пленяющее сердце!— Всюду видна душа, исполняющая читателя нежнейших ощущений!— Прискорбно, очень прискорбно, что скромность ее лишает нас удовольствия узнать ее имя. И[здатель].

<О ПИСЬМЕ НЕИЗВЕСТНОЙ ОСОБЫ>[53]

Получивши от неизвестной особы сие одолжительнейшее письмо с помещенными в оном вопросами, рассуждениями и живо изображенными благовидными намерениями, издатель поставляет приятнейшим долгом изъявить чувствительнейшую признательность оной особе, во уважение патриотического духа, благородства чувствований и доброхотного приглашения к разделению славы, каковая от удовлетворительного разрешения столь важных задач, несомнительно, воспоследовать долженствует, и предполагая вероятнейшим образом, что по сообщенному предначертанию заготовлены уже оною особою нужные к столь великолепному зданию запасы,—издатель усерднейшим образом просит ее о доставлении образца решению хотя первого из предложенных вопроса, дабы по оному любители словесности и рачители общественного добра могли надежнее и единообразнее заниматься решением прочих.— Как сей образец, так и другие труды, которые оная особа благоволит впредь присылать, с благодарностию принимаемы и помещаемы будут.

<О ПРЕДРАССУДКАХ>[54]

Как сие, так и второе рассуждение, что в следующем месяце помещено будет, по важности их предмета заслуживают особенного читателева внимания. В них увидит он, с каким глубокомыслием сочинитель оных предлагает истины, против которых не малое число из новейших любомудров с толикою ревностию восстают, стараясь совершенно оные испровергнуть. Сии непреклонные умы судят о предрассудках по одному токмо их виду, не входя в порядочное исследование тех выгод, каковые общество от оных получает, и разят без разбору все, не мысля, какие предрассудки испровергнуть должно и какие надобно употребить на истребление их средства.— В надежде, что сии два рассуждения ясностию своих истин конечно, немало принесут удовольствия любящим заниматься подобными материями, оные здесь и помещаются.

<О ВРЕДЕ ВОЙНЫ>[55]

Здесь любомудрие Шарроново в заблуждении, он сам себе противопоставляет привидения, с которыми сразиться должно. Отечество простило ли бы гражданину, когда бы он на войне пощадил родственника или друга? Но ежели позволительно пощадить родственника, друга, то нельзя ли также пощадить и всякого другого человека, потому что все люди братия? — Без сомнения, когда будем восходить к первым началам нравственности, запрещающей людям убивать себе подобных. — Но чрез это уничтожалась бы война? — Тем лучше. Разум никогда не одобрял сего варварского употребления. Поэтому не надобно защищать своего отечества? Это слишком уже много. Надобно его защищать, не щадя даже своей жизни, когда нельзя того иначе исполнить. Но ежели бы люди захотели друг друга слушать и все делали сходно с разумом, то никогда не дошли б до необходимости убивать друг друга.

<О ФОНВИЗИНЕ>[56]

Кому из соотечественников наших не известны сочинения г. *Фон Визина*, сего знаменитого писателя? Писателя, которому по сие время не было еще у нас достойных подражателей, и не знаю, будет ли когда-нибудь — другой *Фон Визин?* Напрасно было бы входить мне в подробное исследование превосходных его как феатральных, так и других пиитических творений, которые большая часть людей, словесность любящих, знают почти наизусть; и что, кажется мне, не малым уже послужить может доказательством о их достоинствах и изящности.— Кто не согласится со мною, что вообще во всех его сочинениях блистает отличная острота, видны оригинальные черты пылкого воображения, что краски для писания картин, им употребленные, суть самые живые, трогательные и восхитительные; что рассуждения его точны, основательны; слог исполнен приятности, замысловат и плавен; что критики, им учиненные, благоразумны и умеренны?—С каким искусством мог он обнаруживать зловредные пороки, обычаи, нравы, общество в его время заражавшие, и, давая, таким образом, во всей силе чувствовать пагубное оных действие, умел, с другой стороны, с отменною привлекательностию, с особенным чувством представить истинные пользы и побуждать к добродетели.— Самая сухая нравственность под пером его имеет свои прелести и занимательна.— К сему можно присовокупить еще, что число переводов его хотя и не велико, однакож все они прекрасны и не менее доказывают вкус его, как и знание в выборе оных.— *Фон Визина* нет более!— Российской феатр лишился в нем своего *Молиера*. Словесность — нужнейшего ей сотрудника, члена, славу ей приносившего. Отечество потеряло в нем верного сына, доброго гражданина.— Его нет более!— Но доколе свет наук будет озарять отечество наше, он всегда будет почтен, и творения его останутся навсегда драгоценным памятником для его читателей.

Нижеследующее „Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях“ получил я по случаю от одной почтенной

особы. Оно есть последний *Фон Визина* труд. Я помещаю здесь его совершенно так, как оно мне досталось. И хотя по приключившейся писателю смерти осталось оно к общему нашему прискорбию недоконченным, однакож, при всем том, читатель не без удовольствия между прочим узнает жизнь и характер сочинителя, с толь удивительною точностию и признанием им свету обнаруживаемый.— В последствие же издания нашего, если не случится никаких препятствий, постараемся сообщить читателям нашим некоторые письма его о Париже, к одной особе им во время пребывания его в сем городе писанные и весьма много любопытного в себе содержащие.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЕРЕВОДЫ ИЗ СОЧИНЕНИЙ П. ГОЛЬБАХА, НАПЕЧАТАННЫЕ В „САНКТПЕТЕРБУРГСКОМ ЖУРНАЛЕ“ 1798 г.

О ПРИРОДЕ[57]

Вселенная, сия ужасная громада всех бытий, не представляет глазам нашим ничего, кроме вещества и движения; всецелость оныя не показывает нам ничего, кроме незримой и беспрерывной цепи причин и действий. Из причин некоторые нам известны, поелику непосредственно поражают наши чувства; а другие не известны, поелику производят в нас впечатления действиями, часто весьма отдаленными от первых своих причин.

Величества многоразличные и бесчисленными образами соединенные получают и беспрестанно сообщают разные движения. Различные свойства сих веществ, разнообразные оных соединения и действия, кои суть необходимые следствия свойств и соединений, составляют для нас существа вещественных бытий; и от сих-то различных существ происходят разные отделения, роды или системы, занимаемые в природе сими бытиями.

Итак, природа в самом пространнейшем своем знаменовании есть одна великая всецелость, происходящая от собрания всех бытий, составляющих вселенную; в теснейшем же знаменовании понимаемая или рассуждаемая в каждом бытии, есть всецелость, происходящая в каждом из существа бытия, то есть оного свойств, соединений, движений, или образов действия, различающих одно бытие от прочих. Например, человек, превосходнейшее дело рук творца природы, состоит из двух существ совершенно различных. Одно собственно грубое и страдательно, то есть не могущее само собою никак действовать, имеющее протяжение, образ, части, способное к принятию движения, покоя, деления. А другое существо само собою действительное, не имеющее протяжения, ни деления, само

себя понимающее, мыслящее, рассуждающее (отрицающее то, что ему кажется ложным, и утверждающее то, что почитает истинным), то есть умствующее.

Человек рождается нагим и лишенным всякой помощи; скоро приходит в состояние одевать себя кожею, потом с удивлением видим его плетущего золото и шелк. Бытию, вознесенному выше нашего шара и с высоты атмосферы рассматривающему род человеческий со всеми его произведениями и переменами, люди показались бы подверженными законам природы не меньше в то время, когда нагие скитаются в лесах, снискивая с трудом себе пищу, нежели когда, живя в гражданских обществах, искусившиеся множеством опытов, для погружения себя в роскоши находят ежедневно тысячи новых нужд и открывают тысячи способов к удовлетворению оных. Все меры, употребляемые нами к перемене образа нашего бытия, не иным чем могут быть почтены, как пространным последствием причин и действий, обнаруживающих первые побуждения, сообщенные нам природою. Одно и то же животное в рассуждении своего членосложения приходит постепенно от нужд простых к многосложнейшим, которые, однакоже, суть следствия его природы. Таким образом бабочка, коея красоте удивляемся, начинает свое бытие неодушевленным яичком, из которого теплота выводит червячка, сперва бывающего хризалидою*, а потом превращающегося в крылатое насекомое, украшенное живейшими цветами; находясь в сем образе, производит себе подобных и распространяет свой род; наконец, исполнивши долг, возложенный природою, или описавши круг перемен, природою предназначенный такого рода бытиям, лишившись своих украшений, умирает.

Мы видим надлежащие перемены и свойственные степени созревания во всех растениях. Приличное соединение малейших частиц и состав клейкости или соков есть причиною, что какое-нибудь растение, нечувствительно возрастая и изменяя вид, через несколько лет производит цветы, кои суть признаки смерти оного.

То же случается с телом человеческим; оно во всех своих возрастах и во всех изменениях подвержено законам, свойственным сложению его частей и веществу, составляющему его.

Итак, человек в исследованиях своих большею частию должен употреблять в помощь физику и опыты; с ними должен советоваться в науках и художествах, в забавах и трудах своих. Природа действует по законам простым, единообразным, непременным, которые познаем чрез опыты; посредством чувств наших соединены мы с всеобщею природою; по-

* Chrysalide, хризалида, есть третие состояние насекомого, в котором недвижимо и в плеве своей пребывает заключена до последнего изменения.

средством оных можем испытывать и открывать ее тайны; как скоро оставляем опыт, немедленно впадаем в пустоту, в которой воображение наше заблуждается.

Большая часть заблуждений человеческих суть физические. Люди неминуемо обманываются всякий раз, когда пренебрегают испытывать природу, советоваться с ее законами и призывать в помощь опыт. Так, по недостатку опытов получают несовершенные понятия о веществе, оного свойствах, соединениях, силах, образе действия. Тогда вся вселенная кажется им ложным призраком или мечтою; не познают природы, презирают ее законы, не усматривают путей, предначертанных ею всему заключающемуся в ней. Прямо сказать! не познают самих себя: все их мнения, догадки, умствования без опыта суть не что иное, как сплетения заблуждений и нелепостей.

А посему человек, не познавая себя и необходимых отношений, существующих между им и бытиями его рода, презирает долг свой в рассуждении других; не понимает, что они нужны для собственного его благополучия; не видит должности своей; не видит излишностей, которых, для соделания себя истинно благополучным, должен удаляться; не видит страстей, которым, для собственного благополучия, должен или сопротивляться, или повиноваться,— словом, не понимает истинных выгод своих. Отсюда происходят все его непорядки, невоздержанность, постыдные желания и все пороки, в которых он погружается с потерею своего здравия и постоянного благоденствия.

Сверх сего, от непознания природы и ее законов, от неисследования и неоткрытия путей и свойств ее человек утопает в невежестве или делает слабые и неизвестные шаги к поправлению своего жребия: нерадение заставляет его полагаться на примеры, последовать привычке и слушаться принуждений больше, нежели опытов, требующих деятельности, и разума, требующего размышлений. Отсюда рождается то отвращение, которое люди оказывают ко всему тому, что, кажется, отдаляет их от правил, к коим они привыкли; отсюда слепое уважение и привязанность к древности и самым безумнейшим внушениям их предков; по причине сего нерадения и по недостатку опытов врачебная, естественная и земледельческая науки (медицина, физика и земледелие), словом, большая часть полезных наук, производят столь мало чувствительных успехов и пребывают столь долго *в оковах предубеждений.* Упражняющиеся в сих науках желают лучше следовать путями, им начертанными, нежели проложить новые; они пылкость воображения своего и пустые догадки предпочитают соединенным с трудами опытам, кои одни только могут открывать таинства природы.

Одним словом, люди или от нерадения, или от страха, презрев свидетельство чувств своих, на трудном пути наук руководствуются одним воображением, привычкою и предрассуждениями. И для того не редко бывает, что мнения, основанные на воображении, занимают место опытов, размышления и здравого разума.

Итак, нужно вознестись выше темных облаков предрассуждения, выйти из густой окружающей нас атмосферы, дабы можно было надлежащим образом судить о мнениях и различных умствованиях человеческих; перестанем верить испорченному воображению; возьмем в путеводители опыт; начнем советоваться с природою; постараемся почерпать в ней самой истинные понятия о предметах, содержащихся в ней; призовем на помощь наши чувства; станем спрашиваться разума; постараемся рассматривать со вниманием видимый мир, а сие рассматривание непременно доведет нас до познания невидимого творца его.

О ДВИЖЕНИИ И НАЧАЛЕ ОНОГО [58]

Движение есть стремление, по которому тело переменяет место, то есть соответствует попеременно разным частям пространства или переменяет расстояние в рассуждении других тел; а *расположение к движению* есть сила, понуждающая тело к вышеозначенной перемене. Движение учреждает отношения между орудиями наших чувств и вещественными бытиями, находящимися внутрь или вне нас. Чрез движения сии бытия производят в нас впечатления, по которым познаем их существование, судим о их свойствах, различаем одних от других и разделяем их на разные классы.

Различные, примечаемые в сей пространной вселенной, *бытия, существа и тела*, сами будучи произведения известных некоторых соединений, становятся обратно *причинами*. Какое-нибудь бытие можно назвать *причиною*, когда оно другое приводит в движение, или когда производит в другом некоторую перемену; *действием* же в таком случае бывает перемена, которую одно тело в другом чрез движение производит.

Всякое бытие, в рассуждении своего существа, или особливой природы, способно к произведению, принятию и сообщению разных движений; а потому некоторые бытия способны к поражению орудий наших чувств, сии же к принятию впечатлений, или некоторых перемен от их присутствия.

Природа есть собрание всех бытий и всех движений, как нам известных, так и многих других, которых мы не знаем, поелику оные не подлежат чувствам нашим. От беспрестанного действия и противудействия всех вещественных бытий, содержащихся в природе, происходит цепь причин и действий

или движений, управляемых постоянными и неизменяемыми законами; есть некоторые движения, коих начала нам не известны, потому что не знаем, из чего состоят первоначальные существа большей части бытий. Первые начала, или элементы тел, не подвержены орудиям наших чувств; мы познаем оные только в сложении (в массе), а не знаем внутренних теснейших их соединений, ни соразмерности, или пропорции, находящейся в сих самых соединениях, отчего необходимо должны происходить весьма различные движения или следствия.

Чувства наши показывают нам вообще два рода движений в вещественных бытиях, окружающих нас; одно — *движение целого*, или *массы*, посредством которого целое тело переходит с одного места на другое; таковое движение чувствительно для нас. Так, видим камень падающий, шар катающийся, руку движущуюся или переменяющую положение. Другое движение — внутреннее и сокровенное, зависящее от жидкости, проницающей тело, от соединения действия и противудействия неощутительных частиц вещества, составляющего тело; сего движения мы не видим, а узнаем оное по переменам или изменениям, примечаемым чрез некоторое время в телах или смешениях. Таковые сокрытые движения производит брожение в частицах муки, которые, сколь ни раздельны и сколь ни несвязаны бывают, тесно соединяются и составляют одно целое, или массу, которую мы называем хлебом; такие же неощутительные движения суть те, посредством которых какое-нибудь прозябание растет, укрепляется и изменяется, получает новые качества, так что глаза наши не могут усматривать движений, происходящих от причин, производящих сии действия. Наконец, такие же внутренние движения делаются в человеческом теле и служат варению желудка, обращению крови, приуготовлению жизненных духов и проч.

Движения, как видимые, так и сокрытые, называют *приобретенными*, когда оные сообщены телу от посторонней какой-либо причины или от силы, существующей вне оного, которые мы посредством чувств наших познаем; так, например, мы называем *приобретенным* движение, которое ветр производит в парусах какого-нибудь судна.

Произвольными движениями называются такие, которые произведены в теле, заключающем в себе причину перемен, усматриваемых в нем; таковoго рода движения суть в человеке ходящем, бегающем, говорящем, кричащем и проч. *Простыми* движениями называем те, которые возбуждены в каком-нибудь теле одною причиною или силою, а *сложными* те, кои произведены многими причинами или силами различными, хотя бы сии силы были равные или неравные, вместе действующие или попеременно, известные или неизвестные.

Какого бы рода ни были движения бытий, однако оные всегда бывают приличны их существу, свойствам, составляющим их, и причинам, действующим на них. Каждое бытие действует и движется особливым образом; вот что составляет непременяемые законы движения. Таким образом, тяжелое тело должно неминуемо падать, если не встретит какого препятствия, могущего остановить оное на пути падения; огненное вещество должно неминуемо жечь и светить; чувствующее бытие естественно расположено искать удовольствия и убегать противного.

Сообщение движения, или прехождение действия одного тела в другое, делается также по известным некоторым и непременным законам. Тело не сообщает движения другому, как только по некоторым отношениям, подобию сообразности, сходству внутреннему или в точках прикосновения, которое оно имеет с ним. Огонь распространяется только в таком случае, когда встречает вещества, заключающие в себе начала, свойственные ему; а когда встречает тела, которых не может зажигать, то есть не имеющих к нему известного некоторого отношения, погасает.

Во всей вселенной все находится в движении. Если со вниманием рассмотрим части оные, увидим, что нет ни одной из них, которая бы находилась в совершенном покое; те из них, которые нам кажутся без движения, самым делом находятся только в относительном или наружном покое; они имеют столь нечувствительное и столь неприметное движение, что мы не можем признавать их перемен. Все кажущееся нам в покое не остается ни на единое мгновение в одинаковом состоянии. Вещественные бытия беспрестанно то рождаются, то возрастают, то умаляются и разрушаются с большею или меньшею медленностью или скоростию; однодневное насекомое в течение одного дня рождается и умирает; следовательно, в жизни его с величайшею поспешностию производятся весьма великие перемены. Соединения, составленные из твердейших тел и кажущиеся в совершеннейшем покое, со временем рассыпаются и раздробляются на первоначальные свои части, или элементы; твердейшие камни чрез прикосновение воздуха мало-по-малу разрушаются; состав железа, которое от времени ржавеет и снедается, должен быть в движении от первого мгновения составления своего в недрах земли до того, в которое видим его в сем состоянии разрушения.

Физики большею частию, кажется, недовольно размышляли о том, что назвали *стремление* или *тяготение* nisus, то есть о тех беспрестанных усилиях, которыми одни тела действуют на другие, показываясь между тем в покое. Камень весом в несколько пудов кажется нам на земле в покое, однако он не престает ни на единое мгновение сильно давить землю, кото-

рая ему сопротивляется, или взаимно отражает его. Можно ли сказать, что сей камень и сия земля нимало не действуют? Чтобы вывесть себя из сомнения о сем, стоит только положить руку между камня и земли, тогда окажется, что камень, невзирая на видимый покой, в котором находится, имеет силу сокрушить нашу руку. В телах не может быть действия без противудействия. Тело, на которое действует удар, притяжение или какое давление, сопротивляяся оным, показывает нам, что оно через сие самое сопротивление противудействует; силы *мертвые* и силы *живые* суть силы одного рода, но употребляются различным образом.

Нельзя ли поступить еще далее и сказать, что в телах и составах (массах), которых совокупность, или всецелость, кажется нам покоющеюся, происходят беспрерывные действия и противудействия, постоянные усилия и беспрестанные ударения и сопротивления, словом, *стремления* или *тяготения* nisus, посредством которых части сих тел давят одни других, взаимно сопротивляются, беспрестанно действуют и противудействуют; а сие самое удерживает их вместе и делает, что сии части составляют целое, тело или состав, которых всецелость кажется нам в покое, между тем как ни одна из частей их в самой вещи не престает действовать? Тела кажутся в покое тогда только, когда действие сил их бывает равно.

Итак, те самые тела, кои кажутся в совершенном покое, в самом деле получают или в свою поверхность, или во внутренность беспрестанные ударения от тел, их окружающих или проницающих, расширяющих, изрежающих, и, наконец, от самых составляющих их; от сего части сих тел самою вещию находятся в действии и противудействии, или в беспрестанном движении, которого действия оказываются, наконец, приметнейшими переменами. Жар расширяет и изрежает металлы; из сего видно, что полоса железа от одних перемен атмосферы должна быть в непрестанном движении и что нет в ней ни одной частицы, которая бы хотя единое мгновение была в истинном покое. И действительно, в телах твердых, коих все части одна к другой близки и смежны, каким образом понимать, чтобы воздух, холод и теплота могли действовать хотя на одну из их частей, и самых внешних, без сообщения движения постепенно самым внутреннейшим? Каким образом без движения понимать, как обоняние наше поражается чрез истечение из самых плотнейших тел, которых все части кажутся нам в покое? Наконец, глаза наши видели ли бы помощью телескопа самые отдаленнейшие от нас небесные светила, если бы между оными светилами и сеточкою оболочною [sic], на дне глаза нашего находящеюся, не было проходного движения?

Словом сказать, внимательное наблюдение должно удостоверить нас, что все в природе находится в беспрестанном

движении; что нет ни одной ее части, которая бы пребывала в истинном покое; наконец, что природа есть *все действующее*, в которой без движения ничто не может происходить, ничто не может себя сохранить, ничто не может действовать. Итак, понятие о природе неминуемо заключает в себе понятие о впечатленном движении. Но, может быть, скажет кто, откуда природа получила первоначальное свое движение? На сие можно немедленно ответствовать, что она получила оное от первой причины, от того, который произвел ее из ничего. К сему присовокупить можно, что движимость есть некоторый образ бытия, который проистекает из существенного состояния вещества, и что разнообразность движений и явлений, при том бываемых, происходит от различия свойств, качеств, соединений, находящихся с самого начала в различных первоначальных веществах, в различных началах, или элементах тел. В сходство законов, постановленных создателем, различные вещества, составляющие вселенную, должны от начала мира изъявлять тяготение одни на других, стремиться к центру, взаимно себя ударять, встречать, привлекать и отражать, соединяться и разлучаться, действовать и двигаться различными образами, вследствие существа, свойственного каждому роду веществ и каждому соединению оных, существование предполагает некоторые свойства в вещи существующей: она, имея свойства, должна иметь способы действия, неминуемо происходящие от образа существования ея. Тело, имея тяжесть, должно падать, а падая должно ударять тела, встречающиеся на пути падения его; если оно плотно и твердо, то вследствие собственной плотности своей должно сообщать движение телам, ударяемым оным; если имеет с ними сходство и свойство, должно соединиться, а если не имеет никакого сходства, должно быть отражено и проч. Декарт (Картезий) для составления телесной вселенной ничего не почитал нужным, кроме вещества и движения.

Существование вещества есть одно *дело*, а существование движения первоначально впечатленного есть другое *дело*. Вещество есть тело единосвойственное (homogène), которого части разнствуют между собою только по различным своим образованиям. Первые начала, составляющие тела, состоят из одного и того же вещества; движения их увеличиваются или умаляются, ускоряются или умедляются в рассуждении соединений, соразмерности (пропорции), тяжести, плотности, величины и веществ, входящих в сложение их. Первое начало огня есть, очевидно, движимее первого начала земли; а сия плотнее и тяжелее огня, воздуха, воды; в рассуждении количества сих первых начал, входящего в состав тел, сии должны двигаться различно, и движения их должны быть некоторым образом сложены из начал, составляющих их. Первое начало огня,

приведенное самим творцом природы в движение, есть, так сказать, достаточная кислота, приводящая в брожение состав тела, или массу, и дающая оному некоторый род жизни. Земля по своей особливой непроницаемости, или по крепкому соединению частей своих, есть, кажется, начало твердости тел. Вода особливейшим образом способствует теснейшему сопряжению частей тела, будучи сама одною из сих частей. Наконец, воздух есть жидкость, приготовляющая для прочих начал пространство, нужное им для произведения движений, и сверх того способная к соединению с оными. Сии первые начала, которых одних (чистых, без примеси) чувства наши никогда нам не показывают, будучи одни через других приведены в беспрерывное действие, беспрестанно действуя и противудействуя, беспрестанно соединяяся и разделяяся, друг друга привлекая и отражая, достаточны для изъяснения составления всех видимых нами бытий; движения их рождаются беспрерывно одни от других; они составляют пространный круг рождений и разрушений, соединений и разделений на части, который не будет иметь конца, как разве в то время, когда угодно будет тому, которому одному одолжен он своим началом. Словом, природа есть неизмеримая цепь причин и действий, кои беспрестанно происходят одни от других. Частные движения зависят от всеобщего первоначально произведенного первою причиною. Оные бывают сильны или слабы, скоры или медлительны, просты или многосложны, рождаются или уничтожаются от различных соединений или обстоятельств, переменяющих каждую минуту направления, стремления, образы существования и действия различных тел, приведенных в движение. Вот куда должно устремить свои мысли для сыскания начала действия и происхождения смесей. Итак, признавать вещество естественно вечное и естественно в движении от самой вечности есть тщеславиться невежеством и безбожием.

НЕВОЗДЕРЖАНИЕ[59]

Анахарзис говорил, что виноградное дерево произращает три плода: первый удовольствия, второй пьянства, третий раскаяния.—Ежедневный опыт доказывает, что человеку ничто так не вредит, как невоздержание; ибо оное, ослабляя тело, непосредственно повергает в старость, изнеможение и, наконец, смерть приключает.—Невоздержание, говорит Демокрит, производит небольшие наслаждения, а огорчения и скорби продолжительные.—Излишество вина, тревожа беспрестанно мозг, делает человека, предавшегося вину, дикообразным, неспособным к трудам, препятствует размышлению, отвлекает от исполнения должности и сопровождает нередко к преступлениям, казнь заслуживающим.

И вообще жизнь сластолюбивая и нежная учиняет нас сперва нерадивыми, потом бесполезными и, наконец, презрительными. Но существо рассудительное должно крайне стараться о собственной сохранности своей; существо, в обществе живущее, должно тщательно соблюдать характер свой и не возмущать ничем своих способностей, в опасении вовлечену быть в рассеянность и поневоле к действиям, его унижающим и стыд впоследствии производящим. Человек общественный должен, как для собственной пользы своея, так и для пользы других, обуздывать страсти свои и сопротивляться беспорядочным внушениям своея природы. Ничто столь не естественно человеку, как желать удовольствий; но существо, рассудком водимое, убегает тех из них, кои впоследствии своем болезни навлекают: боится, да не учинит себе вреда; воздерживается, да не потеряет уважения в самом себе и от своих сограждан.

ГЛАС НЕБА [60]

О вы! которые по внушению моему ежеминутно в жизни вашей стремитесь к благополучию, не сопротивляйтесь верховному моему закону. Трудитесь для вашего блаженства, наслаждайтесь спокойно, будьте счастливы; вы найдете к сему средства, в собственном вашем сердце начертанные.— Возвратись, о непостоянный! Возвратись к божеству, тебя призывающему; оно утешит тебя, отгонит от сердца твоего сии страхи, тебя смущающие, сии терзающие тебя беспокойства, сии колеблющие тебя страсти, сии вражды, которые отделяют тебя от человека, коего ты любить должен. Предавшись природе, человечеству, самому себе, украшай цветами путь жизни твоей; перестань углубляться в будущее, живи для себя, живи для тебе подобных; входи чаще во внутренность твоего сердца и рассматривай потом существа, тебя окружающие; наслаждайся и споспешествуй наслаждаться ниспосланными мною благами всем детям, равно из недр моих происшедшим; помогай им в их несчастиях, которым они, как и ты, судьбою подвержены. Я похвалю твои удовольствия, когда не вредны они самому тебе и не пагубны твоим ближним, кои для благоденствия твоего сотворены мною необходимыми. Сии удовольствия тебе позволены, если ты только с умеренностью, мною определенною, ими пользоваться станешь. Итак, будь счастлив, о человек! Само небо к сему тебя побуждает; но помни, что ты один благополучен быть не можешь: всех смертных, равно как тебя, призываю я к счастью, которым не иначе ты наслаждаться можешь, как соделывая их счастливыми. Таков есть закон судьбы; если ты покусишься преступить оный, то помысли, что ненависть, мщение и угрызение совести всегда преследовать готовы за нарушение неизменных ее предопределений.

Итак, следуй, о человек! в каком бы ты звании ни был, сделанному тебе начертанию к достижению счастия, тобою искомого. Да чувствительное человечество побудит тебя к восприятию участия в жребии тебе подобного, да сердце твое тронется бедствиями других, да великодушная рука твоя подаст помощь несчастному, судьбою обремененному: помысли, что она тебя так же, как и его некогда, поразить может; познай из сего, что всякий несчастный имеет право на твои благодеяния. Отирай паче всего слезы угнетенной невинности, собирай в сердце твое погибающею добродетелию проливаемые; да приятный жар искреннего дружества воспламенит сердце твое, честности исполненное; да почтение милой подруги заставит позабыть тебя горести сея жизни: будь верен нежности ее, чтоб была верна она твоей; да в глазах добродетельных и соединенных согласием родителей дети твои поучаются добродетели, чтоб в старости твоей имели они о тебе те же попечения, кои озабочивали зрелые твои лета во время легкомысленной их младости.

Будь справедлив, потому что правосудие есть подпора человеческому роду. Будь добр, потому что благость покоряет всех сердца. Будь снисходителен, потому что, имея сам слабости, живешь ты с существами, таким же слабостям, как и ты, подверженными. Будь кроток, потому что смиренномудрие привлекает любовь. Будь признателен, потому что благодарность питает и сохраняет благость. Будь смирен, потому что гордость навлекает презрение на существа, единственно собою занимающиеся. Прощай обиды, потому что мщение возрождает ненависти. Твори добро тебя оскорбляющему, дабы через то превзойти его и соделать себе из него друга. Будь воздержан, умерен, целомудр, потому что роскошь, неумеренность и распутства истребят бытие твое и учинят тебя презрительным.

Будь гражданин, потому что отечество твое нужно для твоей безопасности, твоих удовольствий, твоего благосостояния. Будь верен и послушен законной власти, потому что она необходимо потребна для сохранения общества, в котором ты сам имеешь нужду. Повинуйся законам. Защищай отечество твое, потому что оно устрояет твое счастие, заключает в себе твое имущество и все любезнейшие сердцу твоему существа.

Одним словом, будь человек, будь чувствительное и разумное существо; будь верный супруг, нежный отец, справедливый начальник, ревностный гражданин; старайся служить отечеству твоему всеми своими силами, дарованиями, прилежанием, добродетелями. Разделяй дары, природою тебе данные, с живущими с тобою в обществе; изливай благосостояние, довольство и радость на всех тебя окружающих: да круг дел твоих, благотворениями твоими в движение приведенный, воздействует на самого тебя; будь уверен, что человек, счастие

других соделывающий, сам несчастлив быть не может. Поступая таким образом, какая бы ни была несправедливость и ослепление существ, с которыми рок твой определил тебе жить, никогда не будешь ты совсем лишен награждений, тебе должных. Никакая сила, на земли по крайней мере, не может похитить у тебя внутреннего удовольствия, сего чистейшего источника блаженства. Во всякое время будешь ты с удовольствием входить в самого себя; ты не обретешь во глубине сердца твоего ни стыда, ни ужаса, ни угрызения совести; ты возлюбишь самого себя, ты будешь велик в глазах твоих; будешь любим, почитаем всеми честными душами, коих похвала несравненно действительнее, нежели толпы развращенных. Между тем, как устремишь ты взор свой вокруг себя, веселые лица изъявят тебе любовь, участие, чувствование. Жизнь, коей каждая минута протекать будет в спокойствии души твоея и в любви существ, тебя окружающих, доведет тебя мало-по-малу до предела дней твоих, ибо ты умереть должен; но ты переживешь уже себя мыслию; ты пребудешь навсегда в сердцах друзей твоих и существ, тобою облагодетельствованных; добродетели твои заблаговременно соорудили в оных твердые памятники.

Итак, перестань жаловаться на участь свою. Будь справедлив, милосерд, добродетелен, то никогда не можешь ты быть лишен удовольствия. Блюдись завидовать обманчивому и скоропреходящему блаженству мощного злодеяния, торжествующего тиранства, корыстолюбивого лицемерия, мздоимного правосудия, ожесточенного могущества. Не покушайся никогда стыдом, обидою и угрызением совести приобретать гибельную власть угнетать тебе подобных; не будь наемным участником гонителей твоего отечества; стыдом покроются их лица, коль скоро встретят они взор твой.

Не сомневайся в том; ибо только я истинно и неупустительно наказую преступления, землю обременяющие. Злодей может избегнуть законов человеческих, но никогда не избегнет он моих. Мною образованы сердца и тела смертных, мною установлены законы, ими управляющие. Если ты предашься постыдному сладострастию, соучастники распутств твоих восхвалят тебя в оном, а я накажу тебя мучительными немощами, кои прекратят поносную и презрительную жизнь. Если ты предашься невоздержанности, законы человеческие тебя не накажут, но я сокращу дни твои. Если ты порочен, несчастные навыки твои будут причиною твоей погибели. Сии надменные, напыщенные вельможи, коих могущество становит превыше законов человеческих, трепещут под законами моими. Я наказую их, исполняю их страха, подозрения, беспокойств; единым названием святые истины привожу их в содрогание. Посреде толпы льстецов, их окружающих, даю им чувствовать

язвительное жало печали и стыда. В ожесточенные души их вливаю я скуку, дабы наказать их за употребление во зло благ, им мною дарованных. Во мне лишь только найдете неизменное, вечное правосудие: без лицеприятия умею соразмерять наказание преступлению, несчастие развращению. Законы человеческие тогда лишь только справедливы бывают, когда они сообразны с моими: их суждения основательны, когда мною они вдохновенны. Единые токмо мои законы суть непременны, общи везде и навсегда для управления участию человеческого рода положенные.

Если ты сомневаешься в моей власти и необоримом моем над смертными могуществе, то обрати внимание на мщение, производимое мною над всеми теми, которые противятся моим определениям. Проникни во глубину сердца сих различных злодеев, коих веселый вид растерзанную скрывает душу. Не видишь ли ты честолюбца, день и ночь мучающегося в пламени, коего ничто погасить не может? Не видишь ли ты победоносца, в угрызении совести торжествующего и над дымящимися развалинами, над дикими и опустошенными местами, над несчастными, проклинающими его, горестно царствующего? Неужели думаешь ты, что сей тиран, окруженный ласкателями, похвалами его осыпающими, не имел бы познания о ненависти, злодеяниями возбуждаемой, и о презрении, навлекаемом на него пороками его, бесполезностью его и распутствами. Неужели мнишь ты, что сей горделивый царедворец во глубине души своей не устыдился бы обид, им причиняемых, и низкостей, помощию коих входит он в милость.

Воззри на сих нечувствительных богачей, терзающихся скукою и пресыщением, всегда за истощенными удовольствиями следующими. Воззри на сребролюбца, который, не внемля воплям бедных, трясется над бесполезным сокровищем, на счет самого себя тщательно собранным. Воззри на радостное лицо сластолюбца, на веселый вид невоздержанного, тайно о потерянном здравии воздыхающих. Воззри на несогласие и ненависть, между прелюбодействующими супругами царствующие. Воззри на лжеца и обманщика, всякой доверенности лишенных; воззри на лицемера и клеветника, со страхом от проницательных твоих взоров убегающих и при едином названии ужасные истины трепещущих. Рассмотри изнуренное сердце завистника, от благосостояния других иссыхающего; оледенелое сердце неблагодарного, которое никакое благодеяние не согревает, на свирепую душу сего чудовища, которого стоны несчастных смягчить не могут. Взгляни на злопамятного, желчию и злобою питающегося и в бешенстве своем самого себя пожирающего. Воззри не обинуяся на почиющего смертоубийцу, криводушного судию, гонителя и насильствующего, коего ложе заражено пламенниками фурий.— Ты, конечно, содрогнешься,

увидя смущение, волнующее попечителя, обогатившегося на счет сироты, вдовицы и бедного; ты вострепещешь, узря мучения, терзающие сих уважаемых злодеев, которых простолюдим почитает счастливыми тогда, когда презрение, коим к самим себе они исполнены, отмщевает им беспрестанно за притеснение народов. Словом, ты увидишь довольство и покой, изгнанные невозвратно из сердца несчастных, взорам коих представляю я презрение, поругание, наказания, ими заслуженные. Но нет, ты смущаешься при плачевном позорище моих мщений. Человечество побуждает тебя разделять мучения, ими заслуженные; ты смягчаешься над сими несчастными, коих заблуждения, пагубные навыки соделывают порок необходимым; ты убегаешь оных, не ненавидя их, ты готов подать им руку помощи. Если сравнишь ты себя с ними, то возрадуешься, обретя спокойствие во внутренности собственного своего сердца. Наконец, ты увидишь совершившееся над ними и тобою предопределение судьбы, которое хощет, чтобы преступление наказывалось само собою и добродетель никогда не была лишена награждений, ею заслуживаемых.

О ПРАЗДНОСТИ[61]

„Никогда,— говорил Ксенофонт,— разум, покоренный праздности, доброго произвести не может".—Фоцилид строжае сего сделал примечание: „Рука всякого празднолюбца готова к хищению".—Жить значит творить благо себе подобным и быть полезным, уподобляясь жизни благодетельного римского императора Тита, который говаривал, когда не имел случая оказать в продолжение дня кому благодеяния: „*Друзья, сей день я потерял*".— „Я научился,— сказал один из древних,— быть себе другом, и потому никогда один не бываю".—„Ничто,— говорил де-Ламберт,— столько не полезно, как чтение нравоучения: по мере, как читаешь Плиния, Цицерона и прочих, получаешь вкус к добродетели".—Если человек столько счастлив, что возлюбит сии умственные удовольствия, то они займут приятно его время, разум отвратят от тщетностей и всех тех разорительных, нередко преступных удовольствий, следующих обыкновенно за людьми праздными и несносною скукою уязвленными. Праздности следствие есть невежество, которое погружает человека в безумие, в детство, в постыдную бездейственность, в глупость, учиняющую его бесполезным самому себе, а прочим и того более. Человек, которого разум развлечен, ничем иным занят быть не может, как пышностию, суетными нарядами, роскошью и разными дурачествами. Он, не зная, как употребить время свое, носит повсюду скуку и свое несносное присутствие: всегда будучи в тягость самому себе, таковым же и для прочих учиняется. Его скучные разговоры

ни на что иное не обращаются, как на безделицы, недостойные занимать существо рассудительное.— Катон говаривал, что тунеядцы суть непримиримые враги людей занимающихся.— Они суть истинные тираны обществ, ибо, будучи сами себе несносны, и прочих беспрестанно возмущают. Невежество есть порок тех людей, которые должны бы изучить принадлежащее к их званию, но пренебрегли оное исполнить.

Стихотворец Прадон в сочинениях своих изъявил крайнее невежество, перенеся города из Европы в Азию; но что больше служит к его укоризне, что присоединил он таковой же ответ, сделанный им некоторому принцу: „Извините меня, высочество,— отвечал он,— это от того произошло, что я не знаю хронологии",— вместо того, чтоб отвечать: „географии". Ответ глупый, свидетельствующий, что он не знал ни одной из сих наук, ни даже того, чему оные научают.— Вот еще мысли одного дворянина, кои послужить могут в девиз невежествующему дворянству: „*Что до меня, я в книгу никогда не заглядывал и, будучи рожден дворянином, когда умею на лету стрелять птиц, пить, подписывать имя свое, я почитаю себя столько же, как и покойный Цицерон, знающим*".

О НРАВОУЧЕНИИ, ДОЛЖНОСТЯХ И ОБЯЗАННОСТЯХ НРАВСТВЕННЫХ[62]

Нравоучение есть наука отношений, между людьми находящихся, и должностей, из отношений сих проистекающих. Или: нравоучение есть познание того, чего существа благоразумные и рассудительные должны непосредственно избегать, если желают сохранить себя и жить благополучно в обществе.

Чтоб быть нравоучению общему, оно должно быть соглашено с природою человека вообще, то есть основанному постоянно на сущности, свойстве и качествах, обретающихся во всех одинакого с ним роду существ, кои отличают его от прочих животных. Отсюда проистекает, что нравоучение предполагает науку о природе человека.

Всякая наука есть ничто иное, как плод опыта. Знать вещь значит испытывать производимые ею действия, образ, под которым она оные производит, различные виды, под коими можно ее рассматривать. Наука нравов, чтоб быть верною, должна быть последствием постоянных, повторяемых и неизменяющихся опытов; ибо они только могут доставить нам истинное познание об отношениях, между существами рода человеческого обретающихся.

Отношения между людей суть ничто иное, как разные образы, которыми они взаимно друг на друга действуют и кои суть причиною влияния на взаимное их благосостояние.

Должности нравоучения суть те средства, которые существо

рассудительное и способное к испытаниям должно употреблять к достижению благополучия, к которому природа его беспрестанно понуждает. Итти есть должность, влекущая перейти от одного места к другому; быть полезну есть должность, по которой желаешь приобрести внимание и уважение от подобных себе; воздержаться от соделания зла есть должность, которая заставляет мыслить, да не обратить сим на себя ненависть и негодование от тех, кои способствовать могут собственному его благополучию. Словом, должность нравственная есть соглашение средств с концом, себе предполагаемым; от мудрости или благоразумия зависит соразмерять средства сии с тем концом, то есть с пользою употреблять их к достижению благопо лучия, желание которого свойственно человеку.

Обязанности нравоучения суть тот закон, который заставляет воздерживаться или убегать от некоторых действий, могущих препятствовать искомому нами в жизни общественному благосостоянию. Кто предполагает какое-нибудь намерение, тот должен находить и средства, к оному сопровождающие; существо, ищущее счастия своего, обязано изыскивать самоудобнейший путь, к блаженству привести его могущий, обязано, под опасением учиниться злополучным, устраняться того, который его от оного удаляет. Познание сих средств есть плод опыта, яко единственного средства, научающего нас познавать как предмет, нами предполагаемый, так и верные пути, к оному сопровождающие.

Узы людей, одних с другими соединяющие, ничто иное суть, как обязательства и должности, которым они подчинились по последствиям отношений, между ими существующих. Сии обязанности, сии должности суть договоры, без которых не можно взаимного приобрести счастия. Таковы суть узы, связующие отца с детьми, государя с подданными, общество с сочленами и проч.

Сих приведенных начал довольно, дабы увериться нам, что человек при рождении своем не приносит знания о должностях нравоучения и что мнение тех крайне лживо, кои приписывают человеку чувства нравственные врожденные. Понятия, которые человек имеет о добре и зле, о удовольствии и печали, о порядке и беспорядке, о предметах, к которым он стремится или коих убегать должен, желать их присутствия или опасаться их, ничто иное суть, как следствия опытов, на которые тогда только положиться можно, когда оные справедливы, сопровождены рассуждением, утверждены рассудком. Человек, вступая в свет, ничего более не приносит, как только способности к чувствованию; и от сей его чувствительности проистекают опять те способности, кои называются *душевными*. Утверждать же, что мы имеем понятия предшедшие

о добре и зле и потолику испытанные, поколику предметы производят в нас впечатления, значит утверждать то, что мы имеем познание о причинах, не чувствуя их действий.

О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ [63]

Человечество есть наклонность, коею мы должны к существам нашего рода, как к членам повсеместного общества, для которых сама справедливость требует, чтоб мы изъявляли доброхотство и показывали им вспоможения, какие нужны для нас самих, когда бы наши обстоятельства того востребовали. Китаец, турок, американец имеют одинаковое право в нашем к ним вспоможении и в человечестве, поелику как человек и я от них взаимно сего потребую, когда буду приведен в их землю.— „*Почитай,*— говорит Фоцилид,— *как иностранного, так и гражданина; ибо мы здесь все странники, по лицу земли рассеянные*“.— Когда у Сократа спросили, из коея он земли, он ответствовал: „*Я житель мира*“.— Император Антонин говаривал, что „я, будучи по естеству своему существо, склонное общежитию и рассудительное, в каком бы я городе или земле ни был, где бы ни находился, скажу как Антонин, что *я из Рима*, и как человек: *я житель мира*“.

„*После сражения,*— говорил герцог де-Шартр,— нет уже на ратном поле неприятелей“.

Славный химист Мартын Поли изобрел посредством химии такой состав, который превосходил вдесятеро силу пороха; представил его Людовику XIV, любящему всякие химические открытия. Сей государь приказал сделать оному составу опыт. Поли употребил всю возможность, чтоб показать то превосходство, которое получить можно сим составом во время войны.— „*Ваше изобретение искусно*,— сказал король,— *опыт удивителен и ужасен; но средства, принятые в войне, и без того довольно уже насильственны; почему я вам запрещаю в государстве моем его обнаруживать и прошу истребить его из памяти: сие будет услугою человечеству.*“— Поли сдержал слово, за что получил от Людовика XIV знатное награждение.

БЛАГОДЕЯНИЕ [64]

Благодеяние есть одна из тех любезных добродетелей, которой имя одно, производя приятность слуху нашему, представляет разуму бесчисленность воображений, самых наиприятнейших. Благодеяние вспомоществует несчастным, утешает сущих в огорчении, успокаивает слабых, способствует сему священному союзу, людей связующему, который творец желал восстановить между тварями. Благодеянием бы одним был сча-

стлив род человеческий, когда бы согласилися все постановить оное общим.—„Если б,—говорил Дюклос,—делал всякий добра столько, сколько может, тогда не было бы совсем несчастных". Но надобно, чтоб благодеяние устремлялось ко благу общему и к награждению истинные токмо добродетели; ибо творить благо не понимающему и недостойному оного значит — зло существенное, значит поддерживать его и поощрять других к тунеядству. Не мудрено подать нищему, приходящему всякий день без азрения совести просить милостыни, которого на счет тщеславия своего несколькими копейками удовлетворить возможно; но чтоб прямо благодетельствовать, должно узнать людей, действительно невинно несчастливых, честных и чувствительных, не смеющих иначе показаться с просьбою, как с крайним смущением и прискорбностию. Благодеяние человека слабого творит только неблагодарных, заслуживает от людей честных больше соболезнование, нежели уважение, и учиняет его, наконец, жертвою обманщиков. „Не рассыпай,— сказал Фоцилид,— благодеяний твоих на злобных и нечестивых, в противном случае, сие будет *сеять на ветер*". Словом, благодеяние есть та добродетель, посредством которой учиниться можно приятным для подобных себе и довольным самим собою.

Полибий советовал Сципиону, чтоб он всякой раз не прежде входил в дом свой, доколе не учинит кого-нибудь благодеяниями своими себе другом. „Везде,— говорил Сенека,— где только можно встретить человека, можно уже благодетельствовать". Душа благодетельная чувствует величайшее удовольствие во утешении несчастных, ее благородное честолюбие споспешествует ко вспоможению всем страждущим от преследуемого их злополучия и по справедливости уподобляется божеству, возводящему на высоту солнце для того, чтоб оно освещало всех людей. Эвилион, наместник Анжерский, был столько расположен к благотворению бедным, что даже лишал себя, для пользы их, многого к спокойствию жизни своей служащего. Его некогда упрекали за то, что он не имел в доме своем обоев. „*Когда я вхожу в дом мой*,— отвечал он,— *то стены оного никогда не говорят, что они озябли; бедные же, стоящие у дверей моих и дрожащие от холода, мне сказывают, что они имеют нужду в одежде*".

О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ПРИРОДЕ [65]

Человек есть существо чувствующее, одаренное понятиями, рассудительное, склонное к общежитию, которое во всякую минуту бытия своего старается сохранить себя и составить приятное себе существование. И как бы различность в роде человеческом, рассуждая каждого в особливости, велика ни была, все, однако, имеют они природу общую и никогда не

изменяющуюся. Нет человека, не предполагающего себе во все время жизни своей какого-нибудь добра; нет также ни одного, который бы не полагал всех возможнейших средств к достижению счастия и избежания печали. И хотя мы часто обманываемся как в средствах, так и в предметах, нами избираемых, но сие потому, что или не имели опытов, или не в состоянии делать порядочное извлечение из тех, кои мы приобрести можем. Невежество и заблуждение суть истинные причины развращения людей и несчастия, на себя навлекаемого.

Не имея истинных понятий о природе человека, многие нравоучители обманывались в системах своих о нравоучении и, вместо истинного описания о человеке, оставили сказки и романы. Слово природа было им неизвестно, которому не могли дать смысла, порядочно определенного. Но как нравоучение должно быть познание о человеке, то должно не иначе научиться оному, как составя сперва истинные об оном понятия, без чего всякую минуту будешь подлежать погрешностям. Для получения истинного о нем познания не нужно (как то некоторые делали) прибегать к нерешимой и обманчивой метафизике и разыскивать по правилам ее скрытые пружины, его движущие, но довольно рассмотреть человека таковым, как он взору нашему представляется, таковым, как он действительно производит свои действия, и тут разобрать качества и свойства его, которые глазам нашим непременно в нем представляются.

Сие предположив, мы назовем природу в человеке собранием качеств и свойств, его составляющих, ему врожденных и отличающих его от прочих животных, с ним нечто общее имеющих. Итак, оставим трудные умствования, дабы дойти до самых невидимых и невозможных начал, из коих мысль и чувство проистекают, и в нравоучении удовольствуемся только тем познанием, что всякий человек *чувствует*, *мыслит*, *действует* и повсевременно в жизни своей ищет себе *благосостояния*. Вот качества и свойства, составляющие природу человеческую, кои обретаются неизменяемо в каждом в особливости нашего рода, и потому нет нужды знать более для открытия того направления, какое человек должен взять к достижению конца, им предполагаемого.

О УДОВОЛЬСТВИИ И ПЕЧАЛИ; О БЛАГОПОЛУЧИИ [66]

Невзирая на бесчисленность степеней, людей разделяющих, не сыщется из них двух человек, которые бы совершенно один на другого походили: но все, однако, вообще любят удовольствия и убегают печали. Подобно как и в однородных растениях нет ни единого, которое бы с другим было совершенно одинаково. Нет двух листов на дереве, кои бы взору

наблюдателя различности не представили. Между тем сии растения, сии дерева, сии листья суть одного рода, и все равно питающий их сок из вод и земли получают. Бывши расположены в почве, надлежащим образом приуготовленной, лучами благодетельствующего светила согреваемые, довольно одожденные, растения сии оживляются, возрастают, возвышаются и представляют глазам нашим вид удовольствия; в противном же случае, когда находятся они в земле неплодной, то, какие бы труды прилагаемы к восстановлению их ни были, они слабеют, кажутся страдающими, сохнут, исчезают.

Между впечатлениями или ощущениями, которые человек от поражающих его предметов получает, одни по сходственности с природным его расположением ему нравятся, другие же по их беспорядочному и возмутительному свойству не нравятся. Следственно, он одним желает продолжения их к себе возобновления, в то время как другие отвергает, желая их отдаления. И, смотря, приятным ли или оскорбительным образом чувства наши приведены в движение, мы любим или ненавидим предметы, желаем или убегаем, ищем или стараемся устраниться их влияния.

Любить предмет какой значит желать его присутствия; хотеть, чтоб продолжал он производить впечатления сходственно бытию нашему; сие есть такое желание власти, чрез которое бы мы в состоянии были ощутить приятные его действия. Ненавидеть предмет значит желать его отсутствия, видеть производимые им на чувства наши несносное впечатление истребленным. Мы любим друга, потому что его присутствие, его обхождение, его достоинства нам удовольствие составляют; мы не желаем повстречаться с неприятелем, поелику присутствие его нас отягощает.

Всякое впечатление или всякое приятное движение, в нас возбуждающееся и коему продолжения желаем, называется *добро, удовольствие*; предмет, сие впечатление в нас произведший, называется *хороший, полезный, приятный*. Всякое ощущение, которому желаем окончания, поколику оно возмущает нас и расстраивает порядок состава нашего, называется *зло, печаль*; предмет, оные возбуждающий, называется *худой, вредный, неприятный*. Удовольствие продолжительное и непрерывающееся называется *счастие, благосостояние, блаженство*; беспрерывная печаль называется *несчастие, неблагополучие*. Следственно, счастие есть непрерывное наше хотение, дабы нам таким образом и чувствовать и иметь существование, чтоб оное согласно было нашему желанию.

Человек по природе своей необходимо любить должен удовольствие и убегать печали, поелику первое сходствует с его бытием, то есть с его членосоставлением, с его темпераментом, с непременным порядком его сохранности; напротив то-

го, печаль расстраивает порядок машины человеческой, препятствует органам исполнять свои должности, вредит его сохранению.

Порядок вообще есть образ бытия, через который все части целого беспрепятственно споспешествуют достигнуть конца, природою предполагаемого. Порядок в машине человека есть образ бытия, которым все части его тела направляются к его сохранности и благосостоянию всего вместе. *Порядок нравственный*, или гражданский, есть то счастливое слияние действий и хотений человеческих, откуда проистекают сохранность и счастие целого общества. *Беспорядок* есть расстройство порядка или есть такое действие, которое вредит благосостоянию человека или целого общества.

Удовольствие тогда только есть добро, когда оно согласно с порядком; как скоро же, хотя непосредственно, хотя по последствию, производит беспорядок, сие удовольствие есть тогда зло существенное, а особливо видя, что сохранность человека и его непрерывающееся счастие суть блага наиболее желаемые, нежели как скоропреходящие и горестями последуемые удовольствия. В то время, когда человек, омоченный потом, утоляет с поспешностью студеною водою жажду свою, без сомнения, ощущает самое приятное удовольствие, но удовольствие сие вовлекает его в последствия, смертью кончаемые.

Удовольствие перестает быть благом и претворяется во зло, хотя оно настоящее, хотя последственное, и производит действия вредоносные относительно нашей сохранности: оно противно непременному нашему благосостоянию.

С другой стороны, печаль может учиниться для нас благом преимущественным, когда она простирается к нашему сохранению и к доставлению выгод постоянных. Всякий выздоравливающий терпеливо переносит побуждения голода и противится попеременно прельщающим его явствам, имея в виду возвращение здоровья, яко единственного и наиболее желательного счастия, противу могущего временно только усладить вкус его.

Опыт может только научить разбирать удовольствия, которым без страха предаваться можно, или которые предпочитать должны тем, кои могут вовлещи нас в опаснейшие последствия. Хотя любовь к удовольствию совершенно нераздельна от человека, но он должен подчинен быть желанию собственные своея сохранности и желанию непременного себе благосостояния, на всякую минуту им предполагаемого. Если человек хочет соделать свое счастие, то все убеждает его, что для достижения к сему концу он должен делать выбор в своих удовольствиях, воздержно оными наслаждаться, отметать те, кои могут причинить впоследствии болезни и раскаяние, предпочитать иногда наибольшие огорчения, когда они доста-

вить могут счастие твердое и постоянное. Удовольствия должны быть направляемы сходственно со влиянием их на счастие человеческое. *Истинные удовольствия* суть те, кои по испытании представляются нам согласными с сохранностью человека и кои не приключают ему печали. *Удовольствия обманчивые* суть те, кои, льстя ему на несколько минут, причиняют во окончании продолжительные несчастия. *Удовольствия рассудительные* суть те, кои более приличествуют существу, удобному различать полезное от вредного, существенное от ложного. *Удовольствия честные* суть те, кои не сопровождаются раскаянием, стыдом, угрызениями. *Удовольствия нечестные* суть те, от которых мы принуждены бываем стыдиться, поелику они учиняют нас презрительными как самим себе, так и прочим. Все удовольствия, когда они не соответственны должностям нашим, кончаются обыкновенно для нас беспокойством. *Удовольствия законные* суть те, кои одобрены существами, с нами живущими. *Удовольствия непозволенные* суть те, кои воспрещены законами, и пр.

Удовольствия, или ощущения приятные, непосредственно в органах наших чувствуемые, называются удовольствия *телесные*. Сии удовольствия хотя производят чувствование, с бытием их согласное, но не могут продолжиться, не причиняя ослабления сих самых органов; ибо сила их как-то естественно ограничена таким образом, что сии самые удовольствия окончаться должны для нас отягощением, если не положим между ими известного времени, которое бы, успокаивая чувства наши, восстановить могло наши силы. Вид блестящего предмета нас удивляет, но повреждает наше зрение, когда долго на нем остановимся. Вообще, все пылкие удовольствия бывают не продолжительны, поелику производят они сильные сотрясения в составе человеческом. И из сего следует, что разумный человек должен себя воздерживать и помышлять о собственном своем сохранении. Следовательно, воздержание, умеренность, отвращение от некоторых удовольствий суть добродетели, на природе человека основанные.

Человек, многими чувствами обладающий, должен стараться, чтобы чувства сии попеременно были занимаемы, без чего он в скорости впал бы в изнеможение и скуку. Из сего происходит, что природа человеческая требует, чтоб он изменял свои удовольствия. Скука есть бремя чувств наших, приведенных в движение ощущениями единообразными.

Удовольствия, именующиеся *душевными* (intellectuelles), суть те, которые мы ощущаем внутри самих себя, или которые от мыслей или от соображения понятий, в чувствах наших рождающихся, или посредством понятий, суждения, разума, воображения происходят. Таковы суть различные услаждения, кои мы от учения, созерцания, наук получаем; сии

удовольствия предпочитательнее удовольствий телесных, потому что мы имеем сами в себе способы, чтоб возбудить или возобновить оные по нашей воле. Когда чтение истории начертало в памяти нашей происшествия любопытные, приятные, привлекательные, то ученый человек, пробегая сии деяния, рассматривая их внутрь самого себя, чувствует удовольствие хотя сходное, но превышающее удовольствие любопытствующего внимательно собрание картин, в пространной галлерее находящихся. Когда философия дала нам познание о человеке, о его отношениях, о его разновидностях, страстях, желаниях, то философ, рассуждая об оном, услаждается тогда предметами, разум его усовершившими. Так точно человек добродетельный в самом себе утешается тем благом, которое на других изливает, и мыслями, что он любим, приятно упитывается.

Впрочем, удовольствия душевные, доставляющие нам услаждения, преимущественнее суть тех, кои нам внешние выгоды приносят, как-то: богатство, великие обладания, почести, доверие, милости, которые фортуна раздает и отнимает по своему хотению. Мы можем всегда услаждаться удовольствиями, источник которых в нас самих обретается; ибо никто из человек похитить их не в состоянии, выключая разве болезней, могущих нанести ослабление машине нашей и тем воспрепятствовать обладать добродетелями и удовольствиями душевными. Через сии только неразделимые от нас качества можем заслужить чистосердечную привязанность, дружбу, истинно беспристрастную. Любить кого значит не власть или богатство его в виду иметь, но взирая на его приятные достоинства, на достохвальные расположения, посредством коих он в кругу своего общества обращается, кои навсегда ему присущи, на которые можно положиться, поелику не могут быть похищены никакими в жизни случающимися приключениями.

О СОВЕСТИ [67]

Чинимые нами опыты, истинные или ложные мнения, даемые нам или нами составляемые, разум наш, с большим или меньшим рачением изощренный, приобретаемые навыки, получаемое нами воспитание — открывают в нас внутреннее чувствование удовольствия или прискорбия, которые именуют *совестию*. Можно ее определить знанием следствий, производимых действиями нашими на подобных нам, и отражением оных на нас самих.

Если хотя мало о том рассудят, то усмотрят, что совесть так, как *побуждение* или нравственное чувствование, есть расположение приобретенное, и что с весьма малою основательностию многие нравоучители почитали ее за *врожденное*

чувствование, то есть за качество, с природою нашею неразделимое. „Законы совести,— говорит Монтань,— которые мы почитаем, что происходят от природы, рождаются от обычая. Всяк, внутренно уважающий мнения и обычаи, одобренные и другими принятые, не может оставить их без угрызения, ни прилепиться к оным без похвалы". Плутарх также говорил, „что нравы людские суть качества, медленно вкореняющиеся; и кто скажет, что нравственные добродетели приобретаются навыком, тот, по моему мнению, не ошибется".

И в самом деле, как мог бы человек, не имевший чистых понятий о правосудии, иметь признательность, что учинил несправедливое дело? Надобно познать или собственным своим испытанием, или испытанием, от других нам сообщенным, следствия, каковые причины могут произвести над нами, чтобы судить о сих причинах, то есть дабы знать, полезны ли они нам или вредны. Потребны гораздо еще множайшие опыты и рассуждения, чтоб открыть и предвидеть влияние нашего поведения на других, или чтобы предузнавать часто весьма удаленные его следствия.

Просвещенная совесть есть путеводительница человека нравственного; она может быть токмо плодом великой опытности, совершенного знания истины, изощренного рассудка, воспитания, приличным образом темперамент образовавшего. Таковая совесть, не будучи в человеке действием *нравственного чувствования*, с природою его неразделимого, не будучи обща всем существам нашего народа, бывает весьма редка и находится токмо в малом числе избранных, благородных, пылким воображением или весьма чувствительным и прилично образованным сердцем одарованных.

В большей части людей находят совесть *блуждающею*, то есть которая судит весьма несоответственным существу вещей или истине образом; сие происходит от ложных мнений, составленных или полученных от других, которые заставляют понятие о благе соединять с действиями, которые нашли бы весьма вредными, если бы гораздо основательнее об оных рассудили. Многие люди делают зло и чинят даже преступления, не страшась совести, поелику она у них испорчена предрассудками.

Нет порока, который бы не терял гнусности своих черт, когда он похвален обществом, в коем мы живем; само преступление соделывается непримечательным от множества виновников. У народа развращенного не устыждаются неблагопристойных поступков или порчи нравов; тамо не устыждаются быть подлым; тамо воин не только без стыда предается грабительству и злодеяниям, но еще прославляется сим пред своими товарищами, зная, что они расположены делать то же. Если хотя мало откроют глаза, то найдут людей весьма

несправедливыми, злыми, бесчеловечными, и кои притом не укоряют себя ни в частых своих несправедливостях, которые нередко почитают они действиями позволенными или правыми, ниже в жестокостях их, на которые взирают они, как на действия похвального мужества, как на долг. Есть столь порочные народы, что совесть нимало не укоряет тех людей, которые позволяют себе хищение, человекоубийство, поединки, обольщение и проч., поелику сии пороки бывают похваляемы или терпимы общим мнением или законами не возбряняемы; тогда-то всяк предается оным без стыда и угрызения совести. Сих наглостей избегают токмо некоторые гораздо кротчайшие, боязливейшие, благоразумнейшие других люди.

Стыд есть болезненное чувствование, возбуждаемое в нас понятием о презрении, которое, знаем мы, что на себя навлекли.

Угрызение совести есть страх, каковый производит в нас понятие о том, что действия наши могут навлечь нам стыд или негодование других.

Раскаяние есть внутренняя скорбь о том, что мы сделали нечто такое, чего усматриваем мы неприятные или вредные для нас следствия.

Люди не имеют ни стыда, ни совести, ни раскаяния о делах, кои видят они усиливаемые примером, терпимые или позволяемые законами, большим числом граждан производимые: сии чувствования возбуждаются только в них тогда, когда видят они действия сии вообще охуждаемыми или могущими навлечь на них наказания.

Одни только основательные рассуждения о непременных отношениях и должностях нравственности могут просветить совесть и показать нам то, чего мы убегать и что делать должны, независимо от ложных правил, кои находим утвержденными. Совесть есть не действительна или, по крайней мере, весьма слабо и мгновенно оказывается в весьма многочисленных обществах, в которых преступившие не так заметны и потому самые злейшие люди во множестве укрываются. Вот почему обыкновенно большие города учиняются вообще стечением различного плутовства, различных обманов. Угрызения тотчас истребляются, и стыд исчезает в буйстве страстей, в стремлении веселостей, в беспрестанном рассеянии. Вертопрашество, легкомыслие, ветреность соделывают людей столь же опасными, как и величайшая злость. Совесть человека легкомысленного ни в чем его не укоряет или, по крайней мере, тотчас заглушается в таком, который беспрестанно ветреничает, ни о чем не размышляет и никогда не обращает нужного внимания на то, чтобы предвидеть следствия своих дел. Всякий человек, который не рассуждает, не имеет времени судить себя. Таким образом в закоснелых злодеях повто-

ряемые поражения совести производят, наконец, ожесточение которого нравственность истребить не в состоянии.

Совесть совещает токмо с теми, которые входят в самих себя и рассматривают свое поведение и в которых пристойное воспитание возродило желание, пользу нравиться и страх навлечь на себя подозрение или ненависть.

Образованное таким образом существо соделывается способным судить себя; оно осуждает себя, когда учинило оно какое действие, которое, знает, что может переменить чувствования, которые хотело бы оно всегда возбуждать в тех, коих почтение и нежность необходимо нужны для его благосостояния. Оно чувствует стыд, угрызения совести, раскаяние всегда, когда что худое учинило; оно рассматривает себя и исправляется, страшась испытать еще когда-либо болезненные сии ощущения, которые принуждают его часто проклинать самого себя, поелику оно взирает на себя тогда теми ж глазами, какими взирают на него другие.

Из сего явствует, что совесть предполагает воображение, которое представляет нам живым и ясным образом чувствования, каковые возбуждаем мы в других; человек без воображения представляет себе мало или и совсем не представляет сих впечатлений или чувствований; он не поставляет себя на их месте. Весьма трудно сделать честного человека из глупого, коему воображение ничего не представляет,— так, как и из безрассудного, которого сие воображение погружает в беспрестанную беспечность.

Итак, все доказывает нам, что совесть, не будучи врожденным или неразделимым с природою человеческою качеством, может быть токмо плодом опытности, воображения, руководствуемого рассудком, навыка входить в самого себя, внимания на свои действия, предвидения их влияния на других и воздействования на самих нас.

Добрая совесть есть награда добродетели; она состоит в уверении, что дела наши долженствуют нам приобресть похвалу, почтение, привязанность существ, с коими мы живем. Мы имеем право быть довольными сами собою, когда мы уверены, что другие довольны или должны быть таковыми. Вот что составляет истинное блаженство, спокойствие добрые совести, души, прочное и постоянное благополучие, коего человек непрестанно желает и к которому нравственность должна его руководствовать. В доброй совести состоит *верховное благо,— единая добродетель удобна только оное нам доставить.*

СТИХОТВОРЕНИЯ НА СМЕРТЬ ПНИНА[68]

1

НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА

Que vois-je, c'en est fait, je t'embrasse, et tu meurs.

Voltaire.

Где друг наш? Где певец? Где юности красы?
Увы, исчезло все под острием косы!
Любимца нежных муз осиротела лира,
Замолк певец: он был, как мы, лишь странник мира!
Нет друга нашего, его навеки нет!
Не долго мир им украшался:
Завял, увы, как майский цвет,
И жизни на заре с друзьями он расстался!

Пнин чувствам дружества с восторгом предавался;
Несчастным не одно он золото дарил...
Что в золоте одном? Он слезы с ними лил.
Пнин был согражданам полезен,
Пером от злой судьбы невинность защищал,
В беседах дружеских любезен,
Друзей в родных он обращал.

И мы теперь, друзья, вокруг его могилы
Объемлем только хладный прах,
Твердим с тоской и во слезах:
Покойся в мире, друг наш милый,
Питомец граций, муз, ты жив у нас в сердцах!

Когда в последни раз его мы обнимали,
Казалось, с нами мир грустил,

И сам Амур в печали
Светильник погасил:
Не кипарисну ветвь уныну,
Но розу на его он положил могилу.

К. Батюшков.

2

НА КОНЧИНУ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА

17 сентября 1805 г.

Дивиться ль, смерть, твоей нам злобе?
Ты не жалеешь никого;
Ты вздумала — и Пнин во гробе,
И мы не зрим уже его!

Но тщетно ты его сразила:
Он будет жить в сердцах друзей!
Ничто твоя над теми сила,
Любим кто в жизни был своей.

В сем мире все превратно, тленно,
И все к ничтожеству идет;
Лишь имя добрых незабвенно:
Оно из века в век пройдет!

Друзья! Мы друга не забудем
В отмщение тиранке злой,
Мы помнить вечно, вечно будем
Как Пнин пленял своей душой,

Как он приятной остротою
Любезен в обществе бывал
И как с сердечной простотою
Свои нам мысли открывал.

Мы будем помнить, что старался
Он просвещенье ускорить*
И что нимало не боялся
В твореньях правду говорить.

* Его сочинения: „Вопль невинности, отвергаемой законом", „Опыт о просвещении, относительно до России" и неоконченное „О возбуждении патриотизма", „С.-Петербургский Вестник" [sic], изданный им в 1898 году, и многие стихотворения, заслуживают уважения как любителей словесности, так и любителей философии.— См. изданный в 1805 году г. Брусиловым „Журнал российской словесности", № 10. *Прим*[*ечание*] *соч*[*инителя*].

Мы будем помнить — и слезами
Его могилу окропим
И истинными похвалами
В потомство память предадим...

Блажен, кто в жизни сей умеет
Привлечь к себе любовь сердец!
Блажен! — Надежду он имеет
Обресть бессмертия венец!

Н. Остолопов.

3

НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА

Кого там с песнию унылой
Земле навеки предают?
Над чьею мрачною могилой
Венки стенящи музы вьют?
Что вижу! Пнин, мой друг любезной!
Во цвете лет ты смерть вкусил,
Пролейся ток горчайший, слезной;
Во гробе тот, кто сердцу мил.

Вчера еще ты, Пнин, с друзьями
Спокойно, кротко рассуждал,
Вчера своими ты словами
Их грусть жестоку услаждал.
Ударил час, и смерть, косою
Взмахнув, пресекла жизни нить;
Ты пал и хладною рукою
Еще претил нам слезы лить.

Стремися в вечность довременну,
Там радость чистую вкушай
И горесть, с миром сотворенну,
В селеньях горних забывай.
Ты с жизнию вкусил печали,
Но твердо их умел сносить,
Тебя любили, почитали,
Несчастных ты умел любить.

Невинность смело защищая,
Ты предрассудки попирал;
Но, сам под игом их страдая,
Неробкой голос возвышал

К отраде тех существ невинных,
Не знающих родства, друзей,
Отцами, ближними гонимых
В несчастной участи своей.

На что ж труды твои служили?
Ты сам стал жертвой смерти злой.
Нет, нет, они соорудили
Тебе тот памятник святой,
Которой время не свергает,
Что крепче мрамора стоит;
Пнина всяк добрым называет
И всякой — прах его почтит.

Покойся в мире, прах любезной,
Покойся, добрый человек;
Друзья! поток пролейте слезной,
Что столь его был краток век.
И я окончу песнь унылу,
Не возмущу я твой покой,
Слезами окропя могилу
Повергну лиру пред тобой.

Н. Радищев.

4

НА СМЕРТЬ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА

Il sentit l'infortune en ouvrant la paupière.

Питомец нежных муз, испытанный судьбою!
Во цвете лет сражен ты смертною косою!
Скорбеть ли дружеству об участи твоей?
Умел ты чувствовать, умел в душе своей
Великих гениев твореньям удивляться:
Желал стезею их бессмертьем увенчаться.
Но, ах! что славы луч в пределах суеты?
Одно подобие ничтожества, мечты.
И сколь мы дорого за дым пустой сей платим!
В заботах для него вотще мы жизнь всю тратим.
Скажи, сколь часто ты сам осуждал себя,
Что, славу более спокойствия любя,
Ей благом жертвовал для нас неоцененным?
Безвестной жизнию и жребием забвенным!
Скажи... но ты молчишь! Безмолвен мертвый прах.
Твой глас вещает лишь друзей твоих в сердцах.
Ко гробу твоему стремяся со слезами,
Смиряемся в душе пред вечными судьбами.

Уму ли смертного предел их постигать?
Оставив бытие, ты перестал страдать.
Пусть зависть, клевета, пускай людей гоненья,
Пускай лютейших мук и бед соединенья
(Которых на земле нельзя исчислить нам!),
Пускай сей злобной сонм к тем притечет местам,
Где в недрах тишины твой будет прах храниться:
Ничем, ничем теперь твой дух не возмутится...
Ты после бурь мирских той пристани достиг,
Столетья наши где единый только миг!
Покойся! для души чувствительной и нежной
Терпеть и бедствовать есть жребий неизбежной.
Покойся! в мире сем нигде покоя нет.
Шаг к скорби был тебе — шаг первый в этот свет!
И так страдальцам смерть подав свою десницу,
К отрадной тишине низводит их в гробницу.

С. Глинка

20 сентября 1805 года. СПБ.

5

НА КОНЧИНУ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА

Что слышу? — Пнин уже во гробе!
Уста его навек умолкли,
Которы мудростью пленяли!
Навеки сердце охладело,
Которое добром дышало!
Навек рука оцепенела,
Котора истину писала!
Навеки мы его лишились!

О смерть! исчадье ада злое!
Зачем, зачем его сразила?
Он был еще в цветущих летах!
А часто изверги ужасны,
Которы землю оскверняют,
Которы кровь пьют беззащитных,
Живут до старости глубокой!
Зачем не их, его сразила?

Как древо юное весною
В саду при солнце зеленеет
И, будучи покрыто цветом,
Плоды обильны обещает,
Плоды, которые бывают
На нем всегда год года лучше;
Все им любуются и перстом
Его друг другу указуют...

Но мраз спускается на землю —
Валится цвет и лист зеленый.
Вотще садовник истощает
Свое искусство, попеченья,
Прекрасно древо сохнет, сохнет,
И глядь... совсем уже засохло.—
Так точно Пнин погиб несчастный!

Сего ль, друзья! мы ожидали?..
Почтим же прах его слезами,
Цветами гроб его украсим
И памятник ему воздвигнем
Над хладною его могилой*,
Хотя он памятник поставил
Еще давно себе и вечный
В сердцах у нас, в своих твореньях.
О Пнин! друг милый и почтенный!
Мир праху твоему навеки!
Твое век имя будет славно
И память вечно драгоценна
Для нас и для потомков наших!

Когда писать что должен буду
Для пользы я моих сограждан,
Тогда, о Пнин, мой друг любезный!
Приду я на твою могилу
И, тень твою воображая,
Твоим исполнясь вдохновеньем,
Писать тут лучше, лучше стану.
Когда же мне судьба судила
Еще прожить на свете долго
И небо мне сынов дарует,
То им доставлю воспитанье
По правилам, изображенным
В твоем полезнейшем журнале**.

---

* Друзья его хотят воздвигнуть ему памятник с надписью: *Пнину друзья* [*Примечание сочинителя*].

** Самая продолжительная и прекрасная пиэса в С.-Петербургском Журнале 1798 года, который издавал Пнин, есть *о воспитании*. Мысли, находящиеся в ней, большею частью почерпнуты из творений славного Филанджиери. Над сим сочинением трудился один почтенный друг Пнина, но, кажется, и сам Пнин тут участвовал. С.-Петербургский Журнал был первым опытом его упражнений в словесности, но к чести издателя должно присовокупить то, что сей Журнал есть один из лучших наших ежемесячных изданий и что нет в нем ни одной почти пиэсы, которая бы не служила к пользе или к наставлению читателей. Ах! для чего он не успел окончить свою славу Народным Вестником, который незадолго пред своею кончиною принял намерение издавать. *Прим*[*ечание*] *соч*[*инителя*].

Тебя в пример им ставить буду
И приведу на то их место,
Где прах теперь твой почивает.
Слезами мы его окропим
И с благодарностию будем
Произносить твое мы имя,
Пока с тобой не съединимся.

А. Измайлов.

6

НА СМЕРТЬ ИВАНА ПЕТРОВИЧА ПНИНА

Сентября 17 дня

Какая весть?— и Пнин во гробе,
Друг истины, друг нежных душ!
О, алчна смерть! колико страшны
Пределы власти твоея;
Ты стону добрых душ не внемлешь,
Караешь — власть твоя сильна.
Давно ль, друзья, его вы зрели?
Вчера он был — сегодня нет!
Одна минута разлучила
Его и нас навеки с ним.

Всегда, о Пнин! мы помнить будем
Твою горячность и любовь;
Твою мы дружбу не забудем
И прах слезами твой почтим!
Ты заслужил хвалу и славу
Своими нравами, умом.
Тебе мы памятник воздвигнем,
Как другу истины святой.

Предел судьбы и власть над смертным
В руках всевышнего творца.
Жизнь есть ничто, как миг — мечта;
Но добродетель, слава — вечна,
Их дружба с правдой чтит сердечно,
Им памятник в сердцах у ней —
Несокрушимый мавзолей!

Покойся в мире, прах любезной!
Покойся, Пнин, наш милый друг!
Настанет время — мы увидим
Тебя опять в своем кругу.

Тогда не будет уж разлуки,
Не будет горестей и слез,
И мы останемся с тобою,
Откроем тайностей завес.

С тобой навеки мы пребудем
В селеньях райских — в небесах;
Все бедства, суетность забудем
И станем чтить в своих душах
Творца всех благ земных — вселенной,
Зерцало *истины* священной*.

[*А. Варенцов*].

7

IMPROMPTU НА СМЕРТЬ И. П. ПНИНА

(Написанное в самое то время, когда секретарь Общества люб[ителей] н[аук], с[ловесности] и х[удожеств] читал донесение о смерти сего достойного президента)

Он был и нет его!.. прискорбие сердечно!..
В сих кратких двух словах вся краткость наших дней;
Но тот, кто съединял ум с кроткою душей,
В чувствительных сердцах живет тот вечно!

А. Писарев.

* И. П. Пнин ценил истину превыше всего на свете. Вся жизнь его была как бы *отливком* сего качества. Вот знак доброго человека — любезного для памяти почитающих справедливость. *Изд*[*атель*] *В*[*аренцов*].

О ПНИНЕ И ЕГО СОЧИНЕНИЯХ[69]

Неумолимая смерть махнула страшною косою — и в мире не стало одного доброго человека!... Поэт любезный, друг искренный, защитник угнетенных, утешитель несчастных, Пнин скончался прошедшего сентября 17 числа, между 10 и 11 часов пополудни. Друзья и любители изящного провожали со слезами гроб поэта-философа...

Ежели смерть есть неизбежный удел людей, то мы должны роптать на нее только за то, что она вырвала из объятий жизни человека доброго, который, будучи одарен от природы всеми блестящими качествами, украшающими человека, впоследствии мог бы взойти на ту степень, на которой человек имеет все способы украшать путь жизни своей благодеяниями. В цветущих летах, едва достигши тридцатилетнего возраста, уважаем всеми, осыпанный благодеяниями монарха, покровителя наук, заслужив талантами своими уважение публики и добрым сердцем любовь друзей, — Пнин имел в виду блестящую проспективу и в маститой старости вкусил бы плод своих трудов; но смерть, с завистию взиравшая на столь славную жертву, единым взмахом ужасного железа пресекла нечаянно жизнь и все лестные надежды его и все ожидания, которые мы в праве могли иметь от его дарований. Публика лишилась в нем хорошего писателя, друзья потеряли в нем человека, которого любили искренно.

Иван Петрович Пнин обучался первоначально в благородном пансионе Московского университета, а потом в Кадетском корпусе. В последнюю Шведскую войну был он офицером артиллерии и служил во флотилии. В 1801 году вступил в канцелярию Государственного совета, а в 1802 году, при учреждении министерств, поступил экспедитором в департамент министра народного просвещения. Два месяца тому назад был он здоров и весел; но вдруг злая чахотка, следствие сильной простуды, лишила его совершенно сил. Слабость здоровья

принудила его взять отставку — чин коллежского советника и пенсия были наградою его службы.

Сочинения Пнина останутся незабвенными в летописях нашей словесности. Давно уже сказано, что хорошие писатели еще в ребячестве оказывают тот быстрый полет гения, который впоследствии возводит их на верх славы,— Пнин в младенчестве еще сочинял стихи, которые могли бы сделать честь и в совершенном возрасте человеку. Творения его исполнены того духа поэзии и того чувства добродетели и истины, которые составляют совершенство образованного человека. Хотя он умер молод, но труды его в словесности были многочисленны. В 1798 году издавал он „Санктпетербургский Журнал“, который был занимателен для публики по прекрасным стихотворениям, излившимся из его пера. С качеством хорошего поэта соединял он и качество хорошего прозаиста и собственным примером доказал, что хороший поэт может быть и хорошим писателем в прозе и что для человека, одаренного талантами, все роды писаний свойственны. Он написал „Вопль о невинности; отвергаемой законом“, „Опыт о просвещении“ и трудился над сочинением „О возбуждении патриотизма“. С будущего года хотел он издавать журнал под названием „Народный Вестник“, которой, если судить по программе и талантам издателя, конечно, был бы лучшим произведением нашей словесности и далеко бы оставил за собою все журналы, доселе у нас бывшие. В последние минуты жизни своей трудился он над сочинением драмы „Велизарий“— написал уже первое действие; но нечаянная смерть не позволила ему оной кончить.

Пнин был рожден поэтом истины. Лира его не гремела похвал лести; он хвалил иногда, но самая похвала его имела на себе печать истины. Осыпая похвалами, он умел давать уроки строгой добродетели. Просвещенные иностранцы, хотя в слабом переводе, умели чувствовать цену и восхищаться красотами его творений. В 1804 году хотел он издать свои сочинения под названием „Моя лира“, но оставил впоследствии свое намерение. Склонясь на просьбы журналистов, отдал он им свои стихи. Публика с удовольствием читала в журналах нынешнего года прекрасные стихи его: „Славу“ и „Надежду“. Любя меня, брал он участие в сем издании: ода „Человек“, „Уединение“, „Стихи на сон“, „К роще“—суть произведения его пера. Но славнейший памятник, оставленный им, есть „Ода на правосудие“, сочиненная им в нынешнем году. Последним произведением его пера, если не ошибаюсь, был „Гимн“, петый при заложении биржи на случай посещения, коим удостоил государь император российское купечество. Вольное общество любителей наук, словесности и художеств, уважая отличные дарования его, 15 июля сего года избрало его своим

президентом. Пнин не успел произвести в действо того, что он хотел предпринять для чести общества и, смею сказать, для пользы словесности. Оплакав невозвратную потерю, друзья любезного поэта согласились воздвигнуть на гробе его памятник общим иждивением*. Дабы дать сильнее почувствовать читателям ту потерю, которую мы сделали, да позволено мне будет, в память несчастного поэта, поместить оду его на правосудие, хотя она и была уже напечатана. Сие произведение его пера будет лучшим памятником, который только можно воздвигнуть в честь его.

Пнин умер с спокойствием непорочной совести, он сохранил до последней минуты память и присутствие духа. Он не страшился смерти, ибо она ужасна только злодеям — добрый не ужасается сего последнего жребия и спокойно заносит ногу в вечность. Тот, кто в прекрасных стихах сказал,

Что смерть — последняя беда! —

мог ли ужасаться ее? Мог ли оставлять с горестию жизнь тот, кто написал сии прекрасные.

Что̀ жизнь? — Ужасный сон, который кончим в гробе.
Что̀ жить? — Быть жертвою страстям, обманам, злобе!

Я оплакиваю в нем не поэта славного, но человека доброго, друга истинного, которого я почитал и любил нелицемерно! Ах! титло *доброго* есть первейшее и достойнейшее человека!

Всякий, кто знал Пнина, согласится, что при великом уме, быстром понятии, чрезмерной памяти, глубоком познании он имел сердце нежное, чувствительное, открытое для дружбы. С такими преимуществами, не всем данными природою, он пользовался всеобщим уважением и любовию. Нашед приятелей, он не терял их никогда; знал тайну привлекать к себе сердца людей и умел в самом дружеском обращении соединять любовь с уважением.

Я говорил о Пнине как о писателе, теперь должен показать ту черту его характера и сердца, которая всегда заставит жалеть о потере сего достойного человека. Будучи весьма не богат, он любил помогать несчастным. С жаром друга человечества всякую скорбь угнетенного людьми или судьбою

---

* 23 сентября в заседании Вольного общества любителей наук, словесности и художеств, где я читал сию статью, члены в тот же вечер собрали подписку на сооружение памятника Ив. Петр. Пнину. Члены-художники вызвались сделать для оного рисунки, а г. Востоков предложил изобразить на камне сии слова: *Друзья — Пнину*. Сей будет единственный памятник, воздвигнутый целым обществом одному человеку.— С каким рвением члены друг перед другом старались почтить память несчастного Пнина! Г-да Языков, Измайлов, Попугаев, Радищев, Остолопов, Писарев читали сочинения в честь покойного сочлена своего, в которых тщились изобразить нелестную скорбь о потере невозвратной.

человека брал он близко к сердцу своему и не щадил ни трудов, ни покоя, ни иждивения для облегчения судьбы несчастных. Он чувствовал, что благодеяние тогда только дорого, когда оно, согласуясь с учением христианским, творится втайне и покрывает завесою неизвестности руку, ниспосылающую благодеяние. *Да не увесть шуйца твоя, что творит десница твоя* — есть первейший долг истинного христианина.

Прости мне, тень поэта, если я слабым пером моим дерзнул изобразить твои добродетели! Не лесть заставила меня писать сии строки — тебя уж нет в сем печальном мире! Благодарность, дружба предводили пером моим. Ах! счастлив бы я был, если бы возмог чем-либо изъяснить ту благодарность и любовь, которыми пылало к тебе мое сердце; если бы возмог когда заглушить то чувство скорби, которое с смертию твоею врезалось в мое сердце и которое никогда уже из оного не изгладится...

[Н. Брусилов].

КОММЕНТАРИИ

ОТ РЕДАКТОРА

В состав настоящего издания входят все сочинения Пнина в стихах и прозе, а также произведения, принадлежность которых Пнину не установлена окончательно (отдел „Dubia"). Несмотря на незначительный объем литературного наследства Пнина, проблема издания его сочинений в достаточной степени сложна по причинам: 1) почти полного отсутствия рукописного фонда (личный архив Пнина не сохранился; известно, что незадолго до смерти он роздал свои рукописи приятелям), 2) крайней скудости биографических данных о Пнине, на основании которых можно было бы установить его авторство в спорных случаях, и 3) недостоверности многих печатных текстов (особенно это относится к стихотворениям, напечатанным после смерти автора). Кроме того, сочинения Пнина до настоящего времени не только не были ни разу собраны воедино, но и не учтены в полном составе.

Архивные разыскания и просмотр журнальной литературы 1790—1800-х гг. позволили нам ввести в научный оборот несколько неизвестных доселе текстов Пнина, а также, в иных случаях, восполнить цензурные купюры и установить новые редакции. Кроме того, архивные разыскания доставили также некоторые новые материалы для биографии Пнина.

Первый отдел настоящего издания содержит полное собрание стихотворений Пнина, из которых два („Бренность почестей и величий человеческих" и „Карикатура") появляются в печати впервые. Заглавие отдела — „Моя лира" — принадлежит самому Пнину: так он предполагал назвать невышедший в свет сборник своих стихотворений. Внутри отдела стихи разбиты по жанрам на четыре группы: 1) оды (занимающие в поэтическом наследии Пнина центральное место), 2) разные стихотворения (элегические, сатирические и пр.), 3) басни и сказки и 4) стихотворные мелочи (апологи, мадригалы, эпиграммы, надписи, эпитафии). Внутри отдельных групп стихотворения расположены в приблизительном хронологическом порядке (более или менее точную хронологию стихотворений Пнина в большинстве случаев установить не удается).

Для стихотворений, напечатанных в 1804—1806 гг., авторство Пнина устанавливается окончательно. Более сложен вопрос о принадлежности Пнину неподписанных стихотворений из его „Санктпетербургского Журнала" 1798 г. Включив большинство из них в состав сочинений Пнина, мы руководствовались следующими соображениями. В журналистике XVIII в. самое понятие „издатель" соответствовало понятию „автор", и писатель, печатавший свои произведения в собственном журнале, обычно их не подписывал (заметим, что Пнин вообще предпочитал не подписывать свои стихотворения и в журналах 1800-х гг. помечал их знаком: *****; только посмертно опубликованные стихи подписаны его полным именем). Стихотворения, напечатанные в „Санктпетербургском Журнале", делятся на две группы: 1) подписанные именем автора, либо его инициалами, либо снабженные пометами: „сообщено", „от неизвестной особы" и т. д., и 2) анонимные, явно принадлежащие перу одного и того же автора: об этом свидетельствуют как отличительные особенности их стиля и языка, так и, в некоторых случаях, общность тематики (в разных книжках журнала напечатаны два стихотворения, обращенные к одному и тому же лицу — девице Ч...). Из первой группы стихотворений ни одно не подписано именем Пнина или его инициалами. Между тем, по авторитетному свидетельству Н. П. Брусилова (см. стр. 234 наст. издания), журнал Пнина „был занимателен для публики по прекрасным стихотворениям, излившимся из его пера". Уже одно это служит, как нам кажется, достаточно веским основанием для того, чтобы приписать Пнину анонимные стихотворения из „Санктпетербургского Журнала" (заметим, кстати, что соиздатель Пнина А. Ф. Бестужев стихов не писал). Но есть еще одно, более веское, доказательство в пользу авторства Пнина: два неподписанных стихотворения Пнина из „Санктпетербургского Журнала" („Сравнение старых и молодых" и „Счастие") в 1805 и 1806 гг. были напечатаны его друзьями вторично — одно с инициалами, а другое с полным именем Пнина. Это обстоятельство имеет, конечно, решающее значение. Включая, исходя из всего вышесказанного, в состав настоящего издания анонимные стихотворения из „Санктпетербургского Журнала", мы допустили, однако, три исключения — для пьес: „Вечер" (ч. I, стр. 42—45) „К луне", (ibid., стр. 82—83) и басни „Воробей и чиж" (ч. IV, стр. 200—202), решительно ничем не напоминающих поэтической манеры Пнина (две первых пьесы очень похожи на стихи Евгения Колычева, напечатанные в том же журнале). Не включено в настоящее издание также четверостишие „К Груше", напечатанное за подписью: Пнин в „Опыте русской анфологии", сост. М. Л. Яковлевым, 1928, стр. 143. Четверостишие это принадлежит, вероятно,

гр. Д. И. Хвостову, так как впервые было напечатано в журнале „Друг просвещения“ 1804 г., ч. IV, стр. 242, за подписью: . . . , какою подписывал в названном журнале свои стихи Хвостов. В виду неавторитетности текстов „Опыта русской анфологии“, а также в виду того, что никаких данных об участии Пнина „в Друге просвещения“ не имеется,— приписывать ему четверостишие „К Груше“ нет достаточных оснований (равно как и сказку „Овдовевший мужик“, напечатанную за подписью: П...ъ в „Друге просвещения“ 1804 г., ч. III, стр. 105).

Основные прозаические сочинения Пнина — „Вопль невинности, отвергаемой законами“ и „Опыт о просвещении относительно к России“ — печатаются в настоящем издании в новых редакциях; второе из них — „Опыт о просвещении“ — с обширными дополнениями, сделанными Пниным для второго издания, не пропущенного цензурой (см. подробнее в примечаниях).

В отделе „Dubia“ собраны некоторые из анонимных статей „Санктпетербургского журнала“, которые по тем или иным основаниям мы сочли возможным приписать Пнину (подробные мотивировки см. в примечаниях).

В приложениях к сочинениям Пнина даны переводы трех глав „Системы природы“ и восьми глав „Всеобщей морали“ Гольбаха, напечатанные в „Санктпетербургском журнале“, а также стихотворения на смерть Пнина. Включение переводов из Гольбаха в состав настоящего издания имеет очевидный смысл, поскольку Пнин был несомненным „русским гольбахианцем конца XVIII века“ и поскольку переводы эти — единственное отражение идей Гольбаха в легальной русской литературе павловской поры — существенным образом дополняют наши представления о философских и социально-политических мнениях Пнина. Что же касается стихотворений на смерть Пнина, выразительно рисующих его образ „поэта-гражданина“, то они имеют далеко не только узко-биографическое значение. Смерть Пнина в кругу его литературных друзей и соратников была воспринята как чрезвычайно тяжелая утрата и послужила предлогом для широкой идейной манифестации: в стихотворениях и речах, читанных на траурных заседаниях Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, молодые писатели-радикалы („радищевцы“) провозгласили Пнина „поэтом истины“, „не боявшимся правду говорить“, образцом гражданина добродетельного и просвещенного, павшего жертвой социальной несправедливости. Таким образом, смерть Пнина была не только биографическим, но и литературно-политическим фактом. По тем же основаниям включена в книгу и некрологическая статья Н. П. Брусилова „О Пнине и его сочинениях“.

Текст сочинений Пнина и приложений печатается без строгого соблюдения орфографии и пунктуации подлинников, так как орфография самого Пнина (судя по немногим сохранившимся автографам) отличается крайней неустойчивостью (он писал, например, и „щастье" и „счастье"), а орфография печатных текстов (подчас не соответствующая даже орфографическим правилам XVIII в. и явно ошибочная) принадлежит не Пнину, а его издателям. Нами сохранены только некоторые особенности оригинала, имеющие определенное стилистическое или историко-лингвистическое значение. В некоторых случаях нами выправлены явные опечатки.

Редакционная аппаратура настоящего издания, по условиям места, не могла быть развернута достаточно широко. Не загружая комментарий мелочами, уместными в изданиях академического типа, мы ограничились только самыми необходимыми и по возможности краткими пояснениями. Данные о жизни и литературной деятельности Пнина сосредоточены в биографическом очерке; примечания же к отдельным произведениям имеют узко-служебное, преимущественно библиографическое и текстологическое назначение; персональные биографические справки об упоминаемых в тексте лицах выделены в указатель имен. Общая характеристика Пнина, его философских и социально-политических взглядов дана во вступительной статье; место и роль Пнина в истории русской поэзии выясняются в специальном очерке „Пнин-поэт".

Приношу благодарность *В. М. Базилевичу*, *В. В. Гиппиусу* и *И. В. Сергиевскому* за их любезное содействие в деле осуществления настоящего издания, а также директору библиотеки Ленинградского государственного университета *Н. П. Вейсс*, предоставившей мне для ознакомления материалы архива Вольного общества любителей словесности, наук и художеств.

Вл. Орлов.

1933, апрель.

ИВАН ПНИН

(Биографический очерк)

> ...с детства самого до юности моей
> Наиподлейших был я жертвою людей.
>
> *Пнин.*

I

Иван Петрович Пнин родился в 1773 г. Он был „незаконным" сыном знаменитого екатерининского и павловского вельможи, фельдмаршала князя Николая Васильевича Репнина, оставившего ему в наследство единственно только частицу своей фамилии (Ре-пнин). XVIII век был богат такими усеченными фамилиями, неизменно выдающими „незаконное" происхождение их обладателей. Таковы: Ранцовы (Во-ронцовы), Мянцовы (Ру-мянцовы), Бецкие (Тру-бецкие) и др. Приятель и литературный соратник Пнина А. Х. Востоков заменил этим руссифицированным псевдонимом свою подлинную немецкую фамилию Остенек, бывшую в свою очередь уменьшительной от фамилии его отца Х. И. Остен-Сакена. Камердинер А. С. Грибоедова, его „молочный брат" Сашка, носил фамилию Грибов, позволяющую догадываться об их более близком родстве.

До последнего времени вопрос о происхождении Пнина не был решен в окончательном смысле: многие биографы называли его отцом другого Репнина, двоюродного брата фельдмаршала — князя Петра Ивановича (умер в 1778 г.), обер-шталмейстера и ревностнейшего масона; наиболее веским соображением в пользу такого предположения было отчество Пнина: Петрович. И только теперь вопрос этот выясняется окончательно: сохранилось письмо кн. Н. В. Репнина (мы приводим его ниже), не оставляющее никаких сомнений в том, что именно он был отцом Пнина. Отчество же свое Пнин получил, повидимому, от „крестного" отца (возможно, что им был кн. П. И. Репнин),— это также было в обычаях русских аристократов XVIII века в отношении их „незаконных" отпрысков.

Кн. Н. В. Репнин, несомненно, сыграл очень крупную роль в жизни своего „воспитанника“ (так официально именовался Пнин в его молодые годы); предание связывало с именем Репнина печальную судьбу нашего писателя и даже самую его преждевременную смерть. Хорошо осведомленный Н. И. Греч, лично знакомый с Пниным, дважды упоминает об этом в своих записках: „Он вырос и был воспитан, как сын вельможи. Потом обстоятельства переменились, и он должен был довольствоваться уделом ничтожным. Это оскорбило, изнурило, убило его... Он надеялся, что князь Репнин признает его своим сыном, но, узнав по кончине его (в 1801 г.), что он забыл о нем в своем завещании, впал в уныние и зачах. Движимый чувством оказанной ему несправедливости, он написал сочинение „Вопль невинности, отвергаемой законом“ (Н. И. Греч, „Записки о моей жизни“, 1930, стр. 263 и 550). Мы не думаем, что Репнин забыл о своем сыне в завещании. Вернее будет предположить, что он сознательно не пожелал обеспечить его существования, так как, судя по некоторым косвенным данным, в конце 1790-х гг. отношения Пнина с отцом резко изменились вследствие какого-то неизвестного нам конфликта. Во всяком случае, до 1796 или 1797 г. Пнин был тесно связан с отцом, и поэтому имеет смысл остановиться несколько более подробно на личности кн. Н. В. Репнина, вызвавшей со стороны собственного его сына столь страстное и суровое обличение, как „Вопль невинности, отвергаемой законами“.

Князь Николай Васильевич Репнин (1734—1801), несомненно, принадлежал к числу наиболее выразительных и типических представителей русской аристократии XVIII века. В нем, как в фокусе, были собраны все „противоречия“, столь характерные для социально-культурного и морального облика „просвещённых“ крепостников. Это был поистине вельможа самого первого ранга, стяжавший громкую славу отважного полководца, искусного дипломата и деятельного администратора. Он был щедро взыскан милостями трех царей (хотя неоднократно бывал и в опале) и преувеличенными хвалами выдающихся современников. Его „подвиги“ и „добродетели“ воспевали первые поэты века, Державин почтил его великолепной одой:

Строй, Муза, памятник герою,
Кто мужествен и щедр душою...
Благословись, Репнин, потомством!..

Кроткий Нелединский-Мелецкий в то же время восклицал в звучных строфах:

Но кто, кто муж сей знаменитый?
Отваги огнь в его очах.
Репнин, вождь храбрый, знаменитый,
России славный во сынах!

Умный и просвещенный М. Н. Муравьев посвятил Репнину форменный панегирик в стиле „похвальных слов“ великим мужам древности: „Искусный полководец, важный и остроумный негоциатор, прозорливый градоправитель, человек, равно сияющий при дворе вежливостью и толиким знанием общества, как в советах мудростью и беспристрастием, наипаче отличался он разборчивым чувствованием чести и любовью к отечеству; гражданин и вельможа, иногда несчастлив на войне, иногда увлечен пылкостью нрава, но всегда тверд, всегда готов всем жертвовать долгу службы, даже до собственной гордости, которую извиняло толикое множество заслуг. Он был живой образец благородства, добродетели, бескорыстия, великодушия и безусловной ревности. Таков был бы Аристид, ежели бы он родился в России“ (Сочинения М. Н. Муравьева, т. II, 1847, стр. 306).

Можно было бы привести немало подобных отзывов о Репнине. Но вместе с тем современники оставили и другие, вовсе противоположные отзывы, и, если верить им, выясняется, что „благородный, добродетельный, великодушный Аристид“ обладал исключительно жестоким нравом, беспредельной гордостью в отношении подчиненных ему людей и отвратительным пресмыкательством перед „сильными мира сего“, был завистлив, скуп и сластолюбив.

В Польше, где он „царствовал“ в конце 1760-х гг. (при Понятовском), Репнин оставил после себя самые скверные воспоминания. Он беспрерывно оскорблял национальные чувства поляков. По словам английского посла при петербургском дворе Джемса Гарриса, „ничего не могло быть поразительнее высокомерия его с самыми важными лицами... Он обращался бесцеремонно со всеми, даже с королем“. Он заставил два часа дожидаться в своей передней папского нунция, явившегося к нему с поздравлением; в Варшавском театре актеры не начинали представления до приезда Репнина, хотя король уже сидел в ложе целый час, и т. д. (см. „Русский Архив“ 1865 г., стбц. 953—958). И в то же время известно, что Репнин угождал Потемкину, как молоденький адъютант, и поведение его в ставке всемогущего фаворита вызывало гримасу отвращения даже у самых заядлых угодников. С. А. Тучков пишет, что Репнин „был чрезвычайно горд и вместе пронырлив. В его характере проявлялись по обстоятельствам многие противоположности... Любил он рассуждать о человеколюбии, братолюбии и равенстве,— при этом с людьми, от него зависящими, поступал он, как деспот. А между тем знают, как унижался он перед князем Потемкиным и Зубовым“ („Записки“, 1908, стр. 100). Державин в своих записках признается даже, что при встречах с Репниным он чувствовал „в душе своей во всей силе омерзение к человеку, который носит на себе личину благоче-

стия и любви к ближнему, а в сердце адскую гордость и лицемерие“ (Сочинения, т. VI, 1871, стр. 706; впрочем, Державин имел особые причины быть недовольным Репниным и даже раскаивался, что в свое время посвятил ему оду).

Репнину нельзя было отказать ни в уме, ни в образованности, ни даже во внешней обаятельности: „С видом величавым, гордою осанкою, возвышенным челом, глазами и в маститой старости огненными, коим проведенные дугою брови придавали еще бо́льшую выразительность“, сочетал он репутацию широко просвещенного человека и остроумного собеседника; получив „дельное немецкое воспитание“ под руководством одного из самых образованных русских людей XVIII века — гр. Н. И. Панина, он „удивлял всех своею начитанностью, редкою памятью, свободно изъяснялся и писал на российском, французском, итальянском и польском языках“ (см. биографию Репнина Д. Бантыш-Каменского в „Биографиях российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов“, ч. II, 1840, или же в его „Словаре достопамятных людей русской земли“, ч. IV, 1836).

Репнин был видным масоном, он был лично знаком с Сен-Мартеном и вел с ним переписку. Пользуясь высоким своим положением, он был „великим покровителем мартинистов“; известно, что связи с масонскими организациями невыгодно отразились на служебной карьере Репнина: при разгроме мартинистов он лишился расположения Екатерины II и был назначен (в 1792 г.) лифляндским и эстляндским генерал-губернатором, что при его чинах и заслугах было не чем иным, как почетной ссылкой. Именно благодаря стараниям масонов была создана легенда о Репнине-Аристиде. Один из столпов русского масонства И. В. Лопухин напечатал в 1813 г. рассуждение „Примеры истинного геройства, или князь Репнин и Фенелон в своих собственных чертах“, где подробно распространялся о „подвигах христианского милосердия и благотворительности“ Репнина (см. „Друг Юношества“, изд. М. И. Невзоровым, 1813 г., март, стр. 1—102, ср. Записки И. В. Лопухина, 1884, стр. 55).

Сохранилось множество свидетельств о „чувствительности“ Репнина. Нелединский-Мелецкий в своей оде так и называет его: „Герой чувствительный!“ Англичанин Гаррис именует его „чувствительным и человеколюбивым“ (хотя и „не показывающим кротости в обращении“). В 1801 г. молодой Андрей Кайсаров, один из птенцов тургеневско-лопухинского масонского гнезда, читает в Дружеском литературном обществе речь „О славе“, где говорится: „Известно, что великий Репнин плакал над трупами убитых неприятелей по одержании им победы“ (см. „Журнал министерства народного просвещения“ 1910 г., № 8, стр. 287). Мы не знаем, плакал ли действительно Репнин над трупами орловских крестьян графа

Апраксина, расстрелянных им картечью при подавлении крестьянских бунтов 1797 г. Известно только, что он лишил их обрядового погребения, а над братской могилой поставил столб с надписью: „Тут лежат преступники противу бога, государя и помещика, справедливо наказанные огнем и мечом по закону божию и государеву“.

В свете вышеприведенных данных нравственная физиономия Репнина принимает более ясные и „земные“ очертания. К сказанному нужно еще добавить, что Репнин был большим женолюбцем. Недаром даже англичанин Гаррис отмечал его „преувеличенную до-нельзя любезность с женщинами“. А официальный биограф фельдмаршала (Д. Бантыш-Каменский) пишет, что он „имел сердце пламенное и был счастлив любовию прекрасного пола“. Репнин оставил много внебрачных детей; в семейном архиве Репниных имеются сведения о нескольких „питомцах“ князя, влачивших, повидимому, жалкое, полукрепостное существование. Кроме Пнина, мы знаем еще одного „питомца“, выбившегося „в люди“, — это Степан Иванович Лесовский (умер в 1839 г.), участник войны 1812 г., курский губернатор (1827—1830), позднее московский жандармский генерал и сенатор. Однако, в отличие от Пнина, Репнин не забыл его в своем завещании и оставил ему 400 душ крестьян (см. „Воспоминания“ А. М. Фадеева, Одесса 1897, стр. 13). И, наконец, у Репнина был еще один „незаконный“ сын, судьба которого была вовсе не похожа на „ничтожный удел“ автора „Вопля невинности“: Репнин был отцом известного князя Адама Чарторижского (см. А. А. Васильчиков, „Семейство Разумовских“, т. IV, 1887, стр. 515; мать Чарторижского — прославленная красавица своего времени — княгиня Изабелла пользовалась не слишком строгой репутацией; см., например, анекдот о ней в „Сочинениях“ П. А. Вяземского, т. VIII, 1883, стр. 60—61; Чарторижскую же, вероятно, имеет в виду А. Т. Болотов, сообщающий об „интриге“ Репнина „с одною знатною польскою госпожою“, — см. его „Памятник протекших времян“, 1875, стр. 47—48). Любопытная переписка Репнина с Изабеллой и Адамом Чарторижскими, опубликованная в XIV томе „Сборника русского исторического общества“ (1875), свидетельствует о чрезвычайно близких, интимных отношениях корреспондентов. В 1795 г., отправляя своих сыновей в Петербург, княгиня Изабелла вверила их попечениям Репнина, и тот с исключительной заботливостью следил за каждым их шагом. „Я принимаю нежное, самое нежное участие в счастии ваших детей; я даже осмеливаюсь сказать: можете ли вы в этом сомневаться, зная мои чувства к вам“, — писал он Чарторижской. Таким образом, Пнин был единокровным братом виднейшего русского сановника первой половины 1800-х г. (Чарторижский был на три года старше Пнина,

он родился в 1770 г.). Это обстоятельство до сих пор не было отмечено биографами Пнина, между тем полезно было бы выяснить: знал ли Пнин о своем родстве с Чарторижским и не поддерживал ли с ним личных отношений? Может быть, по инициативе именно Чарторижского кружок „молодых друзей" Александра I принимал живое участие в деле издания „Санктпетербургского Журнала" 1798 г., предпринятого Пниным и А. Ф. Бестужевым на средства великого князя; может быть, именно Чарторижский способствовал тому вниманию, с каким принимались Александром I сочинения Пнина („Вопль невинности", „Опыт о просвещении"). Но пока никаких данных о личном знакомстве Пнина с Чарторижским не имеется.

Н. И. Греч сообщил, что Пнин „вырос и был воспитан, как сын вельможи". Его не постигла участь остальных „питомцев" Репнина; он вырос, повидимому, точно в таких же условиях, как десятки „законных" отпрысков благородных, княжеских и графских, фамилий. Репнин приложил, несомненно, старания к тому, чтобы создать для этого своего „питомца" более или менее прочное общественное положение; он выхлопотал ему дворянское звание, „записал" в сержанты артиллерии, позже определил его в специальное военно-учебное заведение, где перед ним открывалась дорога военно-служебной карьеры, — словом сделал для него все, что делалось обычно для воспитания дворянского „недоросля". Все это позволяет, как нам кажется, догадываться о „благородном" происхождении Пнина. Мы не знаем, кто была его мать, но вряд ли она была крепостной. Самый факт „барского" воспитания Пнина, его дворянство и даже то обстоятельство, что он, единственный из всех репнинских „питомцев", носил фамилию, хотя и усеченную, но все же почти отцовскую, — все это говорит за то, что мать Пнина следует искать в привилегированной среде, тем более, что молва приписывала кн. Н. В. Репнину великое множество романов с высокопоставленными дамами. И, наконец, последнее соображение: Пнин родился не в России, а за границей (либо в Германии, либо в Голландии). В сентябре 1771 г. кн. Н. В. Репнин „из-за неудовольствий с фельдмаршалом Румянцовым" подал в отставку и, получив увольнение на год „к водам", выехал в Германию, — известно, что летом 1772 г. он лечился в Спа, а в конце года ездил в Гаагу хлопотать у тамошних банкиров о займе в 120 000 руб. сроком на 20 лет (Репнин всегда был в „долгах" и неоднократно получал крупные субсидии на „поправление домашних дел", в 1772 г. он был накануне полного разорения). В Россию Репнин вернулся только в начале 1774 г. Очень может быть, что мать Пнина была иностранкой.

О первых девяти годах жизни Пнина мы решительно ничего не знаем. В апреле 1782 г., на десятом году жизни, он

поступил в Вольный благородный пансион при Московском университете — одно из привилегированных дворянских учебных заведений, славившееся как „рассадник отечественного просвещения". В пансионе искони преобладали литературные интересы, с его историей тесно связаны имена многих видных литературных деятелей конца XVIII и начала XIX вв., почти все воспитанники сочиняли и переводили в стихах и в прозе и издавали свои „опыты" специальными сборниками. Среди товарищей Пнина по пансиону было много таких „писателей": А. Шаховской, Д. Вельяшев-Волынцев, Д. Баранов, М. Магницкий, братья Кайсаровы, П. Кикин, И. Инзов, П. Сумароков, С. Озеров, А. Воейков и др. Некоторые из них позже проявили себя и на более широком литературном поприще. Первый биограф Пнина Н. П. Брусилов сообщает, что „Пнин в младенчестве еще сочинял стихи, которые могли бы сделать честь и в совершенном возрасте человеку" („Журнал Российской Словесности" 1805 г., ч. III, стр. 60; ср. указание Н. Прыткова, без ссылки на источник: „15-ти лет Пнин сочинил оду, но она не сохранилась ни в печати, ни в рукописи" — „Древняя и новая Россия" 1878 г., № 9, стр. 22). Возможно, что именно в университетском пансионе, в атмосфере, насыщенной литературными интересами, Пнин действительно выступил с первыми своими поэтическими опытами, но никаких его произведений той поры не сохранилось; нет их и в сборниках, составлявшихся из „трудов" пансионских литераторов.

В университетском пансионе Пнин обучался пять лет, до апреля 1787 г., когда, по собственному прошению, был уволен для определения в Артиллерийско-инженерный шляхетный кадетский корпус, расположенный в Петербурге. При увольнении из пансиона Пнину был выдан следующий аттестат:

„По указу его императорского величества из императорского Московского Университета дан сей аттестат обучавшемуся в учрежденном при оном Университете вольном благородном Пансионе ученику Ивану *Пнину* в том, что он в показанный Пансион будучи записан 1782 года апреля 29 дня, обучался в оном: 1 богословию, 2 геометрии, 3 российскому слогу, 4 немецкому и французскому синтаксису, 5 геодезии, 6 рисовать, 7 танцовать и 8 чистому письму — прилежно, оказывая похвальные успехи и поступая добропорядочно; ныне же по прошению его от Университета с сим уволен; для чего сей и дан ему в Москве, за подписанием действительного статского советника и оного Университета директора. Апреля 23 дня 1787 г. *Павел Фон-Визин*" (ЛОЦИА, Военный отдел, фонд 315, Архив 2-го кадетского корпуса, св. 384, № 7, л. 65).

Определению Пнина в Артиллерийско-инженерный кадетский корпус предшествовала переписка кн. Н. В. Репнина с директором корпуса генералом П. И. Мелиссино. Из переписки

этой сохранилось только одно (и, повидимому, последнее) письмо Репнина, отправленное из Москвы 24 апреля 1787 г., т. е. на следующий же день после получения Пниным аттестата из Университетского пансиона. Приведем это письмо полностью:

„Милостивый государь мой Петр Иванович! Писал я уже к вашему превосходительству о здешнем моем питомце Иване Петровиче Пнине, который действительно был записан сержантом в артиллерию, но данный ему паспорт тем чином от господина генерал-порутчика Мартынова утратился, чтобы вы пожаловали его, приняли в артиллерийский кадетский корпус, хотя сверх комплекта до будущей вакансии, а поколь он не будет помещен в комплект, стану я платить его содержание, в чем поручено от меня учредит[ь]ся, по повелению вашего превосходительства, подателю сего письма господину майору Ефиму Васильевичу Вепренскому. И как вы ко мне писать изволили, чтобы я помянутого моего питомца к вам только немедленно прислал, то я при сем его и отправляю, поручая его в ваше милостивое покровительство и попечение; чем же дешевлее будет стоить мне его содержание, тем я вам благодарнее буду. Имею честь с совершенным почтением и дружескою привязанностию навсегда пребыть вашего превосходительства покорнейший слуга *Князь Николай Репнин.* Москва Апреля 24 дня 1787-го года." (ЛОЦИА, Военный отдел, фонд 315, св. 384, № 7, л. 64).

В этом письме все достойно внимания, особенно же простодушное признание: „чем же дешевлее будет стоить мне его содержание, тем я вам благодарнее буду". Если учесть при этом колоссальные суммы, тратившиеся Репниным на одни балы и обеды (он любил „жить широко") и ничтожность расходов, связанных с содержанием мальчика в кадетском корпусе,— прибавится еще одна выразительная черта к известному уже нам портрету «великодушного Аристида».

Нужно думать, что перевод Пнина из такого привилегированного учебного заведения, каким был Университетский пансион, в Артиллерийско-инженерный корпус, совершен был по желанию кн. Н. В. Репнина, еще в младенчестве записавшего своего питомца в „сержанты артиллерии". Артиллерийско-инженерный шляхетный кадетский корпус в учебно-педагогическом отношений стоял много ниже Университетского пансиона: преподавание здесь носило узко-специальный и сугубо военный характер, преимущественное же внимание обращалось на „нравственное воспитание" кадетов, причем наиболее популярным воспитательным методом были телесные наказания. Сравнительно с другими учебными заведениями, Артиллерийско-инженерный корпус выделялся своим демократическим составом: здесь обучались преимущественно „обер-офицерские" и „солдатские" дети (последние были выделены в особую роту). Корпусные учителя и

воспитатели не отличались ни образованностью, ни педагогическими способностями,— в большинстве это были выходцы из тех же „обер-офицерских“ и „солдатских“ детей. Единственным исключением являлся только сам директор корпуса П. И. Мелиссино, воспитанник германских университетов, „великий любитель словесности, а особливо театра“ (С. А. Тучков). Очевидно, Артиллерийско-инженерный корпус имел в виду Пнин, когда много лет спустя писал (в „Опыте о просвещении“): „В некоторых корпусах главное старание прилагают, чтобы дети умели проворно делать ружьем, хорошо маршировали, и сим с безмерною строгостию учением занимают их более, нежели учением существеннейших наук, долженствующих образовать и приуготовить их к занятию с достоинством и честию тех мест, на которые они по выпуске их из корпуса поступить обязаны. В сей механической экзерциции состоит вся тактика, в корпусах преподаваемая“.

Итак, в двадцатых числах апреля 1787 г. тринадцатилетний Пнин, отданный на попечение какого-то неизвестного нам майора Вепренского, отправился в Петербург. В бумагах Артиллерийско-инженерного корпуса мы нашли следующую челобитную Пнина (написанную „по титуле“ писарем и только подписанную Пниным):

„Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня императрица Екатерина Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая.

Просит недоросль из дворян Иван Петров сын Пнин, а о чем мое прошение, тому следуют пункты:

1-е: Я, именованный, находился в императорском Московском университете волонтером, где будучи, обучался богословии, геометрии, российскому, немецкому и французскому языкам, геодезии, рисовать, танцовать и чистому письму и, имея от роду тринадцать лет, ныне желание имею определиться как для продолжения службы, так и для подлежащих до артиллерии фортификации и протчих наук в артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, чего для осмеливаюсь всеподданнейше просить,

дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня, именованного, как для продолжения службы, так и обучения вышеписанных наук в помянутом кадетском корпусе в кадеты определить, а что я подлинно из дворян, в том представляю при сем свидетельство.

Всемилостивейшая государыня, прошу вашего императорского величества о сем моем прошении решение учинить.

Маия „*“ дня 1787-го года. К поданию подлежит его высокопревосходительству артиллерии господину генерал-поручику,

---

* Число в подлиннике не проставлено.

артиллерийского и инженерного шляхетного кадетского корпуса директору и кавалеру Петру Ивановичу Мелисино. Прошение писал реченного корпуса сержант Андрей Осипов.

К сему прошению недоросль Иван Пнин руку приложил".

(ЛОЦИА, Военный отдел, фонд 315, св. 384, № 7, лл. 62—62 об.). На челобитной помета: „Помещен 787 году октября 12 дня*. К челобитной приложено подписанное П. И. Мелиссино свидетельство в том, что „недоросль Иван Петров сын Пнин подлинно состоит из благородных детей и в службу никуда не записан".

В корпусе Пнин пробыл недолго, менее двух лет. 29 января 1789 г. он был выпущен из корпуса подпрапорщиком и сразу же принял участие в шведской кампании (1788—1790 гг.). Через год (15 февраля 1790 г.) он получил первый наградной чин штык-юнкера полевой артиллерии. В прошении об отставке 1805 г., перечисляя немногочисленные этапы своей военной службы, Пнин указывает, что в 1790 г. находился в походе „на финских водах против шведов", а из других источников известно, что он даже командовал отдельной пловучей батареей.

После 1790 г. следы Пнина окончательно теряются. Известно только, что следующие шесть лет (1791—1796) он „находился в армии, расположенной на западных границах империи, в Польше и на берегах Двины", крайне медленно продвигаясь в чинах (только 28 ноября 1794 г. он был произведен в подпоручики артиллерии). Это самый глухой период в биографии Пнина.

Сохранился только один документ, позволяющий догадываться о некоторых обстоятельствах жизни Пнина в эти годы — коллективное письмо к Пнину трех его приятелей, написанное в октябре 1794 г. из г. Несвижа, Минской губернии. По иронии судьбы, не оставившей нам ни одного клочка из переписки Пнина, письмо это уцелело только потому, что было перехвачено поляками у русского курьера, затем, в свою очередь, было отбито русскими у поляков и сохранилось в архиве министерства иностранных дел. Пнин этого письма, разумеется, не читал**.

---

* Из другого источника (прошение Пнина об отставке 1805 г., в бумагах министерства народного просвещения) мы узнаем, что он „вступил из дворян в корпус кадетом 1787-го г. мая 24-го",— следовательно пять месяцев — с мая по октябрь — он числился „сверх комплекта".

** Письмо опубликовано в „Чтениях в обществе истории и древностей российских" 1906 г., кн. IV, отд. 4, стр. 19, а также отдельно: И. Рябинин, „Из переписки Инзова", 1907. Датируем мы его октябрем 1794 г. по следующим основаниям: написано оно на бумаге 1794 г. и адресовано „Пнину, артиллерии господину *штык-юнкеру*". В ноябре же 1794 г. Пнин получил чин подпоручика. С другой стороны, в Несвиже, откуда послано письмо, Репнин со своими адъютантами и канцелярией был именно в октябре 1794 г. Попутно из письма мы узнаем, что Инзов получил от Пнина „милое и дружеское письмо" (искать его бесполезно: местонахождение бумаг Инзова неизвестно), а также и адрес Пнина: м. Бауск, Митавского уезда, Курляндской губернии (на основании приписки Я. Д. Мерлина „Кланяйтесь от меня Тейльсу",— Филипп Игнатьевич Тейльс служил в 1794 г. в Бауске).

Письмо совершенно незначительно по содержанию, пересыпано интимными намеками на сердечные похождения корреспондентов и их общих знакомых. Значительно больше говорят нам самые имена корреспондентов Пнина. Это — известный впоследствии по своим связям с Пушкиным Иван Никитич Инзов, Яков Данилович Мерлин и Федор Иванович Энгель. Из них Инзов принадлежал, повидимому, к числу старинных приятелей Пнина: он был его товарищем по Университетскому пансиону. В молодости Инзов занимался литературой (его стихи и переводы встречаются в сборниках, издававшихся воспитанниками пансиона), был человеком образованным и начитанным, слыл убежденным противником крепостного права. Любопытно, что Инзов, подобно Пнину, был „незаконным" сыном вельможи — кн. Н. Н. Трубецкого, а может быть, гр. Я. А. Брюса, „давшего ему наречение *Иной зов*, или Инзов" (Ф. Ф. Вигель, „Записки", т. II, 1928, стр. 233; ср. „Записки" А. М. Фадеева, Одесса, 1897, стр. 61—62).

Для нас важно подчеркнуть в данном случае, что все три корреспондента Пнина были теснейшим образом связаны с его отцом — кн. Н. В. Репниным. По словам Ф. Ф. Вигеля, „братья князья Трубецкие, Юрий и Николай Никитичи, люди ума весьма слабого, увлечены были учением Николая Новикова, покровительствуемого фельдмаршалом князем Репниным. С малых лет воспитанника своего [Инзова.— *В. О.*] посвятили они в мартинизм, и оттого при Екатерине был он долго старшим адъютантом Репнина" (op. cit.). В 1794 г. Инзов находился в г. Несвиже при Репнине, „восстанавливавшем порядок в Литве". Бригадир Я. Д. Мерлин был одним из ближайших к Репнину лиц (см. письма Репнина к нему в „Сборнике русского исторического общества", т. XVI, 1875). Майор Ф. И. Энгель был правителем канцелярии Репнина (см. ibid. и „Воспоминания" Ф. П. Лубяновского, 1872, стр. 86).

Письмо Инзова, Мерлина и Энгеля свидетельствует о том, что Пнин поддерживал тесные отношения с лицами, окружавшими кн. Н. В. Репнина. Легко предположить, что подобные отношения поддерживал он и с самим Репниным. Такое предположение будет тем более вероятным, что, судя по беглому замечанию в письме Инзова, Пнин до 1794 г. служил в Риге, где именно в то время (1792—1793 гг.) имел свое пребывание и Репнин в качестве наместника рижского и ревельского. В то же время Пнин пользовался материальной поддержкой Репнина: Полтавский исторический архив, где хранятся остатки Яготинского архива князей Репниных, сообщил в ответ на наш запрос, что в письмах кн. Н. В. Репнина к сенатору И. А. Алексееву встречаются „упоминания о необходимости выделения сумм на различные потребности И. П. Пнина и иных

„питомцев“ князя“*. Все это позволяет думать, что и в начале 1790-х гг. Пнин оставался с отцом в прежних, достаточно близких, отношениях и что та „перемена обстоятельств“, о которой сообщает Греч, имела место позже.

II

В начале 1797 г. Пнин решил оставить военную службу, подал прошение об „определении к статским делам“ и был причислен к департаменту герольдии, „с отданием следовавшего старшинства“. Пнин провел в отставке все четыре года павловского царствования (1797—1800) и вновь вступил в государственную службу сразу же по воцарении Александра: факт сам по себе симптоматичный; может быть, подобно своему приятелю А. Ф. Бестужеву, он бросил военную службу, „не примирившись с начинавшим торжествовать аракчеевским режимом“.

Мы почти ничего не знаем о жизни Пнина в эти годы. Между тем они имеют в его биографии особое значение: на них падает начало широкой литературной и публицистической деятельности Пнина, выразившееся в издании „Санктпетербургского Журнала“.

Сбросив военный мундир, Пнин обосновался в Петербурге. Здесь он поселился на одной квартире с Александром Федосеевичем Бестужевым (1761—1810), отцом четырех братьев-декабристов — Николая, Александра, Михаила и Петра Бестужевых. Когда именно Пнин подружился с А. Ф. Бестужевым — неизвестно, но, повидимому, знакомство их восходит еще к 1787—1789 гг.: Бестужев, по окончании учрежденной при Артиллерийско-инженерном кадетском корпусе Греческой гимназии, был оставлен корпусным офицером, и Пнин, конечно, не мог не искать знакомства с этим широко просвещенным и вольнодумно настроенным человеком, резко выделявшимся из заурядной толпы корпусных учителей. В 1789 г., так же как и Пнин, Бестужев принял участие в Шведской кампании и именно в рядах морской артиллерии. В 1797 г. он оставил военную службу и занял место начальника канцелярии президента Академии художеств гр. А. С. Строганова, также заведывая академической бронзово-литейной мастерской и Екатеринбургской гранильной фабрикой.

Дом Бестужева был одним из немногочисленных культурных центров Петербурга конца 1790-х гг. А. А. Бестужев-

---

* За содействие в доставлении этих сведений приношу благодарность *В. М. Базилевичу*. Писем Пнина к отцу в бумагах Яготинского архива не обнаружено. В письмах И. А. Алексеева к Репнину, опубликованных в XVI т. „Сборника русского исторического общества“ (1875), упоминаний о Пнине не встречается, хотя Алексеев и отчитывается перед князем в выдаче денег другим его „пансионерам“ и „пансионеркам“.

Марлинский вспоминал впоследствии в письме к Н. А. Полевому (1831): „Отец мой был редкой нравственности, доброты безграничной и веселого нрава. Все лучшие художники и сочинители тогдашнего времени были его приятелями: я ребенком с благоговением терся между ними". Именно здесь, в доме Бестужева, зародилась идея организации „Санктпетербургского Журнала". В том же письме А. А. Бестужев сообщает ценные, хотя и не совсем точные, данные об этом предприятии: „Говоря о журнале: „С.-Петербургский Меркурий" знаете ли, кем издавался в сущности? Отцом моим и на счет покойного императора [т. е. Александра I.—*В. О*]. Вот что подало к тому повод. Отец мой составил Опыт военного воспитания и поднес его (тогда великому князю) Александру: Александр не знал, как примет государь отец, и просил его, чтобы сочинение это раздробить в повременное издание. Так и сделали. Отец мой был дружен и даже жил вместе с Пановым, и они объявили издание под именем Панова, ибо в те времена пишущий офицер (отец мой был майор главной артиллерии) показался бы едва ль не чудовищем... Я очень помню, что у нас весь чердак был завален бракованными рукописями, между коими особенно отличался плодовитостью Александр Ефимович [Измайлов.—*В. О*.]. Я не один картон склеил из его сказок. За Исповедь Фон-Визина отца моего вызывали на дуэль; переписка о том была бы очень занимательна теперь, но я, как вандал, все переклеил, хотя и все перечитал: ребячество не хуже Омара" („Русский Вестник" 1861 г., т. XXXII, март, стр. 302—303).

Память несколько изменила А. А. Бестужеву: прежде всего, он перепутал фамилию Пнина („Панов") и название журнала („Санктпетербургский Меркурий"), а также ошибся, полагая, что Пнин был только подставным, официальным редактором журнала. А. Ф. Бестужев, как мы знаем, в 1797—1798 гг. уже не был „майором главной артиллерии", а состоял в статской службе и имел одинаковые с Пниным права на издание журнала. Между тем имя Бестужева не обозначено ни на титульном листе „Санктпетербургского Журнала", ни в программе его, опубликованной в тогдашних газетах. Только в семье Бестужевых прочно держалась традиция умалять значение Пнина в деле издания „Санктпетербургского Журнала". Так, например, М. А. Бестужев пишет в своих „Записках": „*Отец пригласил Пнина* для редакции известного вам журнала" и в другом месте: „Отец исполнил его [Александра I.—*В. О*.] волю и *с помощью Пнина* издавал „Санктпетербургский Журнал"; также и Е. А. Бестужева сообщает о своем отце: „Он стал издавать Петербургский Журнал. В[еликий] к[нязь] Александр Павлович, любя его и зная, что у него дети, передал, лучше бы он не под своим именем печатал. *Нашли Пнина*,

но в сущности редактором был Бестужев" („Воспоминания Бестужевых", 1931, стр. 285, 327 и 421).

Такую точку зрения никак нельзя признать достаточно объективной. Пнин был в значительно большей степени *литератором*, нежели Бестужев: черты профессионализма проступают в его деятельности, сравнительно с Бестужевым, более резко, и вообще с ним решительно не вяжутся представления о роли подставного редактора. „Санктпетербургский Журнал" почти наполовину заполнялся стихотворениями и статьями Пнина: это был *его* журнал не только официально, но и фактически.

Не следует, однако, умалять при этом значение А. Ф. Бестужева*. Он, несомненно, был созидателем и соредактором Пнина, и хотя центральную роль в редакции играл Пнин, Бестужеву принадлежит, повидимому, инициатива организации этого журнального предприятия, и он же поддерживал связи, существовавшие между редакцией и ее высокопоставленным протектором — цесаревичем Александром: среди бестужевских бумаг сохранился документ, в котором указаны 2000 руб., полученные А. Ф. Бестужевым от Александра на издание „Санктпетербургского Журнала", — впоследствии субсидия эта была обращена в пенсион А. Ф. Бестужеву (см. „Воспоминания Бестужевых", 1931, стр. 19, и „Русский Вестник" 1861 г., т. XXXII, стр. 303). И, наконец, сотрудники „Санктпетербургского Журнала" (А. Бухарский, А. Измайлов, И. Мартынов, Е. Колычев, Н. Скрипицын, Н. Анненский, П. Яновский) вербовались, вероятно, из домашнего бестужевского кружка.

Дети А. Ф. Бестужева настойчиво подчеркивают то обстоятельство, что „Санктпетербургский Журнал" был основан для того, чтобы „раздробить в повременное издание" сочинение Бестужева „Опыт военного воспитания". С этим трудно согласиться: ни характер журнала, ни его разносторонняя программа, ни богатство остального представленного на его страницах философского, политико-экономического и литературного материала — не дают права сводить задачи издания к такой узко утилитарной цели, как публикация одного произведения. Вопрос об организации „Санктпетербургского Журнала" нужно ставить шире. По вероятному предположению И. М. Троцкого, идея создания журнала была тесно связана с просветительскими проектами Александра и только что

---

* До последнего времени исследователи „Санктпетербургского Журнала" обычно рассматривали его в связи с деятельностью одного только Пнина. Правильно вопрос поставлен И. М. Троцким (см. „Воспоминания Бестужевых", 1931, стр. 11), однако мы не согласны с ним относительно принадлежности Бестужеву некоторых анонимных статей и заметок, помещенных в журнале.

образовавшегося кружка „молодых друзей" (Строганов, Новосильцов, Чарторижский — еще без Кочубея).*

Н. И. Греч, повествуя о кружке „молодых друзей", пишет; „Особенно они занимались с ним [Александром.— *В. О.*] изучением политической экономии и плоды трудов своих печатали в Санктпетербургском Журнале, которого редакторами были А. Ф. Бестужев и И. П. Пнин" („Записки о моей жизни", 1930, стр. 205; ср. ibid., стр. 321: „Плодами трудов его [Александра.— *В. О.*] товарищей было издание Санктпетербургского Журнала, выходившего под редакцией И. П. Пнина, при помощи А. Ф. Бестужева") Показание Греча уточняется И. И. Мартыновым: „Алексан р I, быв тогда наследником, тайный советник Павел А ксандрович Строганов и действительный камергер Новосильц в положили было издана русском языке несколько полити еских иностранных писателей. По препоручению их, впрочем заочному, за известную плату, я перевел три части Стюарта „Recherches sur l'Economie politque", коего разбор, написанный мною по их же поручению, напечатан в Санктпетербургском Вестнике [sic.— *В. О.*]; шесть частей „Biblioteque de l'homme pu ique", par Condorcet и „Economie politique", par C. Verri, который, также почти весь, по частям напечатан в упомянутом журнале. Стюарт и Кондорсе остаются ненапечатанными" („Записки" И. И. Мартынова. „Заря" 1871 г., № 6, приложение, стр. 98).

Программные объявления о предстоящем издании „Санктпетербургского Журнала" появились в двух наиболее распространенных газетах того времени: в „Санктпетербургских Ведомостях" (1797 г., № 102, 22 декабря, стр. 2337—2338) и в „Московских Ведомостях" (1798 г., № 4, 13 января, стр. 61). Приводим текст петербургского объявления:

„Благотворные лучи просвещения проникли, наконец, в обширные и мрачные доселе пределы Севера, и Россия, в свою очередь, по всему пространному своему владычеству в счастливое и достопримечательное сие столетие обильно озарилась оным. Ощутительным соделалось полезное преобразование умов и сердец, со всеобщим и неутомимым рвением стремящихся к достижению истины и добродетели, обращающее на себя внимание всея Европы и налагающее священный долг на каждого гражданина споспешествовать по мере сил своих общественному благу и пользе. Побуждаемы будучи сим неотменяемым долгом и ревнуя похвальному других примеру, сим извещаем: что будущего 798 года будет издаваться „Санкт-

---

* См. письмо Александра I Лагарпу от 27 сентября 1797 г. (т. е. за три месяца до появления в газетах программы „Санктпетербургского Журнала") у Н. Шильдера — „Император Александр первый", т. I, 1897, стр. 164; ср. „Воспоминания Бестужевых", стр. 18—19.

петербургский Журнал", который имеет состоять из различных нравственных, романических, критических, физических, философических, исторических и политических сочинений, из полезных с иностранных языков переводов, на творения лучших писателей анализов, сочинений в стихах и прозе и проч. Коль скоро первая часть месяца отпечатается, то о сем будет сделано объявление.— Все желающие удостоить оный своими трудами могут присылать их в дом под № 521 в Сергиевской улице к Таврическому саду, надворной советнице госпоже Баженовой принадлежащий,—которые с крайним удовольствием принимаемы и печатаемы будут. За всякую вышедшую в печать пиесу приславший оную имеет право требовать по одному для себя экземпляру. Особы же, благоволящие подписаться на целый год, платят здесь по 6-ти, а в других городах с пересылкой по 8 рублей, адресуя оные деньги к издателю журнала, с прописанием своего имени и куда доставлять экземпляры.— Каждый месяц особо стоит на белой бумаге 70 копеек. *Иван Пнин*".*

„Санктпетербургский Журнал" выходил ежемесячно, полное издание составляют четыре части по три книжки („месяца") в каждом. На титульном листе обозначено: „С.-Петербургский Журнал, издаваемый И. Пниным. Часть первая [вторая, третия, четвертая]. 1798. В Санктпетербурге, в типографии И. К. Шнора". Эпиграф был выписан из де-ла-Брюйера: „Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un!" („Как трудно быть кем-нибудь довольным!"). Каждая часть снабжена следующей цензурной визой, подписанной цензором коллежским советником Михаилом Туманским: „Сочинение под заглавием: „Санктпетербургский Журнал на 1798 год, издаваемый г. Пниным", в Санктпетербургской цензуре рассматривано, и поелику в оном не находится ничего данному ценсором о рассматривании книг наставлению противного, для того оное сим к напечатанию и одобряется". Цензурное разрешение первой части помечено 7 декабря 1797 г., второй части—10 апреля 1798 г., цензурные разрешения к третьей и четвертой частям не датированы.

Большинство статей и стихотворений, помещенных в „Санктпетербургском Журнале", анонимны, и установить, кто был их автором, в иных случаях невозможно (см. подробнее стр. 240 наст. издания). Таким образом, состав журнальных сотрудников Пнина и Бестужева в целом остается нам неизвестным;

---

* Объявление, помещенное в „Московских Ведомостях", представляет собою сокращенную редакцию приведенного текста. В Москве подписка на журнал принималась „по комиссии" в конторе Университетской типографии. В Петербурге подписка принималась также в книжной лавке В. С. Сопикова (см. объявления, приложенные к каждой части „Санктпетербургского Журнала").

назовем тех из них, участие которых либо оговорено в самом журнале, либо засвидетельствовано в других источниках. Это: *Иван Иванович Мартынов*, в то время уже известный литератор (в 1796 г. издавал журнал „Муза“); стихотворец *Евгений Колычев* (см. о нем в указателе имен); поэт и драматург *Андрей Иванович Бухарский*; переводчики *Петр Алексеевич Яновский* (см. о нем стр. 20) и *Николой Ильич Анненский* (из духовного звания, впоследствии юрисконсульт министерства юстиции, семинарский товарищ И. И. Мартынова и сотрудник его журналов); *Александр Ефимович Измайлов*, только что (в 1797 г.) вышедший из Горного кадетского корпуса (в „Санктпетербургском Журнале“ появилось *первое* печатное произведение Измайлова — перевод стихотворения Малерба „Смерть“; возможно, ему же принадлежат помещенные здесь стихотворения за подписью: — *въ*); молодой поэт *Николай Скрипицын*; поэтесса „девица *М*“. Одно стихотворение в журнале напечатал известный поэт *Н. М. Шатров*, но лично к кружку Пнина — Бестужева близок он, повидимому, не был*.

Из упомянутых лиц Пнин и впоследствии поддерживал личные отношения с Мартыновым (с 1802 г. Пнин — сослуживец Мартынова по департаменту министерства народного просвещения и сотрудник его журнала „Северный Вестник“ 1804 г.), с Измайловым (с 1802 г. они встречались в Вольном обществе любителей словесности, наук и художеств) и с Колычевым (см. сочиненное Пниным „Надгробие Евгению Алексеевичу Колычеву“ на стр. 100 настоящего издания). Возможно, что давнее знакомство связывало Пнина и с Андреем Ивановичем Бухарским: они могли встретиться в Литве, где Бухарский служил почт-директором.

Об участии в „Санктпетербургском Журнале“ самого Пнина точных данных не имеется, но нужно думать, что ему принадлежит большинство помещенных там стихотворений и многие переводы в прозе (укажем кстати, что появившийся в VI части „Санктпетербургского Журнала“ анонимный перевод идиллии Гесснера „Осеннее утро“ был перепечатан за подписью Пнина в хрестоматии Н. И. Греча „Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе“, 1812, гл. I).

„Санктпетербургский Журнал“ просуществовал один год. В семье Бестужевых держалась традиция, что его постигло цензурное запрещение; об этом пишет в своих „Записках“ Михаил Бестужев: „Его [журнала] существование была только маска, под которою скрывалась другая цель, и эта цель начала

---

* „Есть известие, что в журнале Пнина участвовал *А. Я. Галинковский*, но это требует подтверждения, тем более что под статьями журнала не встречается нигде даже начальной буквы его имени“ (Н. В. Губерти, Материалы для русской библиографии, вып. II, 1881, стр. 612).

явно выходить наружу и едва ли не была главною причиною, почему журнал был запрещен" („Воспоминания Бестужевых", 1931, стр. 285).

Однако никаких данных о цензурных репрессиях в отношении „Санктпетербургского Журнала", несмотря на крайнюю его оппозиционность,— не имеется. Прекращение журнала следует скорее связать с временным распадом кружка „молодых друзей" Александра I. Кружок распался, как из боязни возбудить подозрения Павла, так и в силу внешних обстоятельств. Лишенный поддержки влиятельных протекторов, журнал должен был прекратить свое существование.

В следующие за изданием „Санктпетербургского Журнала" два года (1799—1800) следы Пнина снова теряются; что он делал и где находился в эти тяжелые годы павловского режима — неизвестно: на этот счет не сохранилось решительно никаких данных.

В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. гвардейская фронда удушила Павла I:

> Умолк рев Норда сиповатый,
> Закрылся грозный, страшный взгляд*,

и, по словам официального историка, „миллионы людей возродились к новой жизни".** „Возродился" вместе с другими и Пнин. Меньше чем через месяц после переворота он возвращается в лоно государственной службы. В апреле 1801 г. „числящийся по герольдии в чине коллежского ассесора Иван Пнин" был назначен на скромную должность письмоводителя Государственного совета. Официальная дата его вступления на службу —7 мая 1801 г., но фактически он приступил к исполнению своих обязанностей раньше: среди „копий с протоколов Государственного совета за 1801—1803 гг." встречаются его автографы („Списывал письмоводитель Пнин"), помеченные апрелем 1801 г. (ЛОЦИА, архив Государственного совета, дело № 302, лл. 7 и 10).

К 1801 г. относится событие, имевшее для Пнина, несомненно, очень большое значение. Мы имеем в виду его знакомство с Радищевым. В литературе, посвященной Пнину и выясняющей корни его философского и политического радикализма, устойчиво держится традиционное мнение, что он был „учеником" Радищева, выходцем из „радищевского кружка". Подобная точка зрения решительно ни на чем не основана. Пнин, конечно, читал „Путешествие из Петербурга в Москву"; легко предположить, что идеи Радищева сыграли крупную роль в

* Ода Державина на воцарение Александра.

** История царствования императора Александра I, М. Богдановича, т. I, 1869, стр. 46.

формировании его собственных социально-политических мнений (так, например, не подлежит сомнению, что мысли Радищева о крепостничестве, о цензуре и пр. оказали на Пнина существенное и непосредственное влияние), но следует в то же время подчеркнуть, что материализм Пнина сложился, в основном, независимо от Радищева и, во всяком случае, независимо от влияния радищевского трактата „О человеке, его смертности и бессмертии“, поскольку уже в 1798 г. Пнин заявил себя убежденным гольбахианцем на страницах „Санкт-петербургского Журнала“ (трактат же „О человеке“ был написан Радищевым в ссылке и не мог быть известен Пнину). Все это подтверждается фактами биографий обоих писателей.

Прежде всего Пнин не вышел и не мог выйти из „кружка Радищева“, так как никакого кружка у Радищева никогда не было. Затем Пнин мог познакомиться с Радищевым *не раньше самого конца 1801 г.* В. П. Семенников в своей книге „Радищев“ (стр. 454) полагает, что знакомство их могло состояться еще *до* появления „Путешествия из Петербурга в Москву“. Но трудно предположить, чтобы Пнин, в ту пору еще шестнадцатилетний юноша, воспитанник закрытого учебного заведения, имел случай завязать с Радищевым сколько-нибудь близкие отношения (в 1790 г., когда появилась книга Радищева, Пнин, правда, уже был выпущен из корпуса, но находился вне Петербурга, в армии). К тому же предположение Семенникова не имеет под собой никакой фактической почвы*. Пнин поселился в Петербурге не раньше 1797 г., Радищев в это время находился еще в Илимском остроге. В июле 1797 г. амнистированный Радищев прямо из ссылки проехал в Калужскую губернию, в начале 1798 г. отправился оттуда к отцу, в Саратовскую губернию, а затем, с начала 1799 вплоть до конца 1801 г., жил в своей деревеньке Немцово. Только в последних числах декабря 1801 г. Радищев воспользовался данным ему разрешением вернуться в Петербург, где и прожил до смерти (12 сентября 1802 г.). Таким образом, знакомство Пнина с Радищевым могло состояться не раньше конца декабря 1801 г. и продолжалось всего-навсего восемь месяцев.

О том же, что знакомство это состоялось, мы знаем из воспоминаний сына Радищева—Павла Александровича. Вспоминая последние месяцы жизни отца, П. А. Радищев пишет: „Лица, посещавшие его во время последнего пребывания в Петербурге, были... Бородовицын, Брежинский, Пнин — моло-

* Существует даже версия, что якобы Пнин, по просьбе Радищева, написал для его книги оду „Вольность“ (см. Архив князя Воронцова, кн. V, 1872, стр. 421).

дые люди, слушавшие его с большим любопытством и вниманием" („Русский Вестник" 1858 г., т. XVIII, стр. 426—427). Второй из упомянутых П. А. Радищевым „молодых людей"— повидимому, поручик Андрей Петрович Брежинский — малозаметный стихотворец, сотрудник „Друга Просвещения" 1805 г. и „Духа Журналов" 1817 г.* Что же касается Бородовицына, то, несомненно, имеется в виду Иван Сергеевич Бородавицын, сын богатого смоленского и орловского помещика, сослуживец А. Н. Радищева по Комиссии о составлении законов**. Об отношениях Пнина с Брежинским и Бородавицыным никаких данных не сохранилось.

Памятником своего знакомства с Радищевым Пнин оставил замечательное стихотворение:

Итак, Радищева не стало!
Мой друг, уже во гробе он!

(см. примечание на стр. 279 наст. издания). У сына Радищева, Павла Александровича, жившего в Таганроге, еще в начале 1850-х гг. хранился портрет отца с написанными под ним стихами Пнина (см. „Русский Вестник" 1858 г., т. XVIII, стр. 395; где ныне этот портрет — неизвестно). Укажем, что в 1859 г. издатель журнала „Иллюстрация" В. Р. Зотов представил в цензуру биографию Радищева и несколько к ней иллюстраций, в том числе и „портрет А. Н. Радищева с припискою стихов Ивана Пнина". С.-Петербургский цензурный комитет, затрудняясь решить вопрос об издании радищевских материалов самостоятельно, передал дело на заключение Главного управления цензуры, где было определено и биографию и портрет „к печатанию не дозволять" и возвратить их Зотову („Журнал заседаний С.-Петербургского цензурного комитета", 1859 г., от 14 мая, лл. 162—162 об.)***. Пнин был дружен также и со

---

* См. о нем в „Сборнике статей, читанных в отделении русского языка и словесности Академии Наук", т. V, вып. 1, 1868, стр. 274.

** Бородавицын был почти ровесник Пнину (он родился в 1772 г.). До 1801 г. он прошел уже довольно длинный служебный путь: вступив в 1788 г. сержантом в л.-гв. Преображенский полк, с 1797 г. продолжал службу прапорщиком в Смоленском мушкатерском полку, в 1800 г. был „определен к статским делам с переименованием в городовые секретари" и тогда же зачислен в штат канцелярии генерал-прокурора с награждением чином титулярного советника, а 1 мая 1801 г. был перемещен в Комиссию о составлении законов, где и служил вплоть до 14 января 1804 г., когда был „уволен от дел и из списка исключен". Дальнейшая его судьба нам неизвестна. В литературе о Радищеве имя Бородавицына (как и Брежинского) считается „неизвестным" (см., например: В. П. Семенников, Радищев, 1923, стр. 239). Сведения о происхождении и службе Бородавицына извлечены нами из его послужного списка, найденного в делах Комиссии о составлении законов (ч. I, отд. III, № 18, лл. 11, 78—79).

*** За доставление этого сведения приношу благодарность И. Г. Ямпольскому.

вторым сыном Радищева — Николаем Александровичем (см. о нем в указателе имен).

К тому же 1801 г. относится и другое крупное событие в жизни Пнина — смерть его отца кн. Н. В. Репнина. В конце 1799 г. Репнин очутился „в немилости" и „принужден был оставить службу со всеми своими адъютантами". В начале марта 1801 г. он уехал в нижегородское поместье, но манифест о воцарении Александра вернул его в Москву. Здесь он получил лестный рескрипт от нового императора, но скоропостижно скончался 12 мая 1801 г. Мужского потомства Репнин не оставил; его единственный („законный") сын умер еще в 1774 г., т. е. через год после рождения И. П. Пнина. Все имущество покойного фельдмаршала перешло к его внуку по женской линии кн. Николаю Волконскому. К нему же впоследствии перешло и самое имя Репнина: „дабы знаменитый род князей Репниных, столь славно отечеству послуживших, навечно остался в незабвенной памяти российского дворянства, князю Волконскому высочайше повелено было потомственно именоваться князем Репниным". Пнин, как известно, в завещании фельдмаршала упомянут не был, и современники связывали с этим обстоятельством преждевременную его кончину от скоротечной чахотки. Насколько справедливы эти догадки, судить трудно, но несомненно, что Пнин упорно „надеялся, что Репнин признает его своим сыном" и что крушение этих надежд было воспринято им крайне болезненно. Об этом свидетельствует его „Вопль невинности, отвергаемой законами". В сочинении этом, поднесенном Александру I и „удостоенном высочайшего внимания и награды" 24-го ноября 1802 года, Пнин писал: „Я один из числа тех несчастных, которых называют незаконнорожденными. Брошенный на сей свет с печатию своего происхождения, в сиротстве, не находя вокруг себя ничего, кроме ужасной пустыни; лишенный выгод, с общественною жизнию сопряженных, встречая повсюду преграды, поставляемые предрассудками, на коих самые законы основаны; и в том обществе, которого я часть составляю, в котором равное с прочими имея право на мой покой и на мое счастие, не находить ничего, кроме горести и отчаяния, и быть в беспрерывной борьбе с общим мнением,— есть, государь! самое тяжелое наказание, достойное одного только злейшего преступника".

За „Вопль невинности" Пнин получил в награду перстень при следующем письме камергера Н. Н. Новосильцова:

„Милостивый государь мой Иван Петрович!

Поднесенное вами сочинение „Вопль невинности, отвергаемой законами" имел я счастие представить государю императору. Удостоив высочайшего внимания оное, его императорское величество изволил всемилостивейше пожаловать вам перстень. Прилагая при сем сей знак монаршего к вам бла-

говоления, пребываю с моим почтением милостивого государя моего покорным слугою.

Николай Новосильцов.

№ 546

С.-П.бург. Ноября 24-го дня 1802 года.

(Письмо это известно в копии, снятой Пниным и сохранившейся в составе белового автографа „Вопля невинности“ — см. примечание на стр. 284 наст. издания).

В начале 1803 г., когда комплектовались штаты вновь учрежденных министерств, Пнин оставил службу в канцелярии Государственного совета и определился на должность экспедитора в департамент министерства народного просвещония. Директором канцелярии нового министерства был назначен И. И. Мартынов, старинный приятель Пнина, сотрудник „Санпетербургского Журнала“. Очевидно, он рекомендовал Пнина министру гр. П. В. Завадовскому. Во „всеподданнейшем“ докладе от 24 января 1803 г. Завадовский ходатайствовал о назначении диретором своей канцелярии И. И. Мартынова, а экспедиторами — „отставного поруикча Дунина-Борковского и служащего в канцелярии Государственного совета коллежского ассесора Пнина, как таких людей, которые в дарованиях, знаниях, в примерном поведении и усердном исполнении должности мною испытаны“. Резолюция Александра I гласит: „Быть по сему“ (ЛОЦИА. Архив министерства народного просвещения, дело № 8612 к 195). Пнин получил назначение экспедитором 1-ой экспедиции, где были сосредоточены дела цензурного ведомства.

III.

Расцвет литературной деятельности Пнина падает на последние годы его жизни (1802—1805),— именно в это время он пишет крупнейшие свои публицистические произведения („Вопль невинности“, „Опыт о просвещении“ и не дошедшее до нас „О возбуждении патриотизма“), готовит к изданию собрание своих стихотворений, работает над драмой „Велизарий“ (также до нас не дошедшей), разрабатывает проект нового журнального предприятия, принимает участие в некоторых периодических изданиях и появляется в столичных литературных кружках.

Круг литературных знакомств Пнина в эти годы расширяется и приобретает более четкие очертания. Департамент министерства народного просвещения в начале 1800-х гг. являлся средоточием кружка молодых литераторов. Одновременно с Пниным сюда определились на службу: Н. А. Радищев, Д. И. Языков, К. Н. Батюшков; в 1803 г. к ним примкнул Н. И. Гнедич. Участником и покровителем этого департамент-

ского кружка был упомянутый уже И. И. Мартынов*. Все это были люди, близкие Пнину по своим литературным мнениям: здесь слагалась оппозиция одновременно и „ветхому" классицизму „Беседы" и слащавой чувствительности московской сентиментальной школы, шла „борьба на два фронта" — и с Шишковым и с Карамзиным.

Известно также, что Пнин был „своим человеком" в доме Михаила Никитича Муравьева, назначенного в 1803 г. товарищем министра народного просвещения (туда ввел его, вероятно, К. Н. Батюшков — племянник Муравьева). В доме Муравьева Пнин мог встречаться со многими видными деятелями литературы и просвещения, например, с Державиным, Капнистом, И. М. Муравьевым-Апостолом, А. Н. Олениным. Бывал Пнин и среди литературной молодежи, собиравшейся у издателя „Журнала российской словесности" Николая Петровича Брусилова и у издателя „Журнала для пользы и удовольствия" Алексея Николаевича Варенцова (см. о нем в указателе имен). Из других литературных знакомств Пнина мы знаем о его, повидимому, близких, отношениях с известным митрополитом Евгением Болховитиновым. Евгений упоминает о Пнине в письме к Д. И. Хвостову от 22 августа 1805 г. (см. Сборник отделения русского языка и словесности Академии Наук, 1868, т. V, вып. I, стр. 70; или отдельно: Переписка Евгения с Державиным, 1868), но возможно, что Болховитинов знал Пнина еще мальчиком, так как по окончании Московской духовной академии состоял священником при церкви в имении кн. Н. В. Репнина — Репьевке**.

Значительно более крупным событием в жизни Пнина было его сближение с группой радикально настроенных молодых литераторов, художников и ученых, объединившихся в 1801 г. в „Дружеское общество любителей изящного" (впоследствии переименованное в „Вольное общество любителей словесности, наук и художеств"). В заседании общества 16 ноября 1802 г. Пнин был избран его действительным членом по предложению В. В. Попугаева, одного из деятельнейших сотрудников и основателей общества (см. „Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств", 1804,

---

* Вторым таким „литературным" учреждением была в Петербурге в 1800-х гг. Комиссия составления законов, где служило много членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. В этом отношении и департамент и комиссия напоминают знаменитое гнездо русского „любомудрия" 1820-х гг.— московский архив Коллегии иностранных дел.

** А. С. Поляков упоминает также о знакомстве Пнина с известным педагогом и переводчиком древних авторов Николаем Федоровичем Кошанским; встречались они в доме М. Н. Муравьева (см. „Пушкин и его современники", вып. XVII—XVIII, стр. 260). Но знакомство это было мимолетным, так как Кошанский появился в Петербурге не раньше средины августа 1805 г., а через месяц Пнин умер.

стр. XV). Сближению Пнина с Вольным обществом, несомненно, способствовало также и то обстоятельство, что два сослуживца его по департаменту министерства народного просвещения — Н. А. Радищев и Д. И. Языков — были членами Общества. Согласно общественному уставу, Попугаев представил в качестве рекомендации предлагаемого члена стихотворение Пнина — оду „Сон". Ода эта была признана отвечающей требованиям пиитики и вкуса, и Пнину было послано следующее извещение: „Государь мой! Общество, читавши представленную по воле вашей г. Попугаевым пиесу вашу „На сон", определило принять вас в члены в силу 3 параграфа своего постановления. Извещая вас о сем, остаюсь и проч. А. Востоков, секретарь Общества" (В архиве Вольного общества, хранящемся в библиотеке Ленинградского университета, дело № 24 — о членстве Пнина — утрачено; данные о пребывании Пнина в Обществе заимствуем из других дел того же архива и из статьи Е. В. Петухова в „Историческом Вестнике" 1889 г., т. XXXII, стр. 142—147).

Пнин не принимал в занятиях Общества деятельного участия. Это видно из протокола заседания 5 декабря 1803 г., на котором положено было обратиться к Пнину с вопросом, почему он почти полгода не присутствовал на собраниях Общества. Во исполнение этого постановления Пнину была послана следующая записка: „Вольное общество любителей словесности, коего вы член, но в заседании коего вы уже более четырех месяцев не присутствовали, требует, чтобы вы в непродолжительном времени объяснили письменно причину сего долговременного отсутствия". 16 января 1804 г. Пнин лично явился в Общество с извинением, объяснив, что причиной его „долговременного отсутствия" было незнание места, где Общество собирается. Но и впоследствии Пнин не принимал в „трудах и днях" Общества сколько-нибудь активного участия: из отчета за 1804—1805 гг. видно, что до 15 июля 1805 г. он присутствовал всего только на одном заседании, между тем как за это время состоялось 22 „ординарных" и 4 „экстраординарных" заседания (архив Вольного общества, дело № 59).

Тем не менее Пнин пользовался в Обществе столь большим авторитетом, что за два месяца до своей смерти, 15 июля 1805 г., был избран его президентом. А. Е. Измайлов, выступая на собрании Общества, посвященном памяти Пнина, сказал: „Вам, почтенные мои сочлены, вам всех более был он известен. Вы, чувствуя цену его талантов и следуя благородному беспристрастию, избрали его в торжественное нынешнее годовое собрание президентом нашего Общества. Он действительно достоин был сего звания и, чтобы изъявить нам свою благодарность за сделанное ему предпочтение, оставил служ-

бу и все свое время хотел посвятить трудам для славы Общества и для пользы народной. Мы ожидали от него плодов, но, увы! не ожидали того, что через два месяца будем оплакивать его кончину!“ Н. П. Брусилов в своей статье „О Пнине и его сочинениях“ также писал, что „Пнин не успел произвести в действо того, что он хотел предпринять для чести Общества и, смею сказать, для пользы словесности“ (см. стр. 265 наст. издания). Таким образом несомненно, что с именем Пнина связывались надежды на оживление Общества и расширение круга его деятельности и что преждевременная кончина нового президента была для Общества большой потерей. Однако нельзя согласиться с биографами Пнина, что, „лишившись просвещенного и энергического руководителя, Общество вскоре стало приходить в упадок или, по крайней мере, понизилось в уровне своих интересов“ (точка зрения Л. Н. Майкова): во-первых, Пнин в звании президента посетил Общество всего лишь один раз и потому никак не может быть назван его „руководителем“, а во-вторых, расширение круга деятельности Общества как раз относится ко времени после смерти Пнина (1805—1807 гг.). Единственным крупным (в масштабах Общества) мероприятием, проведенным под руководством Пнина, была разработка проекта нового общественного устава (устав этот, утвержденный с некоторыми переменами в общем собрании 29 июля 1805 г., был издан в том же году отдельной брошюрой; в архиве Вольного общества сохранилась рукопись устава, подписанная Пниным).

В 1804 г. Пнин издал основное свое сочинение—„Опыт о просвещении относительно к России“. Книжка эта вышла в свет „с дозволения санктпетербургского гражданского губернатора“ (им был в ту пору С. С. Кушников)*, без каких бы то ни было цензурных осложнений и продавалась в книжных лавках, но вслед за тем по доносу была конфискована (обстоятельства этого дела нам не известны).

Через Н. Н. Новосильцова Пнин представил свое сочинение Александру I и получил какое-то награждение. Как сообщает сам Пнин (см. ниже), царь предложил ему переиздать книгу на казенный счет, дополнив ее соображениями по крестьянскому вопросу. Включив в книгу „рукописное дополнение, сделанное по воле монарха и заключающее в себе определение крестьянской собственности, примененное к настоящему положению вещей“, Пнин представил ее в только что

---

* По указу 9 февраля 1802 г. наблюдение за печатанием книг возлагалось на гражданских губернаторов, которые „имели к сему употреблять директоров народных училищ“ (до 1802 г. цензура находилась в ведении Управы благочиния). Предпринятые нами розыски материалов по изданию „Опыта о просвещении“ не увенчались успехом: архив канцелярии Спб. гражданского губернатора за 1800-е гг. не сохранился.

образованный при Главном правлении училищ цензурный комитет на предмет получения визы для переиздания.

Исправляющий должность попечителя Санктпетербургского учебного округа гр. П. А. Сторганов, самый либеральный член кружка „молодых друзей“, принимавший вместе с Н. Н. Новосильцовым личное участие в переработке сочинения Пнина, 15 ноября 1804 г. предложил рассмотреть его цензурному комитету, который, в свою очередь, поручил цензору Г. М. Яценко (или Яценкову, как писали тогда в официальных бумагах) представить письменный отзыв. 19 ноября Яценко представил отзыв, выводы которого сводились к тому, что „сочинение г-на Пнина... всемерно удалять должно от напечатания“, ибо автор „своими рассуждениями о всяческом рабстве и наших крестьянах... дерзкими выходками против помещиков... разгорячению умов и воспалению страстей темного класса людей способствовать может“. Цензурный комитет, в составе цензоров И. Тимковского, Христиана Зона, Г. Яценко и секретаря А. Красовского, в заседании 2 декабря 1804 г. целиком согласился с мнением Яценко и известил об этом П. А. Строганова, препроводив ему и отзыв Яценко и самое сочинение Пнина. Приведем мнение ретивого цензора полностью:

„В С.-Петербургский цензурный комитет от адъюнкт-профессора и цензора Яценкова.

Донесение

Сего ноября 18 дня комитет представил мне на рассмотрение печатную книгу „Опыт о просвещении относительно к России“, соч. г. Пнина, конфискованную гражданским правительством, которую, однако, сочинитель намерен перепечатать с разными переменами и дополнениями, кои также доставлены комитету на рассмотрение, равно как и самая книга при предложении от его с[иятельства] графа Павла Алекс[андровича] Строганова.

Я безотложно занялся рассматриванием сего сочинения, а нашедши в нем разные места, подлежащие сомнению, представляю оные комитету на рассмотрение в общем собрании.

Сомнения мои пали наибольше на ту часть сочинения, где автор с жаром и энтузиазмом жалуется на злосчастное состояние русских крестьян, коих собственность, свобода и даже самая жизнь, по мнению его, находятся в руках какого-нибудь капризного паши; на те места, где он восстает против прав помещиков, укоряет их в неправедном присвоении власти над крестьянами; на те, наконец, места, в коих он собирает над главою России черную тучу и, как зловещий пророк, предвещает рассыпаться ее основаниям.

След[овательно] вся часть книги от стр. 41 до 56, а в дополнениях от стр. 16 до 26, по мнению моему, противна правилам цензурного устава.

Впрочем, хотя бы то и справедливо было, что русские крестьяне не имеют собственности, ни гражданской свободы, однако зло сие есть зло, веками вкоренившееся, и требует осторожного и повременного исправления. Мудрые наши монархи усмотрели его давно, но, зная, что сильный перелом всегда разрушает машину правления, не хотели вдруг искоренить сие зло, дабы не навлечь чрез то еще большего бедствия. Правительство в сем случае действует подобно искусному врачу; меры его кротки и медленны, но тем не менее безопасны и спасительны. Если бы сочинитель нашел или думал найти какое-нибудь новое средство, дабы достигнуть скорее и вместе безопаснее к предполагаемой им цели, т. е. к истреблению рабства в России, то приличнее бы было предложить оное проектом правительству. А разгорячать умы, воспалять страсти в сердцах такого класса людей, каковы суть наши крестьяне, это значит в самом деле собирать над Россиею черную губительную тучу.

При всем том я думаю, что все место, приведенное из г. Болтина, не подлежит ни малейшей критике со стороны цензуры. Оно почерпнуто из исторических истин и представлено с благоразумною осторожностию и скромностию. После того, что сказал Болтин о сем предмете, мне кажется, нечего уже сказать больше. Только на стр. 13 дополнений желал бы я исключить слово *жизнию* из сего места: „с того времени сделались помещики таковыми же властителями над имением *и жизнию* крестьян и холопей своих"; ибо это мнение несправедливо: помещик в России не есть властелин *над жизнию* крестьян.

Мне следует теперь предложить комитету прочие места, меньше важные, которые я желал бы переменить и смягчить в этом сочинении.

На стр. 11 в книге (или на 1 стр. поправок): „Мысль — чтобы невежественным народом управлять страхом и жестокими законами — поселилась к несчастию в головах великих людей и многих законодателей". Это нарекание явно относится на Петра Великого, ибо автор в сем месте говорит именно об нем. Но подобное нарекание на просветителя и образователя России есть черное пятно на сердце неблагодарности.

На стр. 3 дополнений: „Насильство и невежество, составляя характер правления Турции, не имея ничего для себя священного, губят взаимно граждан, не разбирая жертв"... Хочу верить, что эту мрачную картину списал автор с Тур-

ции, а не с России, как то иному легко показаться может Но и для турецкого правления это язвительная клевета: будто народ сей не имеет ничего для себя священного и губит себя взаимно, не разбирая жертв.

На стр. 70 и 71 в книге: „Купцы не имеют совсем взаимной вспомогательности и никогда не стараются поддерживать друг друга в несчастных случаях. Напротив того, богатый, видя неудачу и готовящуюся гибель бедного, не только не подает ему руку помощи, но еще спешит притеснить его, дабы воспользоваться его несчастием".— Этим местом поругано целое сословие купеческое без всякого выключения, что и несправедливо и оскорбительно.

На стр. 72 в книге: „Вместо ответа покажут они (купцы) сто или двести тысяч рублей, вынесенных ими из массы общих купеческих капиталов".— Эта укоризна на взятки требует доказательств, а без того она послужит во вред доказчика. И вообще это место о дворянстве купечества не сообразно с указом, коим сие злоупотребление навпредь прекращается.

На стр. 115 и 116 в книге: „Все прочие гражданственные состояния, исключая дворянское, были правительством забыты"; „видя несправедливость, угнетавшую столь долго нижнего разряда граждан, державши их в самом глубочайшем невежестве"— укоризна на правительство, совсем незаслуженная.

На стр. 118 в книге: „В сей механической экзерциции состоит вся тактика, в корпусах преподаваемая"— несправедливый упрек на корпусы, коим Россия обязана славнейшими своими генералами.

На стр. 119 в книге: „В службу же гражданскую определяют людей без всякого разбору".— Пятно гражданским чиновникам и вместе охуждение худых мер правительства.

Представляя сии мои сомнения комитету, обязанным себя нахожу объявить собственное мое мнение о сей книге, которое да будет уже принято моим голосом: я думаю, что оное сочинение г-на Пнина, в настоящем его виде, всемерно удалять должно от напечатания, яко противное правилам устава. Цензор Григорий Яценков" (ЛОЦИА, Архив министерства народного просвещения, дело № 206148/к 5916—„Донесения цензоров СПБ. цензурного комитета 1804 и 1805 гг., лл. 7—18 об.; копия в деле № 9826/к. 134).

Гр. П. А. Строганов, ознакомившись с мнением Яценко, поддержанным всем цензурным комитетом в полном составе, согласился на исключение из книги Пнина „указанных цензором мест" (см. „Беседы в Обществе любителей российской словесности", вып. III, 1871, стр. 9). Таким образом, сперва речь

шла всего лишь о незначительных в общем купюрах, но не о запрещении всей книги в целом. Но вслед за тем, в силу каких-то неизвестных нам обстоятельств, делу был дан новый ход и переиздание „Опыта о просвещении" было безусловно и окончательно запрещено, причем даже влиятельные протекторы Пнина — Строганов и Новосильцов — не сочли для себя возможным выступить в его защиту.

Предание приписывает главную роль в деле запрещения книги Пнина Гавриилу Васильевичу Геракову (1775—1838), бесталанному, но плодовитому писателю, автору многочисленных „патриотических" сочинений. Гераков якобы подал на Пнина донос, пробудивший бдительность цензуры*. Однако никаких следов доноса Геракова в делах цензурного комитета не обнаружено; впрочем, он мог сделать и устный „извет".

Цензурный комитет не ограничился запрещением второго издания „Опыта о просвещении", но вынес также постановление отобрать у книгопродавцев нераспроданные экземпляры первого издания**.

Узнав о решении цензурного комитета и ознакомившись с отзывом Г. М. Яценко, Пнин обратился в высшую инстанцию — в Главное правление училищ—с прошением, где подробно изложил обстоятельства, сопровождавшие переработку его сочинения, и приносил жалобу на неправильные действия цензурного комитета. Приведем текст этого документа.

„В Главное училищное правление

Прошение

Прочитавши полученные мною от его сиятельства графа Пав[ла] Алек[сандровича] Строгонова представленные ему цензурным комитетом, на книгу мою: „Опыт о просве[щении] относит[ельно] к России", замечания, беспрекословно переменил я и выбросил из книги моей все те места, которые были противны мнениям цензуры. Таким образом, как сочинитель, я все сделал для комитета; надеюсь, что и комитет с своей стороны равномерно сделает все для человека, тем чувствительнее оскорбляющегося, что, почитая цензуру местом от правительства для пользы, а не для причинения обид учрежденным, имеющим свои постановления, свои правила и

---

* Первое по времени упоминание о доносе Геракова встречается, насколько нам известно, в воспоминаниях П. А. Радищева („Русский Вестник", 1858 г., т. XVIII, стр. 426—427).

** В архиве цензурного комитета хранилось дело № 605/37—„Об отобрании из книжных лавок сочинения Пнина: Опыт о просвещении" (см. Исторические сведения о цензуре, 1862 г., стр. [9), но, несмотря на приложенные нами старания, разыскать его не удалось.

долженствующим руководствоваться беспристрастнейшим суждением, но не во зло употреблять права, ей предоставленные, поступать против <собственных> своих обязанностей и позволять себе такие выражения, которые, заключая в себе личность, падают на честь человека. Таковой поступок комитета побуждает меня принести Главному училищ правлению, как верховному судилищу, жалобу мою, с полным уверением, что обрету надлежащую справедливость.

Цензор Яценков, рассматривавший мою книгу, выбрал из различных мест оной по нескольку слов и, составив по собственному своему произволу из них речи, на 1-й странице своих замечаний выдает их за собственные мои. Я согласен, что приведенные там слова находятся в моей книге, однакож совсем не в том разуме. Цензор, вместо того, чтобы следовать порядку, в котором они находятся, не знаю почему, с каким-то неблаговидным намерением старался везде разрывать связь понятий и составлять такие выражения, каких в сочинении моем вовсе нет. На 2-ой стран[ице] своих замечаний называет он меня *зловещим пророком, собирающим черную тучу на главу России, чтоб она рассыпалась в своем основании.* Ужасная мысль! Какая туча может быть чернее ее? Это мысль цензора Яценкова. Самый величайший из неприятелей моих, сказав сие обо мне, не мог бы более меня обидеть. Никогда не собирал я тучи на главу России; никогда *не грозил исторгнуть у помещиков их достояние*; сам цензор в этом сомневается: ибо не говорит о сем утвердительно, а употребляет слово *кажется* грозит исторгнуть и проч[ее]; притом все сии выражения находятся только в замечаниях комитета, но их нет в моей книге. Посмотрите на стран[ицу] „ “* и вы увидите мысль мою и мое желание. *Я не собирал тучи на главу России*, но думал, каким бы образом предохранить ее от оной. Опыт многих столетий, свидетельство собственной истории нашей и многих других народов дают в сем достаточные уроки для времен настоящих. Взглядывать на будущее, делать из настоящего свои о нем заключения, не есть *злое пророчество*, но есть священная обязанность. Тот, кто любит свое отечество, тот имеет чувство, которое ничем не может быть удержано: оно подобно тонкому эфиру, все тела проницающему. Оно из-за пределов настоящего времени увлекает мысль в будущее, печалит и восхищает нас, предусматривая несчастную или счастливую участь потомства.

Всякий писатель, пишущий о предметах государственных, никогда не должен терять из виду будущее. Ибо целый народ никогда не умирает, ибо государство, каким бы ни было подвержено сильным потрясениям, переменяет только вид свой,

---

* Цифра в подлиннике не проставлена. — *Ред.*

но вовсе никогда не истребляется. И потому сочинитель обязан истины, им предусматриваемые, представлять так, как он часто находит их. Он должен в сем случае последовать искусному живописцу, коего картина тем совершеннее бывает, чем краски, им употребляемые, соответственнее предметам, им изображаемым.— Впрочем, все сказанное мною о необходимости крестьянской собственности, все истины, к сему предмету относящиеся, почерпнул я из премудрого Наказа Великия Екатерины. Она внушила мне оные. Она возбудила во мне тот жар и энтузиазм, который цензор ставит мне в преступление.—Рукописное дополнение, сделанное мною по воле монарха, заключает в себе определение крестьянской собственности, примененное мною к настоящему положению вещей.

Далее: цензор, на 4-ой страни[це] своих замечаний, хочет, чтобы я переменил и смягчил те места, которые мною переменены уже были по воле его превосх[одительства] Ник[олая] Ник[олаевича] Навасильцова и были им одобрены. Следовательно, проходить сии места вновь и распространяться о них не было никакой надобности. Но цель цензора в сем случае видна. Он хотел по-своему переправить период сей, и потому сделал к нему дополнение, приписав *сердцу моему черное пятно неблагодарности*. Вам, высокопочтенные мужи, вашей мудрости отдаю я на суд: имеет ли цензурный комитет право уполномочить одного из своих членов поносить честь сочинителя? Имеет ли право делать заключения свои о душевных его качествах и еще более представлять мнения свои о его нравственности высшему начальству? Это есть чувствительнейшая обида. Таковой поступок комитета явно доказывает неуважение его к законам, нарушение его оных; ибо закон запрещает всякую личность и обиду. Цензурный комитет учрежден для рассматривания книг, но не для рассматривания добродетелей и пороков сочинителя. Его должность и его суждения простираются только на те сочинения, кои подлинно содержат в себе места, противные данным ему правилам. Цензор в праве показать автору его заблуждения, в праве предложить ему полезные советы, но не в праве делать ему выговоры, то есть поступать так, как цензор Яценков поступил со мною.

Наконец цензурный комитет заключает замечания свои еще новою, гораздо чувствительнейшею для меня обидою: называет меня *доносчиком* в том, в чем он совсем не понимает содержания предложенных мною мыслей. Разве это есть *укоризна на взятки*, когда я сказал, что купцы, переходя из состояния купеческого в состояние дворянское, выносят по сту или по двести тысяч рублей из массы общих купеческих капиталов. Комитет совсем не хотел понимать меня; старался приводить

из книги моей места совсем иначе, нежели они у меня изображены <давая им совсем иное значение>; и даже простирая критику свою на те места, которые мною уже переменены были и одобрены начальством. Все сие хотя весьма оскорбительно, однакоже <не так, как> еще оскорбительнее сего непозволенная личность, им против меня употребленная. Сия-то личность побуждает меня Главному училищ правлению на цензурный комитет приносить жалобу мою, тем более, что книга моя, будучи его превосх[одительством] Нико[лаем] Нико[лаевичем] Навасильцовым представлена его импера[торскому] величеству, удостоена монаршего благоволения (что из прилагаемого при сем в копии письма видеть можно), одобрена бывшею тогда под начальством гражданского губернатора цензурою; потом вновь рассматривана была Н. Н. Навасильцовым и его сиятель[ством] графом П. А. Строгоновым, мною по воле их переправлена, дополнена и, наконец, по докладам их государю императору воспоследовало монаршее повеление печатать ее на счет казны. Из всех сих случаев Главное училищ правление легко усмотреть может поступок цензурного комитета, в рассуждении коего, по причиненным им мне обидам, прошу себе законного удовлетворения" (с автографа — без подписи и даты. ЛОЦИА, Архив министерства народного просвещения, дело № 9826/к. 134, лл. 5—8; цензурными материалами об „Опыте о просвещении" пользовался М. И. Сухомлинов, цитировавший и отзыв Яценко и прошение Пнина — см. „Исследования и статьи по русской литературе и просвещению", т. I, 1889, стр. 430—434).

Получил ли Пнин требуемое „законное удовлетворение" — неизвестно. Повидимому, не получил. Во всяком случае, решение цензурного комитета пересмотру не подвергалось и „Опыт о просвещении" был зачислен в разряд особо крамольных книг (попытка переиздать его в 1818 г. также не увенчалась успехом; см. стр. 286 наст. издания). Вторично (и на этот раз в художественной форме) Пнин отвечал цензуре в остроумном диалоге „Сочинитель и Цензор", снабженном традиционным защитным подзаголовком: „Перевод с манжурского". Сочинитель, отвечающий цензору, что „его засвидетельствование можно назвать ничего не значущим, ибо *опыт* показывает, что оно нисколько не обеспечивает ни книги, ни сочинителя", — явно имеет в виду историю с „Опытом о просвещении", сперва дозволенным цензурой, а потом запрещенным (может быть, и самое слово „Опыт" в приведенной цитате играет семантически двупланную роль).

Неудача с „Опытом о просвещении" не обескуражила Пнина, не научила его молчанию, но, наоборот, побудила его к новым обширным литературным трудам. Отказавшись почему-то от проекта издать собрание своих стихотворений („Моя лира"),

и „склонясь на просьбы журналистов“, он стал деятельным сотрудником некоторых периодических изданий („Северный Вестник“, „Журнал российской словесности“, „Журнал для пользы и удовольствия“), трудился над сочинением „О возбуждении патриотизма“, предполагал с 1806 г. издавать журнал „Народный Вестник“ (и даже составил программу его, до нас не дошедшую) и в последние месяцы жизни писал драму „Велизарий“ (закончено было только первое действие, также не уцелевшее).

Вместе с тем Пнин продолжал службу в департаменте министерства народного просвещения (6 февраля 1804 г. он был награжден чином надворного советника „за отличное усердие“). В середине 1805 г. Пнин подал прошение об отставке, по одним данным — по причине болезненного своего состояния, по другим — желая целиком отдаться литературной деятельности. Во „всеподданнейшем“ прошении от 21 июля 1805 г. он писал: „Исполнен будучи ревности к службе вашего императорского величества, я бы желал продолжать оную до конца моей жизни, но болезнь моя лишает меня сей способности вопреки моему усердию. Почему всеподданнейше прошу, дабы высочайшим вашего императорского величества указом повелено было сие мое прошение принять и меня от службы с следующим чином уволить, из получаемого ныне мною жалованья какую-либо часть определить мне в пенсион и выдать мне единовременно годовое мое жалование“ (данные об отставке Пнина заимствуем из дела № 8814/к. 198—ЛОЦИА, Архив министерства народного просвещения). По докладу товарища министра народного просвещения М. Н. Муравьева 12 августа 1805 г. Александр I согласился на увольнение Пнина „с пожалованием следующего чина [коллежского советника], с обращением третьей части жалованья в пенсион и с выдачей годового оклада единовременно“ (годовой оклад Пнина равнялся 2 000 руб.; сверх того, он получал 500 руб. „квартирных“; при отставке Пнин должен был получить 2 000 руб. и пользоваться „по смерть“ пенсионом в размере 666 руб. 66 коп. в год). В указе Александра I министру финансов гр. А. И. Васильеву от 19 августа 1805 г. сказано, что Пнину назначается пенсион и выдается единовременная денежная награда „*в пособие недостаточного состояния его*“. Однако Пнину так и не довелось воспользоваться пожалованными ему наградой и пенсионом: только 18 сентября 1805 г. экспедиция о государственных расходах запросила департамент министерства народного просвещения о том, где желает Пнин получать деньги. Запрос этот не имел смысла, ибо как раз накануне, 17 сентября, Пнин умер.

Мы ничего не знаем о личной жизни Пнина, о его семье; не знаем, когда и на ком он женился. Известно только, что в

1803 г. у него родился сын Петр *. Жена Пнина умерла, повидимому, раньше своего мужа,— во всяком случае она не присутствовала при его кончине. Пнин в последние свои годы жил в совершенном одиночестве; все его имущество после смерти было передано в Дворянскую опеку (единственным человеком, состоявшим при Пнине в последние годы, был его „служитель“ Годфрид Буш).

„Пнин был,— пишет Н. И. Греч,— невысок ростом, худощав, притом очень жив в движениях своих, любезен и учтив в обращении со всеми, остроумен и добродушен. Все знавшие его были к нему искренно привязаны, и смерть его жестоко поразила друзей его, приятелей и просто знакомых. Не знаем, удалось ли бы ему сделать что-либо великое и прочное: здоровье его было слабое и шаткое. Пылкая и деятельная душа рвалась из слабой оболочки“ („Северная Пчела“, 1857 г., № 125, стр. 587—589).

Вольное общество любителей словесности, наук и художеств посвятило памяти Пнина два специальных заседания —20 сентября и 7 октября 1805 г., на которых выступили с речами: Д. И. Языков, В. В. Попугаев, А. Е. Измайлов, Н. П. Брусилов и Ф.И. Ленкевич; Н. Ф. Остолопов, Н. А. Радищев, А. А. Писарев, А. Е. Измайлов и Ф. И. Ленкевич читали также стихи „на смерть Пнина“ (речь Брусилова и стихи названных авторов, кроме не сохранившегося стихотворения Ленкевича, перепечатаны нами в приложениях, см. стр. 225—236 речи Попугаева и Ленкевича не сохранились, см. отчет о заседании 20 сентября в „Северном Вестнике“ 1805 г., ч. VIII, октябрь, стр. 86—87). Д. И. Языков в своей речи сказал: „17-го сего месяца лишились мы сочлена и президента нашего Ивана

* Петр Иванович Пнин шестилетним мальчиком в 1809 г. был принят „учеником“ в Академию художеств, в 1819 г. был назначен в „живописный класс“, в 1824 г. был награжден серебряной медалью „второго достоинства“ и в том же году окончил Академию с аттестатом 1-й степени и шпагой (занял седьмое место среди девяти человек, получивших аттестат первой степени; всего в 1824 г. окончило курс 27 человек). С 1826 г. Петр Пнин служил канцелярским чиновником в департаменте министерства народного просвещения и в 1830 г. состоял в чине губернского секретаря (см. Н. Собко, Словарь русских художников, т. III, вып. 1, 1899, стр. 303 и Сборник материалов для истории Спб. Академии художеств за сто лет ее существования, под ред. П. Петрова, ч. II, 1865, стр. 132, 189, 190, 195). В 1825 г. Петр Пнин получил из опекунского совета наследственный капитал, оставшийся после отца, в 8 000 руб. (см. вызов Спб. Дворянской опеки в „Спб. Ведомостях“, 1825 г., № 44, стр. 559). В 1831 г. Петр Пнин ездил в Италию уже отставным губернским секретарем (см. объявление в „Спб. Ведомостях“, 1831 г., № 26, приб., стр. 2312). В 1837 г. он вторично отправился в Италию со своим товарищем по Академии, художником М. И. Лебедевым; по данным, сообщенным гравером Ф. И. Иорданом, называющим Пнина своим другом и товарищем по Академии), оба художника погибли в Неаполе при эпидемии холеры в 1837 г. (см. „Русская Старина“, 1891 г., № 7, стр. 38 и 46, или Записки Ф. И. Иордана, 1918, по указ.).

Петровича Пнина. Вот причина сегодняшнего собрания нашего. Итак, в непродолжительное время оплакиваем мы смерть уже другого сотрудника нашего. Недавно еще бросали мы цветы на гроб Каменева*, а теперь украшаем оными также гроб Пнина. Несчастие преследовало последнего с самой той минуты, как увидел он свет; при последних только днях, или, лучше, часах жизни его просияло было солнце над его главою: он надеялся быть в тихом пристанище; но вдруг бездна разверзлась, и его не стало. Без родителей, без родственников — жил он один во вселенной. Отечество было его родителем, друзья — родственниками: сердце его билось для них горячейшею любовию. Нет более Пнина, но память его останется незабвенною: она будет чтиться друзьями его, она будет благословляться теми несчастными, кои невинным образом осуждаются предрассудками и мнением при самом рождении своем. Его „Вопль невинности" раздался громко во всех сердцах; он исторг слезы у чувствительных и смягчил ожесточенных; быть может, он возвратит похищенные права у невинных и соорудит ему памятник тверже всякого металла и камня".

Впрочем, члены Вольного общества постановили соорудить Пнину также и надмогильный памятник „из металла и камня" с краткой надписью, предложенной А. Востоковым: „Пнину — друзья". В траурном заседании 20 сентября была объявлена подписка; в бумагах Общества хранится лист с именами 18 человек, сделавших пожертвования для этой цели; это были: Д. Языков, И. Борн, Н. Судаков, Н. Остолопов, Н. Брусилов, А. Измайлов, Ф. Ленкевич, И. Гальберг, А. Иванов, В. Попугаев, Н. Радищев, А. Востоков, М. Крюковский, Сахаров, Ушаков, В. Сопиков, Пучков, Тимковский, общая сумма пожертвований которых составила 160 руб. Тогда же членам-художникам было предложено приготовить эскизы памятника и представить их на рассмотрение и утверждение Общества. В октябре 1805 г. И. И. Гальберг представил сделанные им рисунки, однако они не были утверждены Обществом, и второй проект был заказан И. И. Теребеневу, который только в 1807 г. исполнил возложенное на него поручение. Эскиз Теребенева был утвержден (он хранился в архиве Общества, но ныне утрачен), и Теребеневу же было поручено „отлить бюст Пнина с доставленной из Общества модели", что и было сделано им несколько лет спустя**. Так, почти целое десятилетие тянулось дело о памятнике Пнину и, наконец, заглохло окончательно: „памятник остался одним из тех булыжников,

---

* Гавриил Петрович Каменев — известный поэт, член Вольного общества, скончался 25 июля 1803 г.

** Бюст Пнина работы Теребенева до настоящего времени не разыскан.

которыми, по словам пословицы, кажется португальской, вымощен ад“ (Н. И. Греч; материалы по делу о сооружении памятника частично сохранились в архиве Вольного общества; см. также „Исторический Вестник“, 1889 г., т. XXXVII, стр. 145—147).

Кроме того, тотчас же после смерти Пнина Вольное общество озаботилось судьбой оставшихся после него бумаг, обратившись к с.-петербургскому обер-полицийместеру Ф. Ф. Эртелю с просьбой передать в Общество „оставшиеся после умершего коллежского советника Пнина бумаги и разные сочинения, как принадлежащие Обществу, коего он был член и президент“. Эртель ответил (12 октября 1805 г.), что еще до получения письма от Общества все имущество Пнина было передано в Дворянскую опеку. Общество адресовалось с прежней просьбой и в Опеку, но предводитель дворянства спб. уезда А. Симанский сообщил в ответ (29 ноября 1805 г.),, что „после того Пнина никаковых сочинений, ниже бумаг принадлежащих Обществу, кроме партикулярных писем и некоторых счетных записок и счетов, ими не найдено, а известились они от бывшего его служителя Годефрида Буша, что какие-то бумаги им, Пниным, во время болезни его были розданы некоторым из посещавших его приятелей его, просивших у него тех на время, а кому именно и все ли, или только часть оных, им неизвестно“. Так бесследно пропал архив Пнина: никаких его рукописей, кроме трех автографов „Вопля невинности“, в доступных обследованиям архивных собраниях до настоящего времени не обнаружено.

ПРИМЕЧАНИЯ

МОЯ ЛИРА

I

[1] *Время*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, январь, стр. 1—5, без подписи и без указания, что это стихотворение является сокращенным переводом одноименной оды французского писателя Антуана-Леонара Тома́ (1732—1785). Кроме Пнина, эту оду перевели: Н. А. Радищев („Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств“, ч. I, 1804, стр. 10—17), П-й К-ъ („Цветник“ 1810 г., ч. V, № 1, стр. 1—6) и Ю. А. Нелединский-Мелецкий („Вестник Европы“ 1813 г., ч. 69, № 9, стр. 18; также „Чтения в Беседе любителей русского слова“ 1813 г., № 11). См. также анонимный прозаический перевод оды в книге „Переводы из творений Жан-Батиста Руссо и г. Томаса“, Спб. 1774. В журнале Пнина, кроме оды „Время“, был напечатан прозаический перевод „Послания к земледельцам“ Тома̀ (ч. III, август, стр. 22—31).

[2] *Солнце неподвижно между планетами*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, февраль, стр. 113—117, без подписи и без указания, что это стихотворение является переводом одноименной оды швейцарского писателя и ученого Альбрехта Галлера (1708—1777), автора известной в свое время поэмы „Альпы“, прозаический перевод которой был напечатан в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г. (ч. I, стр. 6—41). Кроме того, в журнале Пнина появилось еще несколько прозаических переводов из Галлера: „Ода на вечность“, „Дориса“, „Утро“, „Желание возвращения в свое отечество“, „Сатира“, „О славе“. „Письмо к Бодмеру“, „Добродетель“; возможно, что все эти переводы принадлежат Пнину.

[3] *Стихи на сон*. Напечатано в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч. I, № 4, стр. 223—225 (подписано: *****). Написано, очевидно, в 1802 г., так как в ноябре 1802 г. было представлено в Вольное общество любителей словесности, наук и художеств при вступлении Пнина в члены этого Общества (ср. выше, стр. 266).

[4] [*На смерть Радищева*]. Впервые напечатано в „Русском Вестнике“ 1858 г., т. XVIII, стр. 426—427 (в составе воспоминаний П. А. Радищева). А. Н. Радищев умер 12 сентября 1802 г.,— отсюда и дата стихотворения. Текст стихотворения, известный нам единственно по публикации „Русского Вестника“, вызывает сомнения в своей аутентичности: девятый стих, замененный в нашем издании строкой точек, в первопечатном тексте вообще отсутствует; между тем несомненно, что в данном случае стих был пропущен (быть может, из цензурных соображений), благодаря чему нарушена стройность десятистрочной строфы. Судя по тому, что стихотворение написано традиционной одической десятистрочной строфой, преимущественно употреблявшейся Пниным в одах (ср. „Солнце неподвижно между планетами“, „Слава“, „Человек“, „Послание к В.С.С“, „Надежда“, „Ода на болезнь“,

„Ода на правосудие“), можно предположить, что стихотворение это — фрагменты большой не дошедшей до нас целиком оды. Заметим кстати, что стихотворение это обычно предлагается в качестве свидетельства личной близости Пнина к Радищеву, причем второй стих: „Мой друг, уже во гробе он!“ понимается таким образом: Пнин называет здесь Радищева „своим другом“ (см., например, статью А. Бема в сборнике „Пушкин и его современники“, вып. 23—24, стр. 26). Мы полагаем, что понимать этот стих нужно как обращение к неизвестному адресату послания,— и другие стихи свидетельствуют скорее о том, что перед нами послание Пнина к какому-то его „другу“ *по поводу* смерти Радищева.

[5] *Слава*. Напечатано впервые в „Северном Вестнике“ 1804 г., ч. I, стр. 55—61, с подписью: „— нъ“. Вторично напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия“ 1805 г., ч. IV, № 11, стр. 135—139, под заглавием „Ода на славу“ и с подписью: Пнин. Текст „Журнала для пользы и удовольствия“ содержит следующие варианты:

7. Волшебным прутиком своим
9. Мгновенно злачные долины
11. Ах! сколь стези те все суть страшны
79. Всю похвалу добро трубят
80. Громады видим мы творений
81. Но где творцы? творцов не зрят,
89. Не есмь я метеор пустой
90. Не разношу по свету звука
91. Я ложного моей трубой
96. Кто добродетель исполняет,

а также мелкие разночтения, которые мы не учитываем. Текст „Журнала для пользы и удовольствия“ нельзя признать достоверным, так как издатель этого журнала А. Варенцов „исправлял“ стихи Пнина по своему усмотрению (см. ниже примечание к оде „Бог“); кроме того, текст этот в иных случаях явно испорчен (см., например, стих 11, нарушающий рифмовку).

[6] *Человек*. Напечатано в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч. I, № 4, стр. 38—45 (подписано: *****), со следующим примечанием издателя (Н. П. Брусилова): „Чувствительно благодарим любезного поэта за присылку сей Оды“, и с цензурной купюрой в XVIII строфе,— стихи:

. . . . Но ты в ответ вещаешь,
Что ты существ не обретаешь,
С небес которые б сошли,
Тебя о нуждах известили,
Тебя бы должностям учили
И в совершенство привели —

были исключены из рукописи цензором И. Тимковским (донесение Тимковского в цензурный комитет от 2 декабря 1804 г. с предложением „представить г. издателю или сочинителю выбросить или переменить“ эти стихи см. в „Донесениях цензоров за 1804—1805 гг.“ в делах Спб. цензурного комитета, ныне в ЛОЦИА, дело № 206 148/к. 5916, лл. 21—22; см. также дело № 38764/к. 1317, лл. 4 об.— 5). Пнин не пожелал переменить указанное место и предпочел напечатать оду с шестью строками точек. По данным письма известного мистика 1800-х гг. А. Ф. Лабзина к Н. Н. Новосильцову, пересказанного Н. Дубровиным, выясняется, что Пнин обжаловал решение цензурного комитета в Главном правлении училищ и якобы получил дозволение напечатать оду „Человек“ полностью (чего, однако, как мы видим, не сделал): „Молодой писатель Пнин напечатал [Sic. Следует, повидимому: „написал“.—*В. О.*] стихи, в которых подсмеивается над истинами веры, говоря просвещенному своему другу: „Ты не мыслишь, как невежды, будто небо смеживается с землею, как глазам простолюдина кажется; для тебя

не нужно, чтобы кто сходил с неба, дабы сделать тебя добродетельным и благополучным". Старший цензор И. Ф. Тимковской не пропустил этих стихов, но Пнин пожаловался в Главное правление училищ, которое, основываясь на § 22 тогдашнего цензурного устава, разрешило их напечатать. Будучи давнишним и искренним другом Лабзина, Тимковский рассказал этот случай и тем причинил ему такую боль, „как бы кто поранил его в самое сердце" (см. Н. Дубровин, „Наши мистики-сектанты" в „Русской Старине" 1894 г., т. 82, № 11, стр. 67; никаких следов жалобы Пнина по поводу запрещения указанных стихов в делах цензурного комитета и Главного правления училищ не обнаружено).

[7] *Послание к В. С. С. на новый год.* Напечатано отдельной брошюрой в 1805 г., в Петербурге, в типографии Ивана Глазунова, с подписью: Пнин (брошюра эта чрезвычайно редка). Первоначально Пнин собирался, повидимому, напечатать послание в журнале И. И. Мартынова „Северный Вестник": 30 декабря 1804 г. оно было представлено в цензуру в составе первой книжки „Северного Вестника" на 1805 г. и в тот же день возвращено „с одобрением" (ЛОЦИА, Дела Спб. цензурного комитета; № 38764/к. 1317, л. 12 об.); однако в „Северном Вестнике" стихотворение это напечатано не было. Адресовано послание, повидимому, к Василию Степановичу Сопикову, известному библиографу и книгопродавцу. Пнин был знаком с Сопиковым еще со времени издания „Санктпетербургского Журнала" 1798 г., подписка на который принималась „в Суконной линии Гостиного двора, в книжной Василия Сопикова лавке под № 16" (см. о Сопикове в указателе имен).

[8] *Надежда.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч. II, № 5, стр. 149—151 (подписано: *****), со следующим примечанием издателя (А. Варенцова): „За доставление сей пиэсы долгом поставляю изъявить г. сочинителю искреннюю благодарность".

[9] *Ода на болезнь.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч. IV, № 10, стр. 37—40, с подписью: Пнин. Об Осипе Кирилловиче Каменецком см. в указателе имен.

[10] *Бог.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч. IV, № 12, стр. 181—186, с подписью: Пнин и со следующим примечанием издателя (А. Варенцова): „Я думаю, что беспристрастные читатели, кои имеют у себя подлинники или копии сочинений достойного памяти Пнина, извинят сделанные мною как и в сей оде, так в некоторых прежде напечатанных в моем журнале стихотворениях его небольшие поправки в слоге; скорая смерть, конечно, не допустила его самого внимательно оглянуться на памятники своей жизни".

[11] *Ода на правосудие.* Напечатано отдельной брошюрой в 1805 г. (еще при жизни Пнина) в Петербурге, в Медицинской типографии, с подписью: Пнин (но без обозначения года). Написана „Ода на правосудие" была также в 1805 г. (по свидетельству Н. П. Брусилова, ср. стр. 234 наст. издания). Как „славнейший памятник, оставленный Пниным", она была дважды перепечатана: в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч, III, № 6, стр. 198—202, и в „Журнале российской словесности" 1805 г., ч. III, № 10, стр. 67—73 (вслед за некрологом Пнина, написанным Н. П. Брусиловым, где сказано: „Дабы дать сильнее почувствовать читателям ту потерю, которую мы сделали, да позволено мне будет, в память несчастного поэта, поместить Оду его на правосудие, хотя она и была уже напечатана. Сие произведение его пера будет лучшим памятником, который только можно воздвигнуть в честь его").— В первой строфе этой оды А. Д. Галахов усмотрел подражание известной оде Ломоносова „Царей и царств земных отрада, Возлюбленная тишина" (см. „Историческая христоматия", т. II, 1864, стр. 180).

[12] *Гимн на случай высочайшего посещения, удостоенного их императорскими величествами российское купечество по заложении новой биржи 1805 года, июня 23 дня.* Напечатано впервые отдельной брошюрой в 1805 г.

в Петербурге, с приложением музыкального текста, сочиненного композитором Давыдовым (цензурное разрешение, подписанное цензором Г. Яценко 20 июня 1805 г., — в делах Спб. цензурного комитета, № 206148/к. 5916, л. 157). Вторично напечатано в „Журнале российской словесности" 1805 г. ч. II, № 7, стр. 168—170, в отделе „Известия и смесь". Здесь в отчете о торжестве закладки нового здания петербургской биржи читаем: „23 июня ознаменовалось новою щедротою Александра. В сей день государь император положил основание новой великолепной биржи.... По заложении биржи государь император и вся высочайшая фамилия удостоили посетить российское купечество, которое угощало их величества обеденным столом. В сие время пели Гимн, сочиненный г. Пниным, с музыкою на оный г. Давыдова. Мы с удовольствием помещаем его в нашем журнале" [следует текст „Гимна"]. По свидетельству Н. П. Брусилова, это единственное стихотворение Пнина, обращенное к царю (и написанное явно по заказу), было „последним произведением его пера" (см. стр. 234 наст. издания).

II

13 *Наставление богатому сыну от бедной матери.* Напечатано в „Санкт-петербургском Журнале" 1798 г., ч. I, март, стр. 279—282, без подписи.

14 *Уединение.* Напечатано в „Журнале российской словесности" 1805 г., ч. I, № 2, стр. 108—110 (подписано: *****).

15 *К роще.* Напечатано в „Журнале российской словесности" 1805 г., ч. II, № 6, стр. 91—93 (подписано: *****), со следующим примечанием издателя (Н. П. Брусилова): „Сочинитель сих стихов есть тот самый, который писал оду Человек, Уединение и Стихи на сон, помещенные в 1, 2 и 4 № сего журнала. Издатель чувствительно благодарит любезного поэта за участие, которое он берет в издании".

16 *Бренность почестей и величий человеческих.* Печатается *впервые*, извлечено из рукописного цензурного экземпляра седьмой (июльской) книжки „Журнала российской словесности" 1805 г. (была представлена в цензуру 2 июня 1805 г.), сохранившейся в собрании П. Я. Дашкова (Рукописное отделение Института русской литературы Академии Наук СССР). Здесь стихотворение это, записанное рукою Н. П. Брусилова (подписано: *****), вычеркнуто цензором И. Тимковским с пометой: „Не печатать. Ц[ензор] Ив. Тимковской". Текст стихотворения, повидимому, был испорчен при переписке: к девятому стиху не достает рифмы.

17 *Карикатура.* Печатается *впервые*, извлечено из той же тетради, что и предыдущее стихотворение, где также вычеркнуто цензором И. Тимковским с точно такой же пометой: „Не печатать. Ц[ензор] Ив. Тимковской". Подзаголовок стихотворения: „Подражание англинскому", несомненно, имел целью усыпить бдительность цензуры,— стихотворение имеет в виду, очевидно, Александра I („лев") и его министров („ослы"). К 1804 г. александровская „весна" была уже явно на ущербе: в 1803 г. был возвращен на службу Аракчеев и произошли крупные перемены в составе комитета министров, причем большинство новых назначений способствовало разрушению либеральной репутации Александра (так, например, министром юстиции был назначен бывший павловский фаворит кн. П. В. Лопухин, явно неспособный к делам и пользовавшийся в обществе самой дурной славой).

18 *Послание к некоторым писателям.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч. IV, № 10, стр. 33—37, с подписью: Пнин. „Послание" написано так называемым „русским стихом", получившим широкое распространение в поэзии конца XVIII—начала XIX в.в. и употреблявшимся преимущественно в псевдо-народных поэмах и сказках „о старинных русских происшествиях", между прочим, „Бове" А. Радищева.

19 *Любовь.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч. IV, № 10, стр. 70—71, с подписью: Пнин.

20 *Зависть.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия" 1805 г., ч. IV, № 11, стр. 139—140 (подписано: *****).

[21] *Плач над гробом друга моего сердца*. Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия“ 1805 г., ч. IV, № 12, стр. 238—243, с подписью: П ****.

[22] *Мысли о табаке*. Напечатано в журнале Н. Ф. Остолопова „Любитель словесности“ 1806 г., ч. II, № 4, стр. 40, с подписью: Пнин.

III

[23] *Надежда, Радость, Стыдливость*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, февраль, стр. 181—182, без подписи.

[24] *Несчастный любовник*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, март, стр. 244, без подписи.

[25] *Южный ветер и Зефир*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, август, стр. 61—62, без подписи.

[26] *Терновник и яблоня*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, сентябрь, стр. 85—87, без подписи.

[27] *Преждевременные родины*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. IV, ноябрь, стр. 122—124, без подписи. О французском поэте Жан-Батисте Руссо, которому подражал Пнин в этой басне, см. в указателе имен.

[28] *Царь и Придворный*. Напечатано в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч. II, № 7, стр. 152—153 (подписано: *****). В рукописном цензурованном экземпляре седьмой книжки „Журнала российской словесности“ (собрание П. Я. Дашкова в ИРЛИ Академии наук СССР) басня эта подписана: Р — ій (м. б.: „Русский“?); разночтений и вариантов, сравнительно с печатным текстом, в рукописи нет.

[29] *Верховая лошадь*. Напечатано в „Любителе словесности“ 1806 г., ч. II, № 6, стр. 207—208, с подписью: Пнин.

IV

[30] *Сравнение старых и молодых людей относительно к смерти*. Напечатано впервые в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, сентябрь, стр. 93, без подписи. Перепечатано в „Любителе словесности“ 1806 г., ч. II, № 4, стр. 39, с подписью: Пнин, с измененным заглавием: „Сравнение старых людей с молодыми“ и со следующим примечанием издателя Н. Ф. Остолопова: „Кто читал здешние журналы прошедшего года, тот знает о кончине сего любезного человека.— Познания, способности и трудолюбие Пнина подавали несомненную надежду, что он принесет большую пользу нашей словесности. Это доказывают сочинения его, как напечатанные, так и оставшиеся в рукописи.— Я надеюсь доставить читателям сего журнала удовольствие помещением некоторых его стихотворений, не бывших еще в печати“. Вошло в „Опыт русской анфологии“, составленный М. Л. Яковлевым, 1828, стр. 60.

[31] *На вопрос: что есть бог?* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, сентябрь, стр. 93, без подписи (авторство Пнина раскрыто А. Н. Неустроевым в указателе к „Историческому разысканию о русских повременных изданиях“, 1898, стр. 497).

[32] *Счастие*. Напечатано впервые в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, сентябрь, стр. 94, без подписи. Перепечатано в „Журнале для пользы и удовольствия“ 1805 г., ч. IV, № 10, стр. 45, с подписью: П . . . ъ. Вошло в „Опыт русской анфологии“ М. Л. Яковлева, 1828, стр. 159. В качестве эпиграфа было помещено в „Литературных прибавлениях к Русскому Инвалиду“ 1833, № 40.

[33] *Загадка*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, сентябрь, стр. 94, без подписи.

[34] *Различие между роскошным и скупым человеком*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. IV, октябрь, стр. 65, без подписи.

[35] *Сравнение блондинки с брюнеткою*. Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, август, стр. 73, без подписи.

[36] *Стихи к Ч . . .* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, февраль, стр. 197, без подписи.

[37] *Стихи к девице Ч . . . . на день ее рождения.* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. II, июнь, стр. 23, без подписи. Кто такая была девица Ч.— установить не удалось.

[38] *Надгробие Евгению Алексеевичу Колычеву.* Напечатано в „Любителе словесности“ 1806 г., ч. II, № 4, стр. 40, с подписью: Пнин. О стихотворце Е. А. Колычеве см. в указателе имен.

[39] *Эпиграмма* (Женатой господин слугу его спросил). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, январь, стр. 54, без подписи.

[40] *Эпитафия.* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. I, январь, стр. 54, без подписи.

[41] *Эпиграмма* (Известный М . . . страшилище людей). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 178 г., ч. II, апрель, стр. 14, без подписи. Кого имел в виду Пнин в этой эпиграмме— установить не удалось.

[42] *Говорун.* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, июль, стр. 27, без подписи. Третий стих этого четверостишия процитирован во втором „Письме из Торжка“, напечатанном в октябрьской книжке „Санктпетербургского Журнала“ (см. стр. 183 наст. издания).

[43] *О женитьбе.* Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия“ 1805 г., ч. IV, № 10, стр. 58, с подписью: Пнин.

[44] *Эпитафия плясуну.* Напечатано в „Любителе словесности“ 1806 г., ч. II, № 5, стр. 133, с подписью: Пнин. Вошло в „Пантеон русской поэзии“ изданный П. А. Никольским, ч. II, 1814, стр. 273 (под заглавием: „Плясуну“).

[45] ВОПЛЬ НЕВИННОСТИ, ОТВЕРГАЕМОЙ ЗАКОНАМИ

Печатается с парадного автографа Пнина, поднесенного им Александру I. (Эрмитажное собрание манускриптов, № 34,— ныне в Ленинградской государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Кроме того, нам известно еще два автографа этого сочинения: черновая рукопись с добавлениями и исправлениями (также в Ленинградской государственной публичной библиотеке, шифр: F. II. № 70) и беловая рукопись с незначительными поправками (в Институте русской литературы Академии Наук СССР, шифр: 26. 5. 239), а также четыре современных его списка (Московский исторический музей, Чертковское собрание, шифр: 200. Г. 14/3; Ленинградская государственная публичная библиотека, шифр: II. Q. 52; Институт русской литературы Академии Наук, шифр: 4868. XXV 6. 30 и там же — список, поступивший в 1928 г. от Н. П. Бауэра).

С черновой рукописи Публичной библиотеки „Вопль невинности“ был опубликован Е. В. Петуховым в „Историческом Вестнике“ 1889 г., т. XXXVII, стр. 147—160. Публикуемая нами впервые окончательная редакция „Вопля невинности“ содержит, сравнительно с первопечатным текстом, некоторые разночтения, преимущественно стилистического порядка.— На обороте заглавного листа беловой рукописи Института русской литературы (совпадающей за малыми исключениями с публикуемым нами текстом) имеется густо зачеркнутый эпиграф в стихах:

Великие дела царей потомство славит.
В замену тронов их, им жертвенники ставит

Двустишие это принадлежит, вероятно, Пнину (ср. в „Опыте о просвещении“: „Снять оковы с народа, возвратить людей человечеству, граждан государству есть такое благодеяние, которое делает царей бессмертными, уподобляет их божеству и налагает дань благодарности на потомство, которое в замену их тронов воздвигает им жертвенники“— стр. 138 наст. издания). В стихотворном посвящении Александру I в беловой рукописи Института русской литературы, в первом стихе, вместо: „Пред троном я твоим сей

повергаю труд“ первоначально стояло: „Пред троном я твоим сей *излагаю* труд“.

На заглавном листе черновой рукописи Публичной библиотеки имеется помета (рукой Пнина): *Сие сочинение удостоено высочайшего внимания и награды*“. Точную дату награждения — 24 ноября 1802 г. дает письмо к Пнину Н. Н. Новосильцова, скопированное Пниным на обороте 2-го листа беловой рукописи „Вопля невинности“, хранящейся в Институте русской литературы (см. стр. 261 наст. издания).

На обороте последнего листа беловой рукописи Института русской литературы Пнин приписал следующее:

„*Напечатание сего сочинения принести может величайшую пользу. Во первых, повсеминутный страх увидеть предлагаемые мною законы учрежденными, будет сильно удерживать людей от порочных связей, в которые (не будучи теперь ничем обуздываемы) вдаются они со всею стремительностью. Во вторых, истины, в оном изображенные, могут также сильно действовать на сердца, удобные к принятию оных; и вообще сочинение сие побудит людей к обращению взоров своих на их поведение, напомнит им о святости исполнений их должностей, и тем самым приуготовит уже половину желаемого дела*“ (приписка эта сделана позже, другими чернилами).

А. С. Поляков без достаточных оснований полагал, что „Вопль невинности“ служил источником известного стихотворения Пушкина „Романс“ (см. его статью „Пушкин и Пнин“ в сб. „Пушкин и его современники“, вып. XVII — XVIII, 1913, стр. 249 — 264; ср. статью А. Бема там же, вып. XXIII — XXIV, 1916, стр. 23—44, и рецензию Н. Лернера в газете „Речь“ 1913 г., № от 23 декабря).

„Наказ“ Екатерины II, данный Комиссии 1767 г. о сочинении проекта нового уложения, из которого Пнин взял эпиграф к „Воплю невинности“ и на который неоднократно ссылается в тексте, в течение долгого времени служил основной „скрижалью“ русского дворянского либерализма и при Павле I попал даже в число „запрещенных книг“. Являясь по существу конспектом крупнейших памятников просветительной литературы XVIII века (заполненный более чем наполовину выписками из „Духа законов“ Монтескье и трактата „О преступлениях и наказаниях“ Беккария), „Наказ“ сыграл известную роль в развитии дворянско-либеральных настроений, но никакого практического значения не имел, поскольку „Екатерина была не из тех, которые способны рискнуть ради теории своим личным практическим интересом“ (Плеханов). Поучительную характеристику „Наказа“, роли, которую ему приписывали, и его действительного значения см. у М. Н. Покровского в „Русской истории с древнейших времен“, т. IV (изд. „Мир“ 1914, стр. 65—71).

На стр. 107 в примечании имеется в виду императрица Мария Федоровна (жена Павла I), в ведении которой находились женские институты и воспитательные дома.

На стр. 108 Пнин пишет: „Великая и по делам своим бессмертная Екатерина II, по законам и сердцу, которые ты следуешь“, — имея в виду известные слова манифеста о воцарении Александра I: „Мы, восприемля наследственно императорский всероссийский престол, восприемлем купно и обязанность управлять богом нам врученный народ *по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей, государыни императрицы Екатерины Великие*, коея память нам и всему отечеству вечно пребудет любезна“ (манифест был написан Д. П. Трощинским).

В „Вопле невинности“ Пнин воспользовался некоторыми положениями и формулировками анонимной статьи „К Наисе“, напечатанной в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., (ч. II, май, стр. 123—134, и ч. IV, октябрь, стр. 43—46); принадлежность этой статьи Пнину вызывает, однако, сомнения.

46 ОПЫТ О ПРОСВЕЩЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО К РОССИИ

Печатается в полной редакции впервые с единственного архивного экземпляра отдельного издания 1804 г. (Санктпетербург, в типографии Ив. Глазунова, стр. 147); экземпляр этот, содержащий обширные рукописные добавления, сделанные Пниным для не увидевшего свет второго издания (см. выше, стр. 268), хранится в Московском центральном историческом архиве, в Древлехранилище, в составе собрания Ф. Н. Хозикова (см. „Каталог славяно-русских рукописей библиотеки бывшего Главного архива министерства иностранных дел в Москве, находящейся ныне там же, в Древлехранилище, б. Московском архиве министерства юстиции“— карточка № 1149/1715) и описан А. Н. Филипповым в „Известиях по русскому языку и словесности Академии наук СССР“, 1929 г., т. II, кн. 2, стр. 493—527. Перед титульной страницей печатного издания „Опыта о просвещении“ в экземпляре Московского Древлехранилища *вклеен* листок, на котором неизвестной нам рукой написано: „*Сочинение удержано государем. Переправки представлены в ценсуру 18 ноября 1804 г.; печатать запрещено в 1818 году*“. Самый же экземпляр книги был *переплетен* с белыми листками, на которые были той же рукой *переписаны* (без единой помарки) все добавления, сделанные Пниным для второго издания,—переписаны, повидимому, с автографа, представленного Пниным в цензуру в 1804 г. В конце второго пространного добавления имеется „Общее примечание“: „*Все слова и строки, отмеченные красными точками, замараны в рукописи Ценсором*“, что также свидетельствует о том, что добавления были переписаны в экземплярах Древлехранилища непосредственно с цензурного экземпляра 1804 г., причем переписаны совершенно точно, так как цитируемые в донесении цензора Г. М. Яценко строки добавлений, вызвавшие запрещение всей книги (см. выше, стр. 268), не содержат каких-либо разночтений с рукописным текстом в экземпляре Древлехранилища.

Повидимому, какой-то неизвестный нам друг или почитатель Пнина, владевший автографом добавлений, возвращенным Пнину из цензуры в 1804 г., спустя четырнадцать лет, в 1818 г., попытался вторично издать „Опыт о просвещении“ в полной редакции. Попытка его не увенчалась успехом: книга была снова запрещена (в 1818 г. было вообще запрещено писать что-либо о крепостном праве, равно и в защиту и в осуждение его), после чего, вероятно, и был вклеен в переплетенную — вместе с рукописными добавлениями — книгу первый листок с вышеприведенным объяснительным текстом. Что же касается замечания: „сочинение удержано государем, то, по вероятному предположению А. Н. Филиппова, его нужно понимать так: Александр I „удержал“ книгу Пнина не в том смысле, что запретил ее, а в том смысле, что оставил ее у себя (и, как известно, даже „ободрил“ автора, наградив его и приказав печатать второе издание „Опыта“ на казенный счет).

Внесенные нами в основной текстр укописные добавления (на стр. 129—130, 134—141, 145, 146) заключены в ломаные скобки: <>, а все цензурные купюры („замаранные в рукописи цензором“ слова и строки) отемчены в каждом, отдельном случае в подстрочных примечаниях.

На стр. 124—128 Пнин пишет о знаменитой конституции Национального Конвента (1792—1795), выработанной после разгрома жирондистов; конституция 1793 г., провозглашая полную отмену феодального строя, сыграла огромную роль в деле установления якобинской диктатуры.

На стр. 133 Пнин упоминает о „Манифесте от марта 5 числа 1803 года, о позволении крестьянам откупаться от своих помещиков“,— имеется в виду закон о свободных хлебопашцах, изданный 20 февраля 1803 г. и разрешивший освобождение крестьян отдельными помещиками за деньги или даром, но непременно с землею; освобожденные крестьяне не имели права записываться ни в какое другое сословие и образовывали особый класс „свободных хлебопашцев“. Закон 20 февраля 1803 г. в старой русской историографии принято было считать крупнейшим событием в области социальных

отношений начала XIX в. Известное принципиальное значение он, несомненно, имел (был встречен крайне сочувственно всеми сторонниками полного уничтожения или ограничения крепостного права и, наоборот, произвел „великое волнение" в среде крепостников), но практическое его значение было ничтожно (как и следовало того ожидать, поскольку осуществление закона зависело от самих дворян): он привел к освобождению от крепостной зависимости всего 112 тысяч душ мужского пола (см. о законе 20 февраля 1803 г. у В. И. Семевского", Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века", т. I, 1888, стр. 252—282, и статью Бирюковича „Судьба указа о свободных хлебопашцах в царствование Александра I" в „Архиве истории труда в России", кн. I, 1921).

На стр. 134 Пнин делает ссылку на Болтина (см. о нем в указателе имен), *не указывая*, что весь дальнейший текст до стр. 138 (от слов: „Прежде завоевания царств Казанского и Астраханского..." на стр. 134) до слов: „Не ясно ли из сего всякой видеть может..." на стр. 138) является прямым заимствованием, дословной выпиской из сочинения Болтина „Примечания на историю древние и новые России Леклерка" (1788 г.), именно стр. 206—215 второго тома „Примечаний", содержащих сжатый очерк истории крепостного права в России. Многоточия, трижды прерывающие текст Пнина (в начале новых абзацов на стр. 136 и 137), обозначают опущенные им цитаты из „Истории" Леклерка, которыми оперировал в своих „Примечаниях" Болтин (подробнее о заимствованиях Пнина у Болтина см. в статье А. Н. Филиппова в „Известиях по русскому языку и словесности Академии Наук СССР", 1929, т. II, кн. 2, стр. 510—515).

На стр. 136 Пнин цитирует замечание Болтина: „Первый повод к продаже поодиночке подал владельцам набор рекрут с числа дворов, показав тем дорогу, что можно их отделять от земли и от семейств поодиночке",—имеются в виду указы Петра 1 от 17 декабря 1717 г. и 29 октября 1720 г.; впрочем, Болтин (а вслед за ним и Пнин) допускает в данном случае ошибку: уже в XVII веке крепостные постоянно „отделялись от земли" и продавались „поодиночке".

На стр. 139 Пнин преувеличил роль „просвещенной Англии" в деле прекращения работорговли и освобождения негров от рабства: в английских колониях рабство даже официально не было отменено вплоть до 1830-х гг.

На той же странице упоминается об изданном 28 мая 1801 г. указе президенту Академии Наук о запрещении печатать в академических ведомостях объявления о продаже людей без земли.

В примечании на стр. 140 Пнин упоминает об объявленном в 1766 г. Вольным экономическим обществом конкурсе на лучшее сочинение на тему: „В чем состоит собственность земледельца: в земле ли его, которую он обрабатывает, или в движимости, и какое он право на то или другое для пользы общенародной иметь может?" На конкурс было представлено (в 1768 г.) 162 сочинения (129— немецких, 21— французское, 7— русских, 3— на латинском языке, 1—шведское и 1 — голландское), в огромном большинстве (за исключением всего лишь двух) защищавших идею уничтожения крепостного права. В числе авторов представленных сочинений были крупнейшие западно-европейские ученые и писатели (между прочим, Вольтер, Мерсье-де-ла-Ривьер, Мармонтель), но первая награда была присуждена доктору прав Аахенского университета Беарде-де-л'Абею (см. о нем в указателе имен), сочинение которого было опубликовано в русском переводе в „Трудах Вольного экономического общества" (1768 г., ч. VIII; перепечатано в „Чтениях в обществе истории и древностей российских" 1862 г., т. II) и тогда же было издано в Петербурге в подлиннике под заглавием: „Dissertation qui a remporté le prix sur la question proposée en 1766 par la Société d'économie et d'agriculture à St.-Pétersbourg, à lapquelle on a joint les pièces pui ont eues l'accessit" (здесь, кроме сочинения Б. де-л'Абея были напечатаны премированные статьи Вёльнера, Граслена и Мека). В сочинении своем Б. де-л'Абей заявил себя в достаточной степени умеренным ниспровергателем крепостного

права. Полагая, что крестьяне есть корни, основание всего государства, что самый бедный земледелец полезнее для государства, чем праздный, невежественный вельможа, он признает за крестьянином право на „неотъемлемую собственность“, поскольку богатство и могущество государства суть прямые следствия свободы и благосостояния крестьян. Но этот свой основной тезис Беарде-де-л'Абей сопровождает целым рядом весьма существенных оговорок: хотя он и считает, что прежде, чем дать крестьянину в собственность землю, необходимо сделать его лично свободным, но считает нужным „предостеречь государей от вредной поспешности“, предлагая целую систему подготовительных мер, цель которых „сделать крестьянина достойным свободы“ (первое место среди них занимает „просвещение“). Беарде-де л'Абей советовал Екатерине сначала просветить крестьян, затем даровать им личную свободу и право на движимое имущество и лишь *после того* наделить их небольшими участками земли, которые не обеспечивали бы полностью их существования и при которых они должны были бы арендовать землю у помещика (см. подробнее о конкурсе 1766 г. и сочинении Б. де-л'Абея у В. И. Семевского, „Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века“, т. I, 1888, стр. 45—61).

В примечании на стр. 141 Пнин упоминает о „прекраснейших постановлениях, сделанных недавно для крестьян лифляндских, в обеспечение их собственности, их прав и их благосостояния“,— имеется в виду изданное 20 февраля 1804 г. „Положение о крестьянах Лифляндской губернии“, несколько облегчившее участь крепостных Прибалтийского края. „Положение“ это носило половинчатый характер: лифляндские крестьяне не были освобождены от крепостной зависимости, было только запрещено продавать или закладывать их без земли, переводить в дворовые и т. д.; барщина была ограничена двумя днями в неделю; крестьяне получили некоторые личные права (права свободного заключения браков, рекрутских поставок и пр.). В 1805 г. подобное же „Положение“ было издано и для крестьян Эстляндской губернии.

На стр. 143 Пнин ссылается на „одного знаменитого писателя прошедшего века“, доказывающего, „что правительство учреждено для того, чтобы подкреплять нравственность“,— очевидно, имея в виду в данном случае Гольбаха, определяющего правительство, как силу, принуждающую людей исполнять свои нравственные обязанности, содействовать общему благу и жить добродетельно (см. „Politique Naturelle“, Disc. II, §§ 1, 2, 3 и Disc. VII, § 14, также „Morale Universelle“, Sect. 4. ch. II; ср. Введение в „Systeme Sociale“: „Нравственность теряет свою силу, если не опирается на политику; политика колеблется и уклоняется в сторону, если не поддерживается добродетелью“).

Стр. 148 (стр. 86—88 по изданию 1804 г.) является почти дословным (но сокращенным) переводом из „Проекта закона о народном учении“ Ж.-А. Шапталя, откуда взят и первый эпиграф к „Опыту о просвещении“. Заимствовав у Шапталя его некоторые общие положения по вопросу о народном образовании (прежде всего о „неравенстве степеней учения“ для различных классов общества), Пнин самостоятельно „приложил“ их к различным сословиям русского общества: „земледельцам“, мещанству, купечеству, дворянству и духовенству. Ср. сокращенный перевод проекта Шапталя в официальном органе министерства внутренних дел —„Санктпетербургском Журнале“ 1805 г., №№ XI, ноябрь, отд. II, стр. 53—69 и XII, декабрь, отд. II, стр. 105—125—„Извлечение из проекта закона о народном учении, представленного Г. Шапталем“ (ср. особенно текстуальные совпадения с „Опытом о просвещении“ на стр. 58—59 в № XI „Спб. Журнала“; эти совпадения позволяют высказать следующее предположение: не Пнин ли перевел указанное „Извлечение из проекта Шапталя“?). В „СПБ. Журнале“ переводу из Шапталя было предпослано предисловие (без подписи), где читаем: „Господин Шапталь при новом учреждении во Франции училищ представил проект закона о народном учении. В проекте сем, входя

во все подробности прежнего положения училищ, образования их и способов преподавания в них учения, старался он открыть все неудобства с оными соединенные. Основываясь на сих исследованиях и предложив перемены, нужные к усовершенствованию способов просвещения во Франции, между прочим изложил он некоторые общие правила, соблюдение коих считал он нужным, дабы правительство в благотворном предположении водворить и сделать колико возможно более общим народное просвещение, с большею удобностию могло надеяться достигнуть цели своей.—Мы надеемся, что сии общие правила человека, свету столь известного, могут быть достойны внимания для некоторых наших читателей, и потому помещаем их в журнал наш".

На стр. 160 Пнин пишет об учреждении министерств в России. Манифестом Александра I от 8 сентября 1802 г. было объявлено об учреждении следующих восьми министерств: 1) военных сухопутных сил, 2) морских сил, 3) иностранных дел, 4) юстиции, 5) внутренних дел, 6) финансов, 7) коммерции и 8) народного просвещения. Управление „публичными театрами" было сосредоточено в придворном ведомстве, и проект Пнина о передаче их „под ведение" министерства народного просвещения, как известно, при царизме никогда осуществлен не был.

[47] ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ

Напечатано в „Журнале российской словесности" 1805 г., ч. III, № 12, стр. 161—168, со следующим примечанием издателя (Н. П. Брусилова): „Вот одно из последних сочинений любезного человека, которого смерть похитила рано и не дала ему оправдать на деле ту любовь к отечеству, которая пылала в его сердце. Счастлив тот, кто и за гробом может быть любим!" В этом памфлете Пнин высказался против предварительной цензуры, введенной новым уставом 9 июля 1804 г., доказывая, что ответственность за пропущенное в печать сочинение должен нести не цензор, а сам автор (см. об уставе 1804 г. у М. И. Сухомлинова — „Исследования и статьи по русской литературе и просвещению", т. I, 1889, стр. 404—415). В памфлете, повидимому, нашло отражение собственное цензурное дело Пнина — запрещение второго издания „Опыта о просвещении", и конфискация нераспроданных экземпляров первого издания (ср. выше, стр. 274). „Письму к Издателю", несомненно, подражал А. Е. Измайлов в своей сценке). „Ценсор и сочинитель" (см. „Полное собрание сочинений А. Е. Измайлова", т. I, 1890, стр. 284—288).

DUBIA

[48] *Выписка из рассуждений о государственном хозяйстве.* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г., ч. I, февраль, стр. 185—196 без подписи. Мы включаем эту статью в раздел сочинений, приписываемых Пнину, на основании первых и последних строк ее („Избрав предметом наших рассуждений все, что издается в свет, или что мы сами пишем...", „Чувствуя всю цену сего сочинения, намерены мы в продолжении издания нашего помещать некоторые из оного места..."), свидетельствующих, что она принадлежит перу *издателя журнала.* Статья эта служила редакционным предисловием к семи главам „Meditazioni sul'economia politica" гр. Пьетро Верри, напечатанным в „Санктпетербургском Журнале" в переводе И. И. Мартынова (см. ч. I, март, стр. 237—243: „В чем состоять может торговля между народами, не знающими чеканных денег"; ibid., стр. 283—287: „Что такое чеканные деньги"; ч. II, апрель, стр. 15—21: „Умножение и уменьшение государственного богатства"; ibid., стр. 96—108: „Главные побуждения торговли и первоначальные основания цены"; июнь, стр. 226—231: „Худой раздел богатства"; ч. III, август, стр. 42—51: „О купеческих и художнических обществах" и сентябрь, стр. 35—41: „О законах, запрещающих вывоз товаров за границы"). Об обстоятельствах, связанных с появлением этих переводов в „Санктпетербургском Журнале", см. выше, на стр. 257; о Пьетро Верри см. в указателе имен.

[49] *Гражданин.* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. II, июнь, стр. 215—218, без подписи. Мы сочли возможным включить эту статейку в раздел приписываемых Пнину сочинений, как по ее идейному содержанию (ср. хотя бы замечания о правах и обязанностях гражданина в „Опыте о просвещении“), так и по ее стилистическим особенностям (характерный для Пнина риторизм, частые вопросы и восклицания); укажем также, что встречающееся в статейке выражение „угнетенная невинность“ принадлежит к числу излюбленных выражений Пнина,— мы находим его в „Послании к В. С. С.“ (строфа VI, стих 7; ср. строфу V, стих 5; также „Вопль невинности, отвергаемой законами“), а упоминание о Курции перед разверстою бездной находим в оде „Слава“ (строфа VII, стих 8).

[50] *Чувствования россиянина, излиянные пред памятником Петра Первого, Екатериною Второю воздвигнутым.* Напечатано в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. IV, ноябрь, стр. 148—150, без подписи. Пнин неоднократно упоминал о Петре I в своих сочинениях и всегда в восторженном тоне: „Обожаемые Севером имена Петра и Екатерины...“ („Вопль невинности, отвергаемой законами“), „Петр Великий, сей бессмертный монарх, отец отечества...“ („Опыт о просвещении“). Одна фраза „Чувствований россиянина“ почти дословно повторяет текст принадлежащего перу Пнина программного объявления об издании „Санктпетербургского Журнала“; ср. в статье: „...Страны, славившиеся тогда своими *художествами, искусствами и науками, коих благотворный свет* не касался еще *мрачных пределов утопавшего в невежестве государства твоего*“ и в объявлении: „*Благотворные лучи просвещения* проникли, наконец, в обширные и *мрачные доселе пределы Севера*“ (см. стр. 257 наст. издания).— Памятник Петру I, работы Фальконета и Марии Колло, был воздвигнут в Петербурге на Сенатской площади в 1782 г.; торжество открытия памятника было описано А. Н. Радищевым в „Письме к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего“ (издано отдельной брошюрой в 1790 г.),— Пнин, несомненно, был знаком с „Письмом“ Радищева, где Петр был охарактеризован, как „Муж необыкновенный, название великого заслуживший правильно“, как правитель, „отличившийся различными учреждениями, к народной пользе относящимися“ (впрочем, Радищев упрекает Петра за „истребление вольности частной“).

[51] *Письма из Торжка* (заглавие дано редактором). Напечатаны в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г., ч. III, сентябрь, стр. 16—31; ч. IV, октябрь, стр. 38—42; ноябрь, стр. 113—122, и декабрь, стр. 295—303. В Торжке у журнала, несомненно, никакого сотрудника не было, в то же время помечать статьи каким-нибудь провинциальным городом в журналистике XVIII века было весьма распространенным приемом (так, например, Екатерина II подписывала свои статьи в „Живописце“: „Любомудров, из Ярославля“). По справедливой догадке В. П. Семенникова (см. его книгу „Радищев“, 1923, стр. 454—456), подпись „Торжок“ имеет особое значение: в „Путешествии из Петербурга в Москву“ Радищева есть глава „Торжок“, посвященная вопросу о свободе печатного слова, т. е. именно тому вопросу, который поставлен в первом письме „Санктпетербургского Журнала“. В. П. Семенников пишет: „Помещая эту статью, издатели подчеркивали свою связь с Радищевым, и понять этот намек могли все читатели, которые знали его „Путешествие“. Это — самое осторожное предположение; но есть некоторая вероятность и для того мнения, что эта статья написана самим А. Н. Радищевым“. Мы придерживаемся первого, более осторожного, предположения В. П. Семенникова и полагаем, что „Письма из Торжка“ вышли из редакции „Санктпетербургского Журнала“ и что приписывать их перу Радищева нет достаточных оснований. Аргументация В. П. Семенникова в пользу второго его предположения следующая: 1) содержание первого письма „находится в весьма близком соответствии с тем, что сказано в главе „Путешествия“—„Торжок“ (есть даже близость в отдельных мотивах,— напри-

мер, указание на Голландию и Англию, где печатание не стесняется)" 2) содержание трех остальных писем (посвященных разбору порнографических книжек Глеба Громова) соответствует мыслям Радищева о „сочинениях любострастных... вредных для юношей и незрелых чувств"; 3) в 1798 г. Радищев жил в Саратовской губернии, где получил возможность освободиться от надзора за своей перепиской и ознакомиться с литературными новинками, и 4) автор писем — „человек, знакомый с европейской литературой: так, даже в рецензиях на книжки Громова приводятся французские цитаты — из Руссо; язык автора — меткий, выразительный, и отдельные выражения напоминают Радищева". С этой аргументацией не во всем можно согласиться: 1) Пнин, конечно, был знаком с „Путешествием" Радищева и мог усвоить его точку зрения на цензуру (и заимствовать из главы „Торжок" данные о свободе книгопечатания в Голландии и Англии); 2) содержание II, III и IV писем далеко не во всем соответствует мыслям Радищева о „любострастных сочинениях", ибо Радищев писал, что хотя „таковые сочинения могут быть вредны, но не они разврату корень" и что действие цензуры *не должно* распространяться даже на эти „произведения развратного разума", поскольку „цензура печатаемого принадлежит обществу"; 3) вряд ли в Саратовской губернии, в деревне, Радищев имел возможность познакомиться с литературными новинками; 4) Пнин так же, как и Радищев, был знаком с европейской литературой; что же касается до языковой специфики „Писем из Торжка", то она скорее напоминает стилистическую манеру Пнина, нежели Радищева, язык которого в значительно большей степени архаичен.— С другой стороны, обращает на себя внимание то обстоятельство, что „Письма из Торжка" печатались в журнале одно за другим, причем II письмо, помеченное 19 октября, было напечатано в октябрьской же книжке, III письмо, помеченное 29 октября, в ноябрьской, IV-ое, помеченное 28 декабря,— в декабрьской же. О том, что Пнин запаздывал с выпуском очередных книжек своего журнала, сведений не имеется; между тем, учитывая тогдашние средства сообщения и крайнюю медленность почты, трудно предположить, чтобы Радищев, живший в саратовской глуши, успевал столь быстро пересылать Пнину свои рецензии (во втором письме от 19 октября читаем: „Увидя, что замечания на *Верное лекарство*... в сентябре месяце уже напечатаны... препровождаю при сем еще некоторые на книжку нижеозначенную мнения мои, кои прошу также поместить в журнал ваш",— это письмо было напечатано в том же октябре месяце). Вернее будет предположить, что „Письма из Торжка" писались в Петербурге и, скорее всего, в самой редакции „Санктпетербургского Журнала".

В первом „Письме из Торжка" речь идет о сочинении известного немецкого мистика Эккартсгаузена „Верное лекарство от предубеждения умов. Для тех, до кого сие пренадлежит", изданном в Спб., в 1798 г., в переводе Михаила Антоновского (перевод посвящен Павлу I, чье „примерное благочестие есть твердынею государств"). Сочинение Эккартсгаузена—подлинный кодекс обскурантизма: автор вооружается против книгопечатания и советует сжечь все „тетрадки, рукописи и книги" без всякого изъятия, полагая, что только „единое учение христово есть великий закон порядка" (стр. 156). „В столетие наше,— пишет автор,— два чудовища изменили человечество. Чудовища сии суть: неверие и суеверие. Первое родилось от ложного просвещения, а другое вскормлено грубою глупостью" (стр. 141); все зло — в „сумбуре творений нашего столетия" (стр. 36), в „мудрецах, проповедующих неограниченную вольность и равенство между людьми" (стр. 161). Автор полагает, что книгопечатание разрушает спасительную христову веру: „При колебании богочтения и веры науки превращаются во зло, ибо тогда разум человеческий совращается с истинного пути. Ничто больше не вводит в заблуждение разума, как худые книги, ибо принятые однажды, без дальнего исследования, ложные понятия учиняются в споре решениями, и тако люди преходят от предубеждения к другому и от заблуждения к новому заблуждению... Злоупотребление книгопечатания умножило глупости людские, истребленные восстановило и увековечило многие постыдные дела. Оное предало до нынешних времен

их беспорядки, их дурачества, их ссоры и разврат их духа и сердца" (стр. 6—7) и т. д.

В остальных письмах речь идет о книжках некоего Глеба Громова (см. о нем в указателе имен): „Любовь, книжка золотая" (посвящена генерал-адъютанту Г. Г. Кушелеву), „Любовники и супруги, или мужчины и женщины (некоторые). И то, и сио. Читай, смекай, и может быть слюбится" и „Нежные объятия в браке и потехи с любовницами (продажными), изображены и сравнены Правдолюбом",— все три издания 1798 г. (первая помечена инициалами: Гл. Гр., вторая: Г. Г., третья — анонимна). Книжки эти совершенно ничтожны в литературном отношении, на три четверти составлены из чужих произведений (без указания, впрочем, источников), но пользовались в свое время широкой популярностью в силу некоторых особых свойств: это типичные образцы второстепенной „куртуазной" литературы XVIII века, одновременно и „чувствительные" и скабрезные (последняя же книжка — „Нежные объятия в браке и потехи с любовницами" — вовсе порнографична).

„Любовь, книжка золотая" открывается следующим предисловием (*„Послание к читателю"*), вызвавшим резкую отповедь со стороны рецензента „Санктпетербургского Журнала": „Перевернув два листка, увидишь начертание главных предметов, содержащихся в сей книжке; а прочитав, узнаешь, что и оные относятся единственно до любовников и супругов.— Творение сие вообще такого рода, какового еще на нашем языке поныне не было. Так отозвались и притом назвали *золотою книжкою* в одно слово, как бы согласясь, двои знатоки словесности, читавшие оную в рукописи до издания.— Книжка сия почти вся, а паче первые листки ее, состоят из притчей (иносказательного содержания). Дабы уразуметь прямой смысл, который, впрочем, весьма забавен и любопытен, необходимо нужно читать ее нескорохватом, не борзясь, как обыкновенно читаются романцы, или как некоторые мелют дьячки, что ни сами себя, ни слушатели их не понимают. Итак, читай и внимай.— Впрочем, любо — читай, а не любо—не читай. Ты и сам, читатель, я думаю, той веры, что на всех угодить и критики избежать мудрено. Человек есть такое животное, которое любит над другими смеяться и само подвержено равно насмешкам. Да и то правда, что гораздо легче судить и ценить, нежели что-либо сделать.— Вот все, читатель, что почел за нужное сказать тебе предварительно доброхот твой издатель".

Вторая книжка Громова *„Любовники и супруги, или мужчины и женщины"*, разобранная в III письме, составлена из стихов и прозы. Первые восемь строк „Забавного баснословия древних греков и римлян", в которых рецензент усмотрел „дерзкие выражения",—следующие: „Венера, мать и царица любви, нежностей и приятностей, владычица сердец и богиня всех роскошей. Одни из стихотворцев производят рождение ее от морской пены, купно и от крови, истекшия из детородного Келова уда, который сатурном был отрезан и в море брошен..." — *„Разговор Купидона с дурачеством"*, не заслуживающий, по мнению рецензента, „никакого внимания", написан стихами, действительно очень скверными. — *„Песня некоего мореходца*, выражающего любовь свою теми словами и мыслями, какими воображение его по привычке к мореплаванью наполнено", составляющая, по мнению рецензента, „все украшение сей книги", принадлежит А. С. Шишкову (одно из самых ранних его произведений); авторство Шишкова Громовым не указано. Приведем для примера две строфы этого стихотворения (впервые появившегося в „Зрителе" 1792 г., ч. II, стр. 226—230 и перепечатанного в „Друге просвещения" 1805 г., ч. I, стр. 164—171 и в „Собрании сочинений и переводов адмирала Шишкова", ч. XIV, стр. 138—142):

Исчез тогда *штиль* чувств моих,
Престрашна буря в них восстала;
Ты ж из очей своих драгих
Брандскугели в меня метала;

Тогда в смятении моем,
Зря грозну прелесть пред собою,
Не мог я управлять *рулем*
И *флаг спустил* перед тобою.
. . . .
Тогда я мню тебя догнать,
Надеждою себя ласкаю,
Спешу и *марсели* отдать,
И *брамсели* я распускаю;
Когда же парусов нельзя
При шторме много несть жестоком,
Любовью *трюм* мой нагрузя,
Иду, лечу к тебе под *фоком.*

Цитируемое рецензентом стихотворение: „*Песнь. Наказанный Нарциз, или новое превращение*" в книге Громова подписано инициалами: П. И.

[52] *О стихах девицы М.* (заглавие дано редактором). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г., ч. I, февраль, стр. 132, в качестве редакционного примечания (подписано: И[здатель]) к стихотворению „Плач над гробом друга моего", принадлежащему, быть может, перу одной из сестер Магницких — Александры Леонтьевны (1784—1846) или Настасьи Леонтьевны — сотрудниц журнала „Приятное и полезное препровождение времени" (1790). Стихотворение девицы М., заслужившее столь лестную оценку Пнина, — типичный образчик сентиментально-любовной лирики 1790-х гг.: приведем для примера одну строфу:

Почто отчаяньем, тоскою
Сраженна, я еще дышу,
Но верную любовь с собою
На гроб я друга приношу?
О, друг! достойный друг почтенья!
Почто тебя на свете нет?
Почто не зришь того мученья,
На части сердце кое рвет?...

В „Санктпетербургском Журнале" было напечатано также и другое стихотворение девицы М.: „К моей лире" (ч. I, март, стр. 256 — 258).

[53] *О письме неизвестной особы* (заглавие дано редактором). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г., ч. I, март, стр. 311—112, в качестве редакционного примечания к статье „К издателю С.-Петербургского Журнала". В статье этой неизвестный автор, упоминая о сделанном Пниным „вызове чрез ведомости С.-Петербургские желающих соучаствовать в его трудах", ставит несколько вопросов, решения которых ему хотелось бы видеть на страницах журнала. Вопросы эти разделяются на „физические или естественные" (землеописание России, геология, климатические условия и пр.), „исторические и политические" (о занятиях, одеяниях, орудиях и образе правления „первоначального российского народа"), „философические, или любомудрственные" (о богослужении, понятиях, нравах, обычаях и законах „первоначального российского народа"), „вопросы касательно словесности и свободных наук" (язык, ремесла, художества, науки, изобретения и пр. у древних славян). Автор „желает [журналу] от искреннего сердца существования и продолжения, по крайней мере, столько времени, сколько продолжался известный свету *Вестник Франции* (Mercure de France)", „желает сердечно видеть журнал С.-Петербургской, или Дневник Града Св. Петра, исполненным не какими-либо обыкновенными, но такими творениями, которые соответствовали бы имени Дневника, сиречь более касались России,

составляя для читателей россиян удовольствие и пользу". — Несмотря на приглашение Пнина, „неизвестная особа" не прислала в „Санктпетербургский Журнал" решения ни на один из предложенных им вопросов.

[54] *О предрассудках* (заглавие дано редактором). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г., ч. II, апрель, стр. 22—23, в качестве редакционного примечания к рассуждению: „Разум часто заставляет почитать предрассудки, им осуждаемые" (ч. II, апрель, стр. 22—62, и май, стр. 171—207; перевод Н. Анненского, — источник перевода нами не обнаружен). Из редакционного примечания явствует, что рассуждению этому придавалось программное значение. По существу в „Рассуждении о предрассудках" поставлен вопрос об оправдании действительности, даже с „предрассудками", даже с „заблуждениями": „Есть заблуждения, которые политика приемлет за главные начала, служащие подпорою и славою империй, другие, которые воспитание внедряют в сердца; они не суть добродетели, но дают твердость добродетелям". По справедливому замечанию И. М. Троцкого (см. „Воспоминания Бестужевых", 1931, стр. 13—14) „Рассуждение о предрассудках" свидетельствует о крайней ограниченности практических выводов русских вольнодумцев, при сравнительной широте и принципиальности их теоретических представлений о задачах и целях социально-политического переустройства мира; — признавая полезность и необходимость первоначальных реформ (в первую очередь „просвещения"), русские ученики Гольбаха и Гельвеция возражали против революционных преобразований общества, полагая, что „нельзя выводить из состояния равновесия народ, еще не приуготовленный к приятию истины".

[55] *О вреде войны* (заглавие дано редактором). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г., ч. II, июнь, стр. 235—236, в качестве редакционного примечания к статье „Мнения Шарроновы", именно к следующему „мнению": „Очень часто случается, что нельзя исполнять одной добродетели, не оскорбляя другой: это значит взять с одного олтаря покрывало и покрыть им другой. Таким образом, любовь к ближнему и справедливость могут между собою быть противны. Ежели сойдусь я на войне с родственником моим и другом и он будет противной стороны, то, следуя справедливости, должен я его убить, но, по любви, сберечь".

[56] *О Фонвизине* (заглавие дано редактором). Напечатано в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г., ч. III, июль, стр. 63 — 66, в качестве предисловия (под заглавием „От издателя") к сочинению Фонвизина „Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях". Предисловие это безоговорочно приписано Пнину П. А. Ефремовым (см. „Сочинения, письма и избранные переводы Д. И. Фон-Визина", 1866, стр. 689). Возможно, что Пнин был и лично знаком с Фонвизиным; намек на это содержится в письме Евгения Болховитинова к Д. И. Хвостову (от 22 августа 1805 г.): „От Гаврилы Романовича [Державина] узнал я также, между прочим мою ошибку в означении смерти Дениса Ивановича Фон-Визина. *Я поверил Пнину, обманувшему меня... Вот сколь трудно писать биографии, когда и уверяющие нас (как, например, Пнин) могут по памяти ошибиться*" („Сборник отделения русского языка и словесности Академии Наук", т. V, вып. 1, 1868, стр. 70). По данным, сообщенным А. А. Бестужевым-Марлинским, отца его — А. Ф. Бестужева — „вызывали на дуэль за Исповедь Фон-Визина" (см. выше, стр. 255). Никаких подтверждений этой версии не имеется, но о том, что опубликование „Исповеди" было сопряжено с какими-то затруднениями, свидетельствуют также последние строки редакционного предисловия: „В последствие же издания нашего, *если не случится никаких препятствий*, постараемся сообщить читателям нашим некоторые письма его [Фонвизина] о Париже к одной особе, им во время пребывания его в сем городе писанные" (в следующих — сентябрьской и октябрьской — книжках журнала были действительно напечатаны два письма Фонвизина к гр. Н. И. Панину, без указания имени адресата).

Переводы из сочинений П. Гольбаха, напечатанные в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г.

57 *О природе.* Напечатано в ч. I, февраль, стр. 197—206, с подписью: „Перевел с иностранного языка Петр Яновский“. Перевод первой главы „Системы природы“, с купюрами.

58 *О движении и начале оного.* Напечатано в ч. I, март., стр. 293—310. Перевод второй главы „Системы природы“, с купюрами и добавлением „заключительных слов“ („Вот куда должно устремить свои мысли“ и т. д.), повидимому, вставленных по цензурным соображениям или приписанных цензором.

59 *Невоздержание.* Напечатано в ч. II, июнь, стр. 222—223. Перевод последних абзацов (с добавлениями переводчика или издателя) десятой главы третьего раздела „Всеобщей морали“.

60 *Глас неба.* Напечатано в ч. III, июль, стр. 28—40. Перевод заключительной главы „Системы природы“ (написанной Дидро), с купюрами.

61 *О праздности.* Напечатано в ч. III, июль, стр. 54—57. Вольный и сокращенный перевод восьмой главы третьего раздела „Всеобщей морали“.

62 *О нравоучении, должностях и обязанностях нравственных.* Напечатано в ч. III, июль, стр. 58—63. Полный и точный перевод первой главы „Всеобщей морали“.

63 *О человечестве.* Напечатано в ч. III, август, стр. 32—34. Перевод в извлечениях и с дополнениями седьмой главы второго раздела „Всеобщей морали“.

64 *Благодеяние.* Напечатано в ч. III, август, стр. 54—60. Вольная композиция на тему девятой главы второго раздела „Всеобщей морали“, с буквальным переводом некоторых отдельных фраз Гольбаха.

65 *О человеке и его природе.* Напечатано в ч. IV, октябрь, стр. 79—82. Полный и точный перевод второй главы „Всеобщей морали“.

66 *О удовольствии и печали; о благополучии.* Напечатано в ч. IV, ноябрь, стр. 202—214. Полный перевод четвертой главы „Всеобщей морали“.

67 *О совести.* Напечатано в ч. IV, декабрь, стр. 273—283. Перевод тринадцатой главы первого раздела „Всеобщей морали“, с купюрами.

Переводы эти впервые подробно рассмотрены, сравнены с подлинником и прокомментированы в статье И. К. Луппола „Русский гольбахианец конца XVIII века“ („Под знаменем марксизма“ 1925 г., № 3, см. стр. 77—90; см. также вступительную статью к настоящему изданию).

Оригинал перевода в журнале скрыт: имя Гольбаха ни разу не упоминается, — несомненно, из цензурных соображений (как имя материалиста и безбожника, достаточно известное в правительственных кругах). За исключением первой статьи „О природе“, ни одна не помечена даже припиской „перевод с иностранного языка“. Имя переводчика Петра Яновского (см. о нем в „Русском биографическом словаре“, т. „Я“, 1913) также встречается только под первой статьей, но, повидимому, ему же принадлежат и все остальные переводы из Гольбаха.

Статьи: „О праздности“, „О человечестве“, „Благодеяние“ и „О удовольствии, печали и благополучии“ вошли в расширенной редакции во второе издание книги А. Ф. Бестужева „Правила военного воспитания относительно благородного юношества“ (1807 г.), в состав „Примечаний“ (см. также стр. 298 наст. издания).

Укажем, что в журнале И. И. Мартынова „Северный Вестник“ (1804—1805 гг.) где сотрудничали Пнин и его литературные друзья, также печатались переводы сочинений Гольбаха, именно „Système Social“ (в переводе В. С. Сопикова) и „La politigue naturelle“.

68 *Стихотворения на смерть Пнина.* 1. Напечатано впервые в „Северном Вестнике“ 1805 г., ч. VII, сентябрь, стр. 345—346, с подписью: *Бат.*— Эпи-

граф взят из стихотворения Вольтера: „La mort de m-lle Lecouvreur, celèbre actrice“.

2. Напечатано впервые в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч. III, № 10, стр. 96—97. Ср. примечание Н. Остолопова к стихотворению Пнина „Сравнение старых людей с молодыми“, помещенному в „Любителе словесности“ 1806 г.,— см. стр. 283 наст. изд.

3. Напечатано в „Северном Вестнике“ 1805 г., ч. VII, сентябрь,, стр., 343—345.

4. Напечатано там же, стр. 341—343.

5. Напечатано в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч, III, № 10, стр. 98—101.

6. Напечатано в „Журнале для пользы и удовольствия“ 1805 г., ч. IV, № 10, стр. 31—32, без подписи.

7. Напечатано в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч, III, № 10, стр. 95 (подписано: „—“).

[70] *О Пнине и его сочинениях.* Напечатано в „Журнале российской словесности“ 1805 г., ч. III, № 10, стр. 57—66, без подписи.

На стр. 234 Брусилов пишет: „Просвещенные иностранцы, хотя в слабом переводе, умели чувствовать цену и восхищаться красотами его творений“,— несмотря на предпринятые нами розыски, не удалось установить, где и когда были напечатаны переводы сочинений Пнина на иностранные языки.

На стр. 235 Брусилов дважды цитирует неизвестные нам стихотворения, якобы принадлежащие Пнину. Однако цитируемый им стих: „Но смерть последняя беда“ находим в оде А. Сумарокова „К М. М. Хераскову „Свободные часы“ 1763, стр, 172; также в „Собрании сочинений“ Сумарокова, ч. I, стр. 222, под заглавием: „Ода на суету мира“):

От смерти убежать не можно,
Умрети смертным неотложно,
И свет покинуть навсегда.
На свете жизни нет миляе,
И нет на свете смерти зляе,
Но смерть последняя беда.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Август Кай-Юлий-Цезарь-Октавиан (63 до н. э.— 14 н. э.) — римский император—**115, 173**.

Аккурс, вернее: *Аккурзий* (по-итал. Аккорзо), Франциск (ок. 1180 — ок. 1260) — итальянский законовед, автор сборника „Glossa ordinaria", бывшего настольной книгой в средневековых судах —**173**.

Александр I (1777—1825)— русский император —**81, 82, 105, 131, 133, 142, 154, 161**.

Анахарзис — легендарный молодой скиф, посетивший Грецию во времена Солона, прославившийся своим умом и любознательностью; герой романа аббата Жана-Жака Бартелеми „Voyage de jeune Anacharsis en Grèce" (1738), весьма популярного в России в конце XVIII — начале XIX вв.; Пнин напечатал в „Санктпетербургском Журнале" перевод одной главы из романа Бартелеми: „Карита и Полидор" (ч. II, стр. 162—169; в 1763 г. этот роман перевел Д. И. Фонвизин) —**207**.

Антонин, более известный под именем Марка-Аврелия (121—180) — римский император; философ и писатель, защищавший в своих сочинениях идею космополитизма—**215**.

Антоновский, Михаил Иванович (1759—1816) — писатель, журналист и переводчик; служил секретарем Адмиралтейств-коллегии и библиотекарем Публичной библиотеки; видный масон, сотрудник Шварца и Новикова, член Общества словесных наук; издатель журнала „Вечерняя Заря" 1782 г. (служившего продолжением новиковского „Утреннего Света") и один из издателей журнала „Беседующий Гражданин" 1789 г.—**178, 183**.

Бальд, вернее: *Бальди*, Бернардино (1553—1617) — итальянский поэт, философ, филолог и математик, автор дидактической поэмы „La nautica" (1585) и сборников „Il diluvio universale" и „Sonetti Romani"—**174**.

Бальд, вернее: *Бальди*, Камилл (1547—1634) — брат предыдущего, итальянский писатель и философ —**174**.

Бартол, вернее: *Бартоли*, Даниелло (1608—1685) — знаменитый итальянский писатель, историк иезуитского ордена, а также физик и филолог; впрочем, может быть, Пнин имеет в виду *Бартоло* — знаменитого итальянского юриста средневековья (1314—1357), создавшего в науке права школу бартолистов —**174**.

Батюшков, Константин Николаевич (1787—1855) — русский поэт —**226**.

Беарде-де-л'Абей — доктор прав Аахенского университета, писал по юридическим и политико-экономическим вопросам, примыкал к группе физиократов.—**140**.

Беккария, Чезаре (1738—1794) — итальянский юрист XVIII в., один из виднейших представителей т. н. „Миланской школы", возглавлявший (вместе с братьями Верри) кружок „Il Caffé" и журнал того же наименования, издававшийся в 1764—1766 гг.; был тесно связан с энциклопедистами и по их инициативе написал (1764) трактат „Dei delitti e delle pene" („О преступле-

ниях и наказаниях“); в трактате этом Беккария выступал решительным противником жестоких наказаний и, в частности, впервые поднял вопрос об отмене смертной казни. Идеи Беккарии оказали мощное влияние на русских „вольнодумцев“ XVIII в., в частности на Радищева и близкую ему группу членов Вольного общества любителей словесности, наук и художеств,— член этого общества Д. И. Языков в 1803 г. издал первый полный перевод трактата „О преступлениях и наказаниях“ (раньше некоторые главы трактата были напечатаны, без указания источника, в „Наказе“ Екатерины II). Пнин, несомненно, был знаком с трактатом Беккарии по французскому переводу Морелле (первое издание 1766 г.)—**128, 172**.

Бернард — повидимому, Пнин имеет в виду известного французского писателя *Бернардена де-Сен-Пьера* (1737—1814) — одного из создателей „сентиментального“ стиля, автора романа „Поль и Виргиния“ (1787), переведенного на русский язык в 1801 г.—**85**.

Бестужев, Александр Федосеевич (1761—1810) — офицер, служил в Артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском корпусе, правителем канцелярии президента Академии художеств гр. А. С. Строганова, управляющим бронзово-литейной мастерской Академии художеств и Екатеринбургской гранильной фабрикой; отец декабристов братьев Бестужевых. Литературная деятельность А. Ф. Бестужева выразилась главным образом в издании (совместно с Пниным) „Санктпетербургского Журнала“, где был впервые напечатан его трактат „О воспитании“ и ряд переводных статей. В 1803 г. трактат этот был издан отдельно под заглавием: „Опыт военного воспитания относительно благородного юношества, начертанный по расположению знаменитого итальянского законоискусника Филанжери, писавшего о науке законодательства. Дополненный краткими примечаниями, к предмету воспитания касающимися, А. Б . . . вым“. В 1807 г. трактат был переиздан в значительно расширенной редакции под заглавием: „Правила военного воспитания относительно благородного юношества и наставления для офицеров, военной службе себя посвятивших. Дополненные нужными примерами А. Бес . . . вым“. В предисловии ко 2-му изданию Бестужев указывает, что „примечания принадлежат отчасти ему, а отчасти взяты из разных авторов“; между прочим сюда вошли и некоторые переводные статьи из „Санктпетербургского Журнала“ 1798 г., а именно переводы четырех глав „Всеобщей морали“ Гольбаха (см. выше стр. 295) и следующие неподписанные статейки: „О карточной игре“ (ч. I, стр. 219—221), „Судия“ (ч. II, июль, стр. 1—4) „Богатство“ (ч. III, август, стр. 260—262), „Скупой“ (ч. III, сентябрь, стр. 88—91) и „Разум“ (ч. IV, стр. 125—127). Кроме того, Бестужеву принадлежит, повидимому, в Санктпетербургском Журнале“ статья „Примечание на кн. XIV, гл. II сочинения Монтеския о разуме законов“ (ч. I, стр. 84—112) и переводы: „Бюффон“ (ч. III, июль, стр. 45—54), „Лампады“ (ч. III, сентябрь. стр. 32—35) и „Гаетано Филанжери“ (ч. IV, стр. 156—166). В. С. Сопиков приписал Бестужеву также анонимно изданную хрестоматию: „Учение, нравственность и правила честного человека, содержащие в себе собрание рассуждений и разные наставления, взятые из древних и нынешних писателей, служащие к распространению как духовных, так и гражданских добродетелей, для каждого возраста людей и состояния“ (1807)—**155, 230**.

Бойард, вернее: *Боярдо,* Маттео-Мария, граф Скандиано (1434—1494) — итальянский государственный деятель, автор стихотворений на латинском и итальянском языках, переводчик сочинений Геродота, Ксенофонта, Апулея; прославился поэмой „Orlando Innamorato“ (дважды изданной в русском переводе Я. Булгакова: „Влюбленный Роланд“, 1777 и 1799 гг.) и сборниками любовных канцон и сонетов. Поэму Боярдо продолжил Ариосто („Orlando Furioso“)—**173**.

Боккас, то есть *Боккачьо,* Джовани (1313—1375) — знаменитый итальянский писатель, автор „Декамерона“—**173, 174**.

Болтин, Иван Никитич (1745—1792) — русский историк, автор „Примечаний на историю древния и нынешния России г. Леклерка“ (1788), „Ответа

на письмо кн. Щербатова“ (1789), „Критических примечаний на историю кн. Щербатова“ (1793—1794) и других сочинений. В своих трудах Болтин опирался в значительной степени на положения и выводы французских „просветителей“ (широко цитировал Руссо, Монтескье, Рейналя, Вольтера и др.) и по вопросу о крепостном праве держался передовых для своего времени взглядов, предостерегая русское общество и правительство от безземельного освобождения крестьян —**134**.

Бонапарт, Наполеон I (1769—1821) — французский император и полководец —**124**.

Брунелезий, то есть *Брунеллески*, Филиппо (1377—1446) — знаменитый итальянский зодчий, строитель купола флорентинского собора —**173**.

Брусилов, Николай Петрович (1782—1849) — писатель (автор прозаических и драматических произведений), переводчик и критик, издатель „Журнала российской словесности“ 1805 г., член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**226**, **236**.

Брут, Марк-Юний (79—42 до н. э.) — римский политический деятель-республиканец, имя его в мировой литературе служило символом „гражданской добродетели“—**182**.

Брюн, то есть *Бруни*, Леонардо (1370—1444), по прозванию „L'Aretino“— итальянский историк-гуманист, переводчик сочинений древних авторов, канцлер флорентинской республики —**174**.

Валерий Максим — герцог Медиоланский —**172**.

Валл, Лорант, то есть *Валла*, Лоренцо (1405—1457)—крупнейший деятель итальянского гуманизма, историк, филолог и комментатор древних авторов, основатель метода классической филологии, автор трактатов: „Об истинном благе“ и „О даре Константина“, направленных против папской власти и сильно способствовавших ее дискредитации —**174**.

Варенцов, Алексей Николаевич (1751—1806) — поэт и переводчик, издатель „Журнала для пользы и удовольствия“ 1805 г., сотрудничал в журнале „Любитель словесности“ 1806 г.—**232**.

Велизарий (490—565) — полководец византийского императора Юстиниана Великого, победитель готов и персов, подвергшийся опале и, по преданию, ослепленный Юстинианом —**234**.

Верри, Александр, граф (1741—1816) — итальянский поэт и ученый юрист, сотрудник журнала „Il Caffé“, автор „Notti romane“ (1780)—сборника стихотворных диалогов великих римлян, ряда трагедий, романов и „Культурной истории Италии“—**172**.

Верри, Габриэль, граф (1696—1782) — итальянский государственный деятель, ученый юрист, отец предыдущего —**172**.

Верри, Пьетро, граф (1728—1797) — старший брат Александра Верри, писал по вопросам административным, финансовым, политико-экономическим и философским, автор трактата „Meditazioni sul'economia politica“ (1771), отрывки из которого в переводе И. И. Мартынова печатались в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г. (полный перевод Померанцева был издан в СПБ в 1810 г.: „Политическая экономия, или о государственном хозяйстве, творение графа де-Верри“). Экономические воззрения Верри выражали интересы молодой промышленной буржуазии. Совместно со своим другом и единомышленником Беккарией и братом Александром, Пьетро Верри стоял во главе миланского кружка „Il Caffé“ и был тесно связан с крупнейшими французскими писателями и мыслителями конца XVIII в., особенно же с кружком энциклопедистов —**172**.

Вилланий, то есть *Виллани*. Повидимому, Пнин имеет в виду Джовани Виллани (ум. в 1348 г.)— флорентинского историка XIV в., автора многотомной истории мира с древнейших времен, продолженной после смерти Дж. Виллани его братом Маттео и племянником Филиппо —**174**.

Вирей (Virey), Жюль-Жозеф — известный французский медик, физиолог и естествоиспытатель, автор целого ряда специальных работ, из которых наибольшей известностью пользуется „Histoire naturelle du genre humain“

(русский перевод С. Юферова—„О человеке“, М. 1828; много отрывков из сочинений Вирея печаталось в русских журналах, главным образом в „Новом магазине физики, химии и сведений технических“, изд. проф. И. А. Двигубским). Книга Вирея о воспитании, на которую ссылается Пнин в „Опыте о просвещении“—„Education publigue et privée des Francais“ (Paris, an XI [1802])—**142**.

Вольтер, Франсуа-Аруэ (1694—1778)—французский писатель и философ, чьи сатирические произведения, критика церкви и проповедь свободы совести сыграли крупную роль в идеологической подготовке Великой революции —**225**.

Востоков, Александр Христофорович (1781—1864)—крупный русский поэт и ученый-филолог, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**235**.

Глинка, Сергей Николаевич (1775—1847)— писатель, переводчик и журналист, автор многочисленных „патриотических“ сочинений в стихах и прозе и „Русской истории“, не имеющей никакого научного значения; издатель журнала „Русский Вестник“ (1808—1824)—**229**.

Гольбах, Поль, барон (1723—1789)—философ-материалист, атеист, автор знаменитого трактата „Система природы“, являющегося изложением материалистической философии —**78**.

Громов, Глеб Иванович—писатель 1790-х гг., автор полупорнографических сочинений: „Любовь, книжка золотая“ (1798), „Любовники и супруги, или мужчины и женщины“ (1798), „Нежные объятия в браке и потехи с любовницами“ (1798), „Позорище странных и смешных обрядов при бракосочетаниях, и при том нечто для холостых и женатых“ (1798)—**183**, **190**.

Гуид' Арецо, то есть *Гвиттоне из Ареццо* (ок. 1230—1294)—итальянский, поэт-трубадур, автор любовных канцон; в последние годы жизни вступил в монашеский орден и писал исключительно на моральные и религиозные темы. **173**.

Данте, Алигьери (1265—1321)—один из первых итальянских поэтов, автор поэмы „Божественная комедия“—**173**.

Декарт, Рене-Картезий (1596—1605)—знаменитый французский философ, один из основателей новой философии —**206**.

Де-ла-Кроа (Delacroix), Жан-Винцент (1743—1832)—французский юрист и публицист, автор „Réflexions philosophiques sur l'origine de la civilisation“ (1781—1783) и „Tableau des constitutions des principaux Etats de l'Europe et des Etats-Unis d' Amérigue“ (1790—1792), переводившегося на русский язык в 1800-х гг. членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств Н. И. Федоровым—**126**, **127**.

Демокрит (ок. 470—ок. 380 до н. э.)—древнегреческий философ-материалист —**207**.

Джиотто, вернее: *Джотто ди-Бондоне* (1276—1336)—итальянский художник эпохи Возрождения —**173**.

Домитиан (51—96)—последний римский император из дома Флавиев, жестокий тиран, пал жертвой заговора —**122**.

Дюклос, то есть *Дюкло*, Шарль-Пино (1704—1772)—французский историк, моралист и романист, враждовавший с энциклопедистами; пользовался покровительством Людовика XV и m-me Помпадур; его „Considérations sur les moeurs de siècle“ (1749) в 1813 г. были переведены на русский язык („Рассуждение о нравах сего времени“)—**216**.

Дюпати (1775—1851)—французский писатель, автор чувствительных „путешествий“, оказавший, наряду со Стерном, влияние на русских „сентименталистов“. Его „Lettres sur l'Italie en 1785“ вышли в русском переводе в 1801 г.—**85**.

Екатерина II (1729—1796)—русская императрица—**103**, **105**, **108**, **113**, **115**, **116**, **117**, **131**, **132**, **133**, **177**.

Елизавета Алексеевна (1779—1826)— русская императрица, жена Александра I —**82**.

Забарелла, Франческо (1339—1417)—крупнейший деятель римско-католической церкви, юрист и духовный писатель; требовал реформы церкви и был одним из главных инициаторов созыва Констанцского собора —**174**.

Измайлов, Александр Ефимович (1779—1831)—поэт, романист, журналист, издатель журналов: „Цветник" 1810 г. (совместно с П. А. Никольским) и „Благонамеренный" (1818—1826), член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**231, 235**.

Имол, Жан — повидимому, Пнин имеет в виду итальянского живописца *Франкуччи*, прозванного *Инноченца-да-Имола* (1494—1550) —**174**.

Калдерин, то есть *Кальдерон де-ла-Барка* (1600—1681)— известный испанский драматург —**174**.

Калигула, Гай-Цезарь (12—41)— римский император, прославившийся своей жестокостью, развратом и самодурством —**122**.

Каменецкий, Осип Кириллович (1754—1823) — знаменитый русский врач 1790-х гг., практик и теоретик терапии, автор „Краткого наставления о лечении болезней простыми средствами" (1-е издание в 1803 г.)—**73, 74, 75**.

Катон, Марк-Порций — Утический, или Младший (95—63 до н. э.)— римский трибун, противник Помпея и Цезаря, образец гражданской доблести и чести —**182, 213**.

Кир — персидский царь и полководец, взявший Вавилон в 538 г. до н. э.— **182**.

Колычев, Евгений Алексеевич — поэт. Год его рождения неизвестен, умер он, повидимому, в начале 1800-х гг. Биографических данных о Колычеве в литературе почти не появлялось, известно только, что в 1796 г. он проживал в Вологде (см. список особ, подписавшихся в июле — сентябре 1796 г. на журнал И. И. Мартынова „Муза", в III ч. этого издания.

Стихотворческая деятельность Колычева пользовалась, по свидетельству С. П. Жихарева, некоторым успехом у современников, в частности популярным было его стихотворение „Мотылек", опубликованное в „Санктпетербургском Журнале" Пнина (см. „Записки Жихарева", 1890, по указ.). К. Н. Батюшков, набрасывая план очерка истории русской литературы, в числе писателей, незаслуженно обойденных вниманием критики, наряду с Радищевым, Пниным и Беницким упоминает и Колычева (см. Сочинения Батюшкова, т. II, 1885, стр. 338). Стихотворения Колычева появлялись: в „Санктпетербургском Журнале" 1798 г. (здесь напечатано пять пьес, подписанных именем Колычева; возможно, что ему также принадлежат стихотворения за подписью: — *въ*), в „Приятном и полезном препровождении времени" 1795 г. (см. ч. V), в „Музе" 1796 г. (см. чч. I—III, стихи за подписью: *К—въ*). Евгения Колычева не следует смешивать с другим стихотворцем, выступавшим в печати в то же время — Василием Петровичем Колычевым (1736 — 1794), автором многочисленных стихотворений и пьес, частично собранных в двух книгах: „Труды уединения В. К." (1781) и „Театр В. К." (1781)—**100**.

Конфуций (латинская переделка имени Кун-фу-цзы, род. в 551, ум. в 479 г. до н. э)—китайский мудрец и основатель религиозной системы, господствовавшей в образованных слоях китайского народа —**117, 165, 167, 168**.

Коперник, Николай (1473 — 1543)—основатель современной астрономии, доказавший вращение земли и планет вокруг солнца —**58**.

Крез—лидийский царь (560—546 до н. э.), легендарный богач—**60**.

Ксенофонт (ок. 430—354 до н. э.)— древнегреческий историк и философ—**212**.

Кун —см. Конфуций.

Курганов, Николай Гаврилович (ок. 1725—1796) — ученый, педагог и литератор, автор знаменитого в свое время „Письмовника", заключавшего в себе краткую грамматику русского языка и обширный свод различных по-

словиц, поговорок, анекдотов, нравоучительных рассуждений, сведений по мифологии, народных песен, стихотворений различных авторов середины XVIII в. и пр.—**168**.

Курций, Марк — римский юноша, в 362 г. до н. э. бросившийся, по преданию, в бездну, дабы спасти Рим —**64**, **176**, **182**.

Ламберт-де, Иоганн-Генрих (1728—1777) — немецкий философ и ученый —**212**.

Леон (*Лев*) *X* (1475—1521) — римский папа, покровительствовавший наукам, литературе и искусствам —**173**.

Ликург—законодатель древней Спарты —**117**, **122**.

Людовик XIV (1638—1715)—французский король —**215**.

Люлл, то есть *Люллий*, Раймонд (1235—1315)—один из оригинальнейших представителей средневековья, поэт и философ, защитник алхимии и магии („люллиева медицина“); сочинения Люллия были популярны среди русских масонов и мистиков XVIII века —**174**.

Мария Федоровна (1759—1828)—русская императрица, жена Павла I. —**82**, **107**.

Минин-Сухорукий, Кузьма Минич (ум. в 1616 г,)—нижегородский купец, вождь городской торговой буржуазии, боровшийся с крестьянской революцией в эпоху „смуты“—**151**.

Минос—мифический царь Крита; ему приписывали составление знаменитого древнекритского законодательства —**115**.

Мольер, Жан-Батист-Поклен (1622—1673)—знаменитый французский драматург, изобличивший ханжество и лицемерие в комедии „Тартюф“ (1667) —**195**.

Монтань, правильнее: *Монтэнь* (1533 - 1592)— французский философ-скептик, много способствовавший освобождению мысли от богословских уз средневековой схоластики —**222**.

Монтескье, Шарль-Луи (1689 —1775)—виднейший представитель старшего поколения французских „просветителей“, основоположник буржуазного конституционного права, автор трактата „Дух законов“ (1748)—**114**.

Николай V (1397—1455)— римский папа (с 1447 г.), пользовавшийся славой „первого гуманиста на папском престоле“—**174**.

Нума-Помпилий — второй из семи римских царей, с именем которого римские и новогреческие историки связывали первоначальные правовые и религиозные реформы в древнем Риме —**117**.

Остолопов, Николай Федорович (1782—1833) — поэт, переводчик, составитель „Словаря древней и новой поэзии“ (1822), издатель журнала „Любитель словесности“ (1806), член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**227**, **235**.

Панормитан, Николас—имеется в виду, вероятно, итальянский гуманист Антонио *Беккаделли* (1394—1471), по прозванию „*il Panormita*“,—основатель Неаполитанской академии, более известный, впрочем, как автор сборника непристойных эпиграмм —**174**.

Петр I (1672—1725)—русский император —**81**, **105**, **117**, **122**, **177**.

Петрарх, то есть *Петрарка*, Франческо (1304—1374) величайший итальянский поэт —**173**.

Писарев, Александр Алексадрович (1780—1848)—поэт, прозаик, переводчик и историк искусства, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**232**, **235**.

Пифагор (580—500 до н. э.)— греческий философ и математик —**145**.

Плиний Младший (род. в 61 или 62, ум. после 113 г.)—римский прозаик и оратор —**212**.

Плутарх (ок. 46—120)—древнегреческий публицист и историк —**222**.

Подже-Флорентин, то есть *Поджо-Браччолини* (1380—1459)—видный дея-

тель эпохи итальянского Возрождения, историк Флоренции, переводчик Квинтилиана, Валерия Флакка, Плавта, Цицерона и других древних авторов. —**174**.

Поли, Мартын (1662—1714) итальянский химик, работавший с 1702 г. во Франции, при дворе Людовика XIV—**215**.

Полибий (201—120 до н. э.)—греческий историк, друг Сципиона—**216**.

Понтан, Людовик—повидимому, Пнин ошибся в имени и имеет в виду *Джовиано Понтано* (1426—1503)—виднейшего латинского поэта итальянского Возрождения, стоявшего во главе Неаполитанской академии, автора трактатов, направленных против папской власти —**174**.

Попугаев, Василий Васильевич (1779—1816)— поэт, прозаик, переводчик и политический писатель, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств; занимал крайнюю позицию на левом фланге русских радикалов начала XIX в.—**235**.

Прадон, Никола (1632—1698)— французский поэт, автор трагедий, осмеянных Расином и его поклонниками; имя Прадона приобрело нарицательное значение бездарного и честолюбивого поэта —**213**.

Птоломей, Клавдий (II век)— „отец“ древней (докоперниковской) астрономии —**58**.

Пулчин, то есть *Пульчи*, Луиджи (1432—1484) — видный флорентинский поэт XV века, автор пародийной рыцарской эпопеи „Morgante“ —**173**.

Радищев, Александр Николаевич (1749—1802) — русский политический деятель, публицист и писатель, сыгравший огромную роль в развитии русского „вольномыслия“—**62**.

Радищев, Николай Александрович (1777—1829)— сын предыдущего, поэт и переводчик, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**228**, **235**.

Регул (III в. до н. э.)—древнеримский полководец, образец гражданского мужества и твердости духа (был замучен в плену у карфагенян)—**182**.

Роллен, Шарль (1661—1741)— французский историк и педагог, автор „Древней истории“ (1730—1738) и „Римской истории“ (1738—1741)—**182**.

Руссо, Жан-Батист (1671—1741)— французский поэт, известный преимущественно своими непристойными стихотворениями и эпиграммами, охотно переводившимися на русский язык в конце XVIII—начале XIX вв.—**96**.

Руссо, Жан-Жак (1712—1778)— французский мыслитель и писатель, идеи которого были усвоены левыми буржуазными революционерами конца XVIII — начала XIX вв.—**85**, **189**.

Рюрик (ум. в 879 г.)— первый русский единодержавный князь, призванный, по преданию, новгородскими славянами из Скандинавии в 862 г.—**121**.

Сакробоск (вернее: *Сакробоско*)-де, Жан (ум. в 1256 г.)— астроном и математик, изложивщий птоломееву систему сферической астрономии в трактате „De sphaera mundi“—**174**.

Сенека (4 г. до н. э.—65 г. н. э.)—римский философ и драматург, обоснователь идей стоицизма, кончил жизнь самоубийством по приказанию Нерона—**216**.

Сикст — имя пяти римских пап; Пнин, вероятно, имеет в виду папу *Сикста IV* (1414—1484), отличавшегося крайней деспотичностью, корыстолюбием и развратом; в 1478 г. Сикст IV ввел инквизицию в Испании —**71**.

Сократ (469—399 до н. э.)— знаменитый греческий философ—**64**, **80**, **215**.

Солон — легендарный афинский реформатор и законодатель—**115**, **117**, **122**.

Сопиков, Василий Степанович (1765—1818)— известный библиограф, издатель и книгопродавец, составитель „Опыта российской библиографии“ (1815), тесно связанный в своей издательской деятельности с группой радикальных русских писателей конца XVIII—начала XIX вв. (Сопиков и сам переводил сочинения Гольбаха, его переводы напечатаны в „Северном Вестнике“ 1804—1805 гг.)—**69**.

Сцевола, Муций — легендарный римский герой, неудачно покушавшийся

на этрусского царя Порсену и, по преданию, сжегший свою руку в огне жертвенника с тем, чтобы доказать свою неустрашимость —**64**.

Сципион, Публий-Корнелий (ок. 235—ок. 183)—римский полководец, победитель Карфагена —**182**, **216**.

Тит-Флавий-Веспасиан (41—81 н. э.)—римский император, усмиривший восстание Иудеи и взявший в 70 г. Иерусалим; став императором (в 79 г.), старался приобрести популярность мягким управлением,—имя его необоснованно приобрело нарицательное значение кроткого и справедливого государя; в России Титом именовали Александра I—**212**.

Филанджиери, Гаэтано (1752—1788)—знаменитый итальянский юрист, автор трактата „Scienza della legislazione"—„Наука о законодательстве" (1780—1788), оказавший чрезвычайно сильное влияние на группу радикальных русских писателей конца XVIII—начала XIX вв. Идеи Филанджиери популяризировал в своем „Опыте военного воспитания" А. Ф. Бестужев; в 1803 г. „Науку о законодательстве" перевел В. В. Попугаев, а двумя годами позже—*Д. И. Языков* (их переводы не были изданы и не сохранились); читали эту книгу А. Н. Радищев и многие декабристы —**230**.

Фичин, Маркелл, то есть *Фичино*, Марсилио (1433—1499)—один из величайших умов эпохи Возрождения, основоположник неоплатонизма XV в., перевел на латинский язык все сочинения Платона и Плотина со своими комментариями и изложил их учение в своей „Theologia platonica", стоял во главе знаменитой „Платоновской академии" во Флоренции —**174**.

Фонвизин, Денис Иванович (1745—1792)—русский писатель —**195**, **196**.

Фицилид или *Фокилид* — древнегреческий поэт-эпиграмматист, писавший во второй половине VI века до н. э.—**212**, **215**, **216**.

Цицерон (106—43 до н. э.)—римский политический деятель и философ, славившийся своим ораторским дарованием —**212**, **213**.

Чиммабуя, вернее: *Чимабуе*, Джовани (1240—1302)—флорентинский художник, один из виднейших представителей итальянской живописи в эпоху Возрождения —**173**.

Шапталь, Жан-Антуан, граф (1756—1832)—французский политический деятель и ученый (химик), принимал участие в Великой революции (жирондист), после 18 брюмера (1799)—член государственного совета, с 1810 г.— министр внутренних дел при Наполеоне, автор книги „De l'indu strie francaise" (1819)—**121**.

Шаррон, Пьер (1541—1603)—французский писатель и моралист, последователь Монтэня —**194**.

Шуйский, Василий Иванович (1552—1612)—русский царь (1606—1610)—**135**.

Эвилисн — наместник Анжерский —**216**.

Эйлер, Леонгард (1707—1783)—знаменитый математик и физик XVIII в., член русской Академии наук (с 1730 г.)—**121**.

Языков, Дмитрий Иванович (1773—1845)—писатель, переводчик и ученый археограф, член Вольного общества любителей словесности, наук и художеств —**235**.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ О ПНИНЕ

1. Адрес-календарь на 1803 г., стр. 8.

2. То же на 1804 г., стр. 11.

3. „Сактпетербургские Ведомости“ 1804 г., № 15, стр. 393.

4. „Периодическое издание Вольного общества любителей словесности, наук и художеств“, ч. I, 1804, стр. 10 („Краткая история Общества“).

5. „Журнал российской словесности“ 1805 г., ч. II, июль, стр. 168.

6. [*Н. Брусилов*]. О Пнине и его сочинениях. Там же, ч. III, № 10, стр. 57—66.

7. [*А. Писарев*]. Impromptu на смерть И. П. Пнина (стих.). Там же, стр. 95.

8. *Н. Остолопов*. Стихи на кончину И. П. Пнина. Там же, стр. 96—97.

9. *А. Измайлов*. Стихи на кончину И. П. Пнина. Там же, стр. 98—101.

10. *С. Глинка*. На смерть Пнина (стих.). „Северный Вестник“ 1805 г., ч. VII, сентябрь, стр. 341—343.

11. *Н. Радищев*. На смерть Пнина (стих). Там же, стр. 343—344.

12. *К. Батюшков*. На смерть Пнина (стих.). Там же, стр. 345—346 (перепечатано в „Современнике“ 1856 г., т. LVII, № 6, „Смесь“, стр. 166, и в Сочинениях К. Н. Батюшкова, т. I, 1887, стр. 31—32).

13. „Северный Вестник“ 1805 г. ч. VIII, октябрь, стр. 86—87.

14. [*А. Варенцов*]. На смерть Пнина (стих.). „Журнал для пользы и удовольствия“ 1805 г., ч. IV, октябрь, стр. 31—32.

15. Russland unter Alexander dem Ersten. Eine Historische Zeitschrif, herausgegeben von Heinrich Storch, XXVI und XXVII Lieferung, August 1810.— Uebersicht der russischen Literatur während des fünfjährigen Zeitraums von 1801 dis 1805, s. 238.

16. *Н. Греч*. Опыт краткой истории русской литературы, 1822, стр. 329—330.

17. *А. Бестужев*. Взгляд на старую и новую словесность. „Полярная Звезда“ на 1823 г., стр. 17.

18. „Санктпетербургские Ведомости“ 1825 г., № 44, стр. 559.

19. *Евгений* [*Болховитинов*]. Словарь русских светских писателей, т. II, 1845, стр. 125—126.

20. *Н. Греч*. Воспоминания юности. „Новогодник“ на 1839 г., стр. 232 (перепечатано в „Записках о моей жизни“ Н. Греча, изд. 1886 и 1930 гг.).

21. *С. Шевырев*. История Московского университета, 1855, стр. 268.

22. *Н. Греч*. Сочинения, т. II, 1855, стр. 344.

23. *М. Лонгинов*. Библиографические записки. „Современник“ 1856 г., т. LVII, № 6, „Смесь“, стр. 167—169 (перепечатано в Сочинениях М. Н. Лонгинова, т. I, 1915, стр. 52—54; см. там же, стр. 189 и 576).

24. *Эрмион* [*Н. И. Греч*]. Фельетон. „Северная Пчела“ 1857 г., № 125.

25. *П. А. Радищев*. Воспоминания. „Русский Вестник“ 1858 г., т. XVIII, стр. 395, 426—427.

26. *Н. Сушков*. Московский университетский благородный пансион, 1858, стр. 31 и 76.

27. „Русский Вестник“ 1861 г., т. XXXII, № 3, стр. 302—303.

28. Исторические сведения о цензуре, 1862, стр. 9.

29. Историческое обозрение 2-го кадетского корпуса, 1862, стр. XVI.

30. [*Н. Греч*]. Воспоминания о А. Х. Востокове. „Весть“ 1864 г., № 15 есть отд. оттиск 1864 г.).

31. *А. Галахов*. Историческая хрестоматия нового периода русской словесности, т. II, 1864, стр. 176—180.

32. „Русский Архив“ 1868 г., стбц. 1817 (ошибочно приписаны Пнину стихи И. М. Борна).

33. *М. Семевский*. Н. А. Бестужев. „Заря“ 1869 г., № 7, стр. 7.

34. *П. Щебальский*. Материалы для истории русской цензуры. „Беседы в Обществе любителей российской словесности при Московском университете“, вып. III, 1871, стр. 8—9.

35. *И. Мартынов*. Записки. „Заря“ 1871 г., № 6, стр. 98 (то же в „Памятниках новой русской истории“, т. II, 1872, отд. 2, стр. 97).

36. *Евгений* [*Болховитинов*]. Замечания на Рассуждение о лирической поэзии Г. Р. Державина. Сочинения Державина, изд. Академии наук, т. VII, 1872, стр. 618.

37. Архив князя Воронцова, т. V, 1872, стр. 421.

38. *Г. Геннади*. Русские книжные редкости, 1872, стр. 74.

39. *Н. Греч*. Воспоминания. „Русский Архив“ 1873 г., № 5, стр. 731 (перепечатано в „Записках о моей жизни“ Н. И. Греча, изд. 1886 и 1930 гг.).

40. *А. Неустроев*. Историческое розыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703—1812 гг., 1875, стр. 807—810 (см. также указатель к Историческому розысканию, 1898).

41. *Н. Прытков*. И. П. Пнин и его литературная деятельность. „Древняя и новая Россия“ 1878 г., ч. III, № 9, стр. 19—38.

42. *Н. Губерти*. Материалы для русской библиографии, вып. II, 1881, стр. 599—613.

43. *Я. Березин-Ширяев*. Последние материалы для библиографии, 1884, стр. 167.

44. Сочинения К. Н. Батюшкова, изд. П. Н. Батюшковым под ред. Л. Н. Майкова, 1885—1887; т. I, стр. 31—32 и 311—312 (примечание В. И. Саитова); т. II, стр. 338 и 544; т. III, стр. 614.

45. *Н. Греч*. Записки о моей жизни, 1886, стр. 163—164 (ср. новое издание 1930 г., стр. 205, 263, 321, 550—551, 660, 754, 800—801).

46. *А. Пыпин*. Накануне Пушкина. „Вестник Европы“ 1887 г., № 9, стр. 302 (перепечатано в его „Очерках литературы и общественности при Александре I“, 1917, стр. 348).

47. *В. Семевский*. Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX столетия, т. I, 1888, стр. 282—286 (ср. „Русская Старина“ 1887 г., № 10, стр. 83 и 99).

48. *Е. Петухов*. Пнин и его „Вопль невинности“. „Исторический Вестник“ 1889 г., т. XXXVII, № 7, стр. 140—160.

49. *М. Сухомлинов*. Материалы для истории образования в России в царствование императора Александра I. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению, т. I, 1889, стр. 430—434 и 520 (ср. „Журнал Министерства народного просвещения“ 1866 г., CXXXII, стр. 33—35 и 91).

50. [*Н. Колюпанов*]. Биография А. И. Кошелева, т. I, 1889, кн. I, стр. 74, 109, 127—132, 237, 269, 276, 293, 294, 297, 298; кн. II, стр. 243—244.

51. *Л. Майков*. Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII вв., 1889, стр. 422—423.

52. *А. Пятковский*. Из истории нашего общественного и литературного развития, 2-е дополнен. изд. 1889, т. II, стр. 59—67, 109—113, 116.

53. *Е. Петухов*. А. Х. Востоков. Несколько новых данных для его биографии. „Журнал Министерства народного просвещения“ 1890 г., № 3, стр. 61,

54. *С. Бородин.* Русская журналистика в конце прошлого столетия. „Наблюдатель“ 1891 г., № 3, стр. 77 — 85 (см. там же отд. II, стр. 55).

55. *М. Мазаев.* А. Ф. Бестужев. „Критико-биографический словарь русских писателей и ученых“ под ред. С. А. Венгерова, т. III, 1892, стр. 178.

56. *И. Острогладов.* Русские книжные редкости. „Русский Архив“ 1892 г., г., № 11, стр. 318 — 325 (есть отд. оттиск 1892 г.).

57. *А. Скабичевский.* Очерки истории русской цензуры, 1892, стр. 99—104.

58. „Русская Старина“ 1894 г., № 11, стр. 67.

59. *Л. Майков.* Батюшков, его жизнь и его сочинения, изд. 2-е, 1896., стр. 28—34.

60. „Исторический Вестник“ 1896 г., т. LXIII, стр. 584.

61. *А. Веселовский.* Западное влияние в новой русской литературе, 2-е изд. 1896, стр. 126 (ср. 5-е изд. 1916 г., по указ.).

62. *Е. Якушкин.* Пнин. „Русские Ведомости“ 1897 г., № 73.

63. *В. Боцяновский.* Пнин. „Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона“, т. XLVI, 1898, стр. 945—946.

64. *А. Пыпин.* История русской литературы, т. IV, 1899, стр. 186, 274, 406.

65. *Н. Дубровин.* Русская жизнь в начале XIX в. „Русская Старина“ 1890 г., № 4, стр. 72—73.

66. *А. Бурцев.* Обстоятельное библиографическое описание редких и замечательных книг, т. IV, 1901, стр. 215—240.

67. *В. Срезневский.* Заметки А. Х. Востокова о его жизни, 1901, стр. 41, 87.

68. *Н. Булич.* Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX в., ч. II, 1902, стр. 82—94 (ср. „Историческое Обозрение“ 1901 г., т. XI, стр. 84—91; см. также 2-е изд. Очерков, 1912 г.).

69. *А. Залкинд.* И. И. Мартынов, деятель просвещения в начале XIX века. Приложение к „Циркуляру по управлению Кавказским учебным округом“, 1902 г., № 18, стр. 35.

70. *В. Мякотин.* Из истории русского общества, 1902, стр. 248 (ср. 2-е изд. 1906 г.).

71. *Е. Соловьев.* Очерки по истории русской литературы XIX в., 1902, стр. 21—22.

72. *П. Смирновский.* История русской литературы XIX в., вып. V, 1902, стр. 159—170.

73. *Н. Энгельгардт.* История русской литературы XIX столетия, т. I, 1902, стр. 29—34.

74. *А. Максимов.* Описание русских периодических изданий XIX в. „Литературный Вестник“ 1904 г., т. VIII, стр. 172—202.

75. *В. Богучарский.* Из прошлого русского общества, 1904, стр. 285, 287, 288.

76. *Б. Модзалевский.* Пнин. Русский биографический словарь, т. „Плавильщиков — Примо“, 1905, стр. 135—139.

77. *В. Каллаш.* Друг истины (памяти И. П. Пнина). „Русская Мысль“ 1905 г., № 9, стр. 178—191.

78. *В. Каллаш.* Памяти И. П. Пнина. „Русские Ведомости“ 1905 г., № 253,

79. *В. Семевский.* Крестьянский вопрос в России во второй половине XVIII и первой половине XIX века. Сб. „Крестьянский строй“, т. I, 1905, стр. 171.

80. *И. Инзов.* Письмо к И. П. Пнину (1794 г.). „Чтения в Обществе истории и древностей российских“ 1906 г., ч. IV, стр. 17 (тоже: *Рябинин.* Из переписки И. Н. Инзова, 1906).

81. *Иванов-Разумник.* История русской общественной мысли, т. I, 1907, стр. 37—42 (ср. последнее изд. 1918 г.).

82. *С. Рождественский.* Университетский вопрос в царствование императрицы Екатерины II и система народного просвещения. „Вестник Европы“ 1907 г., № 8, стр. 440—445.

83. *Г. Геннади*. Справочный словарь русских писателей, т. III, 1908, стр. 148—149.

84. *В. Семевский*. Политические и общественные идеи декабристов, 1909, стр. 595, 616.

85. *Ю. Веселовский*. Литературные очерки, т. II, 1910, стр. 8?.

86. *В. Чешихин-Ветринский*. Отражение крепостного права в общественной мысли и литературе. Сб. „Великая реформа", 1911, стр. 182.

87. *А. Кизеветтер*. Из истории русского либерализма (И. П. Пнин). Исторические очерки, 1912, стр. 57—87.

88. *Н. Даденков*. И. П. Пнин, опыт его биографии и обзор литературной деятельности. „Известия историко-филологического института кн. Безбородко в Нежине", т. XXVII, 1912 (есть отд. оттиск 1912 г.).

89. *Н. Трубицын*. О народной поэзии в общественном и литературном обиходе первой трети XIX в., 1912, стр. 269.

90. „Исторический Вестник" 1913 г., № 2, стр. 668.

91. *А. Поляков*. Пушкин и Пнин. Сб. „Пушкин и его современники", вып. XVII—XVIII, 1913, стр. 249—264 (есть отд. оттиск 1913 г.).

92. „Речь" 1913 г., № от 23 апреля (рецензия Н. Лернера).

93. *Н. Бродский*. Писатель и книга в Александровскую эпоху. Сб. „Три века", т. V, 1913, стр. 251- 252.

94. *И. Розанов*. Русская лирика, 1914, стр. 141—152.

95. *Н. Лисовский*. Библиография русской периодической печати, 1915, стр. 35.

96. *А. Бем*. К уяснению понятия историко-литературного влияния (по поводу статьи А. Полякова „Пушкин и Пнин"). „Пушкин и его современники", вып. XXIII-XXIV, 1916, стр. 15—22.

97. *В. Резанов*. Из разысканий о сочинениях В. А. Жуковского, вып. II, 1916, стр. 211, 212, 232.

98. *А. Веселовский*. Просветительный век и александровская пора, 1916, стр. 150—151.

99. *В. Мияковский*. Радищев [1917], стр. 96, 100.

100. *Н. Ашешов*. А. Н. Радищев, первый русский республиканец, 1919, стр. 52.

101. *П. Сакулин*. История новейшей литературы, эпоха классицизма, 1919, стр. 134.

102. Описание дел архива министерства народного просвещения, т. II, 1921, стр. 15, 18, 19, 62—63.

103. *В. Семенников*. Радищев, очерки и исследования, 1923, стр. 239, 296, 423, 453—459.

104. *В. Святловский*. История экономических идей в России, т. I, 1923, стр. 90—92.

105. *Н. Рожков*. Из русской истории, т. II, 1923, стр. 50.

106. *Н. Рожков*. Русская история в сравнительно-историческом освещении, т. X, 1924 стр., 105—106, 376.

107. *Н. Пиксанов*. Два века русской литературы, изд. 2-е [1924], стр. 63—64.

108. *И. Луппол*. Русский гольбахианец конца XVIII в. „Под знаменем марксизма" 1925 г., № 3, стр. 75—102.

109. *И. Розанов*. Путеводитель по русской литературе XIX в., 3-е изд., 1930, стр. 36.

110. *П. Сакулин*. Русская литература, ч. II, 1929, стр. 133, 142.

111. *А. Филиппов*. И. П. Пнин и его непропущенный цензурою „Опыт о просвещении относительно к России". „Известия по русскому языку и словесности Академии наук СССР" 1929 г., т. II, кн. 2, стр. 493—527.

112. *К. Лабутин*. Из неопубликованных воспоминаний о Блоке. „Звезда" 1931 г., № 10, стр. 122.

113. *И. Троцкий.* Семья Бестужевых. Воспоминания Бестужевых, 1931, стр. 9—24.

114. *В. Десницкий.* О задачах изучения русской литературы XVIII века. „Ирио-комическая поэма“, 1933, стр. 40 (тоже —„Литературная учеба“ 1932 г., № 7—8, стр. 49).

115. „Литературное наследство“ 1933 г., № 9—10, стр. 44, 56, 317, 514—516, 517—518.

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные статьи

И. К. Луппол — И. П. Пнин и его место в истории русской общественной мысли 7
Вл. Орлов — Пнин-поэт 35

Сочинения Ивана Пнина

Моя лира

I

Время 57
Солнце неподвижно между планетами 58
Стихи на сон 60
[На смерть Радищева] 62
Слава 62
Человек 65
Послание к В. С. С. на новый год 69
Надежда 71
Ода на болезнь 73
Бог 75
Ода на правосудие 78
Гимн на заложение Биржи 81

II

Наставление богатому сыну от бедной матери 83
Уединение 84
К роще 84
Бренность почестей и величий человеческих 86
Карикатура 86
Послание к некоторым писателям 86
Любовь 89
Зависть 89
Плач над гробом друга моего сердца 90
Мысли о табаке 93

III

Надежда, Радость, Стыдливость 93
Несчастный любовник 94
Южный ветер и Зефир 95
Терновник и яблоня 95
Преждевременные родины 96

Царь и придворный 97
Верховая лошадь 98

IV

Сравнение старых и молодых людей 99
На вопрос: что есть бог? 99
Счастие 99
Загадка 99
Различие между роскошным и скупым человеком 100
Сравнение блондинки с брюнеткою 100
Стихи к Ч... 100
Стихи к девице Ч... на день ее рождения 100
Надгробие Е. А. Колычеву 100
Эпиграмма <I> 100
Эпитафия 100
Эпиграмма <II> 101
Говорун 101
О женитьбе 101
Эпитафия плясуну 101

Вопль невинности, отвергаемой законами . . . 103

Опыт о просвещении относительно к России . . 119

Письмо к издателю 163

Dubia

Выписка из рассуждения о государственном хозяйстве . . . 171
Гражданин 175
Чувствования россиянина пред памятником Петра Великого . 177
<Письма из Торжка> 178
<О стихах девицы М.> 191
<О письме неизвестной особы> 192
<О предрассудках> 193
<О вреде войны> 194
<О Фонвизине> 195

Приложения

I. Переводы из сочинений П. Гольбаха, напечатанные в „Санктпетербургском Журнале“ 1798 г.
О природе 199
О движении и начале оного 202
Невоздержание 207
Глас неба 208
О праздности 212
О нравоучении, должностях и обязанностях нравственных . . 213
О человечестве 215
Благодеяние 215
О человеке и его природе 216
О удовольствии и печали; о благополучии 217
О совести 221
II. Стихотворения на смерть Пнина
К. Батюшков. На смерть И. П. Пнина... 225

Н. Остолопов. На кончину Ивана Петровича Пнина . . 226
Н. Радищев. На смерть И. П. Пнина 227
С. Глинка. На смерть Ивана Петровича Пнина 228
А. Измайлов. На кончину Ивана Петровича Пнина . . . 229
[А. Варенцов]. На смерть Ивана Петровича Пнина . . . 231
А. Писарев. Impromptu на смерть И. П. Пнина 232

III. Н. Брусилов. О Пнине и его сочинениях 233

Комментарии.

От редактора 239
Иван Пнин (биографический очерк) 243
Примечания 279
Указатель имен 297
Библиографический указатель литературы о Пнине 305